



БОРИС ХАЗАНОВ

ЭЛИЗИУМ ТЕНЕЙ

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



Борис ХАЗАНОВ

ЭЛИЗИУМ ТЕНЕЙ

Автобиографическая проза

Санкт-Петербург

АЛЕТЕЙЯ

2013

УДК 821.161.1
ББК 82(2Рос=Рус)6 — 4
X73

Хазанов Б.

X73 Элизиум теней. — СПб.: Алетейя, 2013. 255 с. — (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN

«Душа моя — Элизиум теней...». В новой книге Бориса Хазанова (род. 1928), название которой отсылает к стихотворению Тютчева, писатель — известный прозаик и эссеист, политический изгнанник, проживший 30 лет в эмиграции в Германии, — подводит итог своей жизни и деятельности в бывшем Советском Союзе и за кордоном. Книга представляет собой собрание автобиографических очерков и этюдов, написанных в разные годы, в обычной для автора лирико-эссеистической и художественно-философской манере. Отечество и чужбина, судьба и творчество русского писателя в иноязычной среде, впечатления жизни в Западной Европе, мысли о современной литературе — таковы темы и лейтмотивы этой книги.

УДК 821.161.1
ББК 82(2Рос=Рус)6 — 4

«Оттого, что моя душа осталась юной, мне все время кажется, что мой возраст — это просто роль, которую я играю, а мои старческие немоги и невзгоды — суфлёр, и он поправляет меня шёпотом всякий раз, когда я отклоняюсь от роли. И тогда я снова, как послушный актёр, захожу в образ и даже испытываю определённую гордость оттого, что исправно играю свою роль. Куда проще было бы стать самим собой, вернуться в юность, — да только вот костюма подходящего нет».

Андре Жид. Дневник

ПОНЕДЕЛЬНИК РОЗ

ОБ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ

(К роману «Плюсквамперфект и другие времена»)

1

Признание Флобера *Emma, c'est moi*, нигде не документированное, переданное якобы со слов писателя одной журналисткой, породило немало толков и толкований, я же со своей стороны полагаю, что понятие «автобиографический роман» включает в себе то, что в формальной логике именуется противоречием в определении, *contradictio in adjecto*.

Автобиографическая проза, пусть даже слегка романизованная, в силу своей двойной природы обречена на неудачу. Писатель, который отважится поместить собственную персону в центр своего нового произведения, потеряет себя. Он может сказать: «Эмма — это я», но не «я — это Эмма». Ибо он остался тем, кем был: сочинителем. Жизнь, которой предстояло стать литературным сюжетом, вопреки его самым честным намерениям, против его воли станет беллетристикой. Таково проклятье или благословение писательского ремесла. Литература противится правде. Искусство видит в ней диверсию. В отместку художник творит собственный правомочный суррогат правды. На эту правомочность он ссылается в ответ на обвинения в неискренности, упреки в том, что он сознательно превращает быль в небылицу.

Неискренность?

Писатель Эдуард, действующее лицо и автор романа «Фальшивомонетки», принадлежащего некоему Андре Жиду, записывает в дневнике:

«Как раздражают эти рассуждения об искренности! Обращаясь к себе, я перестаю понимать, что должно обозначать это слово. Я всегда являюсь тем, чем я считаю себя, — а мои представления о себе беспрестанно меняются, так что, если бы я не связывал этих

представлений друг с другом, мое утреннее существо подчас не узнавало бы моего вечернего существа. Ничто не может быть более отличным от меня, чем я сам; и никогда моя жизнь не кажется мне столь напряженной, как в те минуты, когда я совсем теряю себя, чтобы стать кем-то другим».

Заглядывая в «Плюсквамперфект», я вижу, как много там искажений действительности, отклонений от подлинного, теоретически возможного жизнеописания. Впрочем, мне уже не раз приходилось описывать свою университетскую юность (правда, я учился не на историческом факультете, а на филологическом). И всякий раз химерический жанр литературной автобиографии терпел крах.

В частности, упрёки вызывал у читавших роман друзей шестипальный доцент истории Древнего Рима Гартман-Добродеев. Хотя в нём мало что осталось от реального прототипа — довольно известного историка Б., — он представляет собой изобретение автора. То, о чём он разглагольствует, рисуясь перед студентками, его эпатирующие парадоксы, импозантный скепсис, отрицание истории как науки и так далее, — на что намекает эпиграф (опять же придуманный мною, из несуществующего латинского источника), что могло заморочить голову девушкам и героине романа, а сегодняшнему читателю показалось бы дешёвкой, — всё это ещё куда ни шло. Но кто поверит, как это могло быть, чтобы мой персонаж оказался «сотрудником», восседал в погонах майора в кабинете для допросов на десятом этаже цитадели на площади Дзержинского за столом следователя, под портретом Железного Феликса? Вдобавок он наделён сатанинскими чертами. Всё повествование — литература чистой воды.

2

...Что касается «Плюсквамперфекта», мне сейчас представляется, что там есть своя особая мелодия, существенная не только для той, ныне так стремительно забывающейся эпохи. Я понимаю: её выщелушивание огрубляет замысел. С другой стороны, она остаётся более или менее затушёванной, так что о ней стоит сказать отдельно. Эта музыкальная тема — присутствие дьявола. Не то чтобы доцент и, по-видимому, полунемец Гартман — сам Вельзевул, но его можно понять как частную, приспособленную к условиям места и времени репрезентацию дьявольского, inferнального начала. Всё, о чём он вещает, красуясь перед девицами и в конце концов влюб-

ляясь в одну из них, с тем чтобы её в конце концов похитить, все эти софизмы вплоть до центрального тезиса о том, что существует только то, что можно описать человеческим языком, Бога описать невозможно, следовательно, его нет, а вот князя тьмы описать можно, и так далее, и тому подобное, — всё это — словоизвержения дьявола. Это его аргументация.

Нечего и говорить о том, что это амплуа допускает и такие совершенно неправдоподобные повороты, как то, что он неожиданно появляется в мундире майора госбезопасности — не следователя, бери выше — и разыгрывает перед арестантом странную игру, говоря, что смысл всего происходящего с молодым человеком — единственно в том, чтобы впоследствии, через много лет, описать всё это.

Другая тема, тоже музыкальной природы (и из тех, которые меня всегда занимали), — юношеская, почти инфантильная любовь, противостоящая дьявольскому времени и его репрезентатору, обречённая краху и развенчанию.

Должен сказать, что такие домыслы и толкования вовсе не приходили мне в голову, когда я принимался за сочинение этой повести, но стали вырисовываться сами собой по мере того, как я продвигался вперёд, возвращался к старому, снова пытался двигаться; и, может быть, они вовсе не обязательны. Вполне отдаю себе отчёт в том, что они покажутся слишком сложными для читателя (если вообще найдутся читатели). Но что делать?

2008–2012

ПОНЕДЕЛЬНИК РОЗ

Dennoch die einsamste Rede des Künstlers lebt von der Paradoxie, gerade vermöge ihrer Vereinsamung, des Verzichts auf die eingeschliffene Kommunikation, zu den Menschen zu reden¹.

У вас сумятица в голове, время течёт вспять (роман «Антивремя»), и небо оказывается почему-то под ногами («Назльфар в океане времён»). Логика меняет музыка.

Дж. Глэд — Бор. Хазанову.

Как это бывало со мной при чтении каждой новой книги, я решил, прочитав первую часть «Фауста», создать что-нибудь подобное, если не лучше. В моем мозгу клубился замысел мировой драмы, список действующих лиц состоял из исторических и легендарных персонажей всех народов и эпох. Главный герой должен был прожить жизнь, равнозначную истории человечества. Попытка состязаться с Гёте свелась к тому, что я сочинил короткую сцену, откровенное подражание Сну в Вальпургиеву ночь. «Фауст» был снабжен комментарием. Я тоже написал комментарий к своему творению, оказавшийся втрое длинней основного текста. Похоже, что все предприятие было затеяно ради этого комментария.

К этому времени — мне было 14 лет — в моем портфеле находилось подражание «Евгению Онегину», начало поэмы, похожей на «Домик в Коломне», и многое другое в этом роде, но критика, предисловия, введения и то, что называется аппаратом художественной литературы, мне казались не менее интересными, чем сама литература. Шла война. Я писал дневник, издавал газету и вел литератур-

¹ И все же самая одинокая речь художника парадоксальным образом жива тем, что она замкнута в своей одинокости. Именно потому, что она отказывается от истертой коммуникации, она обращена к людям. Т. Адорно. Философия новой музыки.

ную переписку с двоюродным дядей, который сам писал стихи, переводил французских поэтов и выразил некоторое удивление, узнав, что я взялся заново учить забытый немецкий язык.

Может быть, во мне говорит наследие предков, составителей комментариев к священной книге и комментариев к комментариям; может быть, античная филология приучила меня не видеть ничего противоестественного в том, что две строки классического автора сопровождается страница примечаний. Считается, что мания рассуждать о литературе, вместо того чтобы «просто писать», свидетельствует о творческой немощи, подобно тому как слишком пространственные рассуждения о Боге изобличают недостаток веры. Возможно, правы те, кто говорит, что мы живем в александрийское время, что словесность, размышляющая и разглагольствующая о самой себе, — это и есть нормальная литература нашего века. Как бы там ни было, я возвращаюсь к отроческим развлечениям. Я отлично понимаю, что пример некоторых знаменитых писателей — критиков и комментаторов собственного творчества — не может служить для меня оправданием. Отечественная традиция приучила нас видеть в пространственных диатрибах о себе нечто нескромное. Вдобавок они чаще всего недостоверны. Как сказал Д.Г. Лоуренс, верьте художнику, а не его рассказу. Если книжка не говорит сама за себя, никто за нее этого не сделает. И, наконец, то, что происходит у нас на глазах — тихая катастрофа литературы, — заведомо обрекает все подобные упражнения на невнимание и провал.

*

Приступы литературной болезни начались у меня лет с девяти или десяти, когда я создал некий прообраз Самиздата — киностудию «Самфильм», где я был одновременно сценаристом, художником и киномехаником. На рулонах бумаги, разграфленной на кадры, студия фабриковала исторические и приключенческие фильмы. Была лента под названием «Загадочный портрет», фильм «Верденская мельница» о мировой войне, которая тогда ещё не называлась Первой, и проч. Несколько позже писательство приняло более регулярный характер, я предпочитал солидные жанры: эпическую поэму, роман. Кроме того, я писал ученые трактаты, составлял Краткую Астрономическую Энциклопедию, сочинял литературоведческие статьи и прочее, о чем уже упоминалось. Самый вид литературного текста восхищал меня: строфы или главы, помеченные римскими циф-

рами, тире, которыми обозначаются реплики персонажей; меня пленяла пунктуация XIX века, точки с запятой где надо и где не надо, вопросительные и восклицательные знаки посреди фразы. В конце войны, когда я был рабочим на газетно-журнальном почтамте на улице Кирова, я кропал лирофилософские поэзы (например, стихотворение о Шопенгауэре, где была странная строчка: «Пред ним молчит надменный Шеллинг»), это была дань возрасту; были еще попытки обдумать свое отношение к музыке и какие-то поползновения создать собственную метафизическую систему. В 16–17 лет огромное значение приобрел германский мир. Все это странным образом сделало меня абсолютно нечувствительным ко всеобщей ненависти к Германии и даже к смутным известиям о том, что немцы уничтожают евреев. Кроме того, я пришел к выводу, что мы сами живем в фашистском государстве. Ленин, правда, сумел продержаться несколько дольше Сталина, который рухнул, подняв пыль, зато я помню, как я объяснял одному приятелю, усатому мальчику, приехавшему из Киржача, что марксизм — ошибка: совершив революцию, рабочий класс сам захватит себе все блага.

В университет я поступил в год окончания войны, это было время, когда все писали и читали друг другу стихи. В полуподвальных коридорах клуба на Моховой стояли под тусклыми лампочками кучки мальчиков и девочек, и кто-нибудь в середине рубил кулаком воздух. Но сам я почему-то уже не занимался сочинительством. Дневник, где вождю и советской власти воздавалось по заслугам, был порван и выкинут в уборную после ареста Сёмы Виленского, в ожидании, когда придут за нами. Что в конце концов и произошло. Нас было четверо — три еврея и один русский, он оказался доносчиком; 3:1 — это довольно обычная пропорция для тех лет. Наш товарищ был студентом закрытого военного института иностранных языков, был сыном «сотрудника» и упражнялся в своей будущей профессии разведчика. Меня арестовали в ночь на 28 октября 1949 года, когда я был уже на пятом курсе классического отделения; я находился под следствием во Внутренней тюрьме и Бутырках и весной следующего года, получив восемь лет, был отправлен в Унжлаг. Как известно, то были другие времена — арестованный исчезал бесследно. Так как здесь речь идет о литературе, можно упомянуть о том, что некоторую роль в моем деле сыграли роман Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку» и чрезвычайно крамольный 66-й сонет Шекспира, который следователь счёл моим собственным произведением. В некотором высшем смысле он был прав.

В лагере я предавался мечтам о книгах, которые напишу, если когда-нибудь выйду на волю. Как-то раз по дороге в жилую зону, когда колонна, несколько сотен человек вместе со смертельно уставшим конвоем, в сумерках месила ногами снег, я придумал целую повесть, действие которой происходило на солнечном морском пляже. Позже я ее написал и вообще писал что-то, если позволяли условия; были неприятности по поводу одного рассказа, жалкого сочинения, найденного у меня, в котором случайно упоминалась витрина Военторга (на бывшей улице Калинина), описанная без должного пиетета перед символами вооруженных сил. Вообще же времена были разные — плохие и хорошие. Я вынырнул из уголовного мира благодаря тому, что был зачислен на лагерные курсы бухгалтеров, после чего у меня появилась возможность более основательно заняться бумагомаранием. Хотя население наших мест почти сплошь состояло из полуграмотных или просто неграмотных людей, мне встречались изредка люди не чуждые искусству и литературе. Я буду помнить до конца моей жизни литовца Антанаса Криштопайтиса, художника, и его приятеля поляка Чеслава Ожеховского, оба помогали мне.

На другой день после того, как радио гробовым голосом сообщило, что Ус отбыл к праотцам, один из друзей показал мне под большим секретом свою оду «На смерть тирана». Этому человеку было лет 35; как и другие, он казался мне стариком. Странно подумать, что когда-то — и в школе, где я просидел восемь лет вместо десяти, и в университете, и в заключении — я был моложе всех окружающих. Как бы ни насмеялась надо мной судьба, у меня в кармане было бессмертие. Сейчас из десяти встречных девять младше меня. У меня была тетрадка, сшитая из оберточной бумаги, собрание моих лагерных рассказов; каким-то образом она сохранилась, засунутая в книжку, но была найдена и изъята при обыске спустя двадцать пять лет. Была еще пьеса, которую я сочинял на лесном складе; была какая-то хаотическая поэма, написанная белым стихом, с рифмами в финале и, само собой, крамольного содержания («огромным лагерем встает Россия...»), врученная с просьбой вывезти одному товарищу, который ее выкинул, к счастью для нас обоих.

*

Я был выпущен «условно-досрочно» весной 1955 года, после чего литература провалилась под землю. Лагерь вылечил меня от

многих болезней — как казалось, навсегда. Я смотрел с отвращением на книжки, оставшиеся дома после моего ареста, словно меня предал не товарищ студенческих лет, а греческие и римские классики и некогда нежно любимый Шопенгауэр. Все же я не удержался и зашел на наш факультет. В коридоре висело расписание лекций и практических занятий, какой-то семинар по Маяковскому... Глядя на все это, можно было только пожать плечами. Крысиный марш заключенных из рабочего оцепления в зону по шпалам узкоколейки, по четыре в ряд, крики конвоя, едва поспевающего за колонной, возделенный лагпункт впереди, вышки и прожектора — и семинар по Маяковскому. Мертвый храп зимней ночью в бараке, где под чухлой лампочкой за столом дремлет дневальный, — и вся эта чушь, эта херня, которую обсасывали доценты и их питомцы. Сто лет назад Московский университет и Владимир-на-Клязьме, куда упекли Герцена, еще кое-как уживались друг с другом. Университет и лагерь не могут сочетаться никогда. Там, где существует одно, не может быть другого. Дело не только в том, что на университете, кишевшем стукачами, стояло большое черное пятно. Дело было в абсолютной несовместимости «культуры» с русской жизнью, с той подлинной жизнью, которой жили и продолжают жить десятки миллионов людей. И с этой точки зрения и Маяковский, и Пушкин, и Гораций — все едино: глуповатый поэт революции, и *Eheu fugaces*, и «Друзья мои, прекрасен наш союз» равно незаконны. Шлиссельбургский узник Морозов додумался до того, что античного мира не существовало: вся эллинская и римская словесность, оказывается, была сочинена средневековыми монахами. Таким фантомом кажется вся русская литература. Не зря непозволительность умственных и эстетических упражнений, «когда народ страдает», — старый топос русской мысли. Чувство незаконности духовной культуры в нашей стране и этот урок жизни, который твердит тебе, что книга есть не что иное, как дезертирство из мира действительности, бегство от проклятия труда, от всеобщего убожества, от мрачного и враждебного народа, а если ты занимаешься искусством, литературой, философией, то это значит, что за тебя должны вкалывать другие, — это чувство и этот урок я не забыл по сей день.

Вообще же восстановить тогдашнее настроение теперь уже не так просто, не впадая в некоторую стилизацию; настала оттепель, что-то вроде отпускной поры; я был уверен, что, когда она пройдет — не может же она длиться вечно, — меня снова посадят, и надо

было успеть приобрести хотя бы начатки какой-то реальной профессии, чтобы не оказаться во второй раз голым среди волков. Был такой случай: вскоре после возвращения кто-то дал мне почитать роман Набокова «Лолита» по-французски. Книжка вызвала у меня отращение, это была истинно буржуазная литература, нечто такое, что сочиняется для чтения лежа на диване после сытного обеда.

По необъяснимому недосмотру КГБ и местного начальства я выдержал приемные экзамены в медицинский институт в Калининне, был прописан в этом городе, занимался с энтузиазмом, с отчаянием, был лучшим студентом и окончил институт с отличием. Принимая во внимание мою национальность, я был отправлен в глухой район. Эта ссылка меня не огорчала. Напротив, работа врача в деревне восхищала меня, медицина казалась единственной достойной профессией; немалое значение имело и то, что я по-прежнему носил в кармане волчий билет. Об этом никто не знал; никто не видел мой паспорт; попавшись однажды в военкомате на том, что в моих бумагах имеются расхождения, я сочинил себе липовую биографию. Я испытывал потребность уйти от луча, то самое желание укрыться в глубинке, о котором сказано в одном малоудачном рассказе Солженицына, или опуститься «на самое дно реки», как говорит Лаврецкий в «Дворянском гнезде, в восхитительной XX главе, — и с веселым сердцем прибыл в замшелую земскую больницу, где мне всё нравилось. Впервые в жизни у меня была собственная квартира и выдавший виды медицинский фургон военного времени. Жена моя еще оставалась некоторое время в городе. И вот однажды, после прочтения воспоминаний Сомерсета Моэма, очаровавших меня своим слогом, поздней осенью, когда я шел пешком из села в свою больничку, ко мне вернулась старая болезнь. Темными вечерами, недели за две, я написал некое полубеллетристическое и полуавтобиографическое произведение под названием «Там я среди них» (Мф. 18, 20: «...где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них»). Подразумевался, не без некоторого *sacrilège*, провокатор в нашей компании.

С тех пор, словно нарушивший зарок наркоман, я уже не мог остановиться. Я лечил больных всех возрастов, от ветхих стариков до грудных младенцев, колесил по снежным или залитым грязью дорогам, занимался и внутренними болезнями, и хирургией, и педиатрией, и рентгенологией, делал вскрытия, добывал лекарства, построил водопровод и провёл электричество, был и швец, и жнец,

и в дуду игрец, но в печенках у меня сидела литература. Я насилывал свое перо так и эдак; однажды мне пришла в голову мысль, показавшаяся многообещающим открытием: можно писать, не раздумывая над тем, что пишешь, а просто фиксируя на бумаге все, что приходит в голову: идея автоматического письма, очередное изобретение велосипеда, почти не оставившее следов в моем писательстве. Зимой морозы доходили до 44 градусов. По вечерам мы сидели вдвоем в натопленной комнате за чудовищно изобильным ужином. Под Новый год у нас стояла осыпанная разноцветными лампочками елка, я притаскивал ее из леса. Это было лучшее время моей жизни.

К концу 1963 года, когда меня зачислили, тоже по какой-то случайности, в медицинскую аспирантуру, я был автором экзистенциалистской пьесы, нескольких псевдостихотворений в раешном стиле и десятка рассказов, среди которых можно упомянуть «Дорогу на станцию», первое произведение, которое понравилось мне самому; я писал его с большим волнением. Приобретение пишущей машинки было торжественным событием, словно примерка свадебного платья для невесты. В Москве, получив временное право жительства, я в первые же недели начал сочинять повесть о деревне. Самое лучшее в ней был прекрасный, благоуханный отрывок из Аксакова, служивший эпиграфом; отсюда же было почерпнуто и заглавие: «Белый день». У меня не было читателя и советчика, и я сам себе был врач. Среди моих знакомых не было ни одного писателя. И тогда, и позже у меня было чувство, что в писательстве есть нечто постыдное и недостойное мужчины, вроде вышивания или, пожалуй, тайного порока. Если бы нашли мои писания, я бы сгорел от стыда. В лагере я давал себе слово: если когда-нибудь выйду на волю, то никогда и ни за что на свете не буду больше работать; эта аннибалова клятва осталась невыполненной. У меня не было времени, я должен был подрабатывать, не говоря уже о диссертации, и литературой мог заниматься лишь урывками. Я учился писать и с великим трудом, медленными шажками, но все же делал кое-какие успехи; этот период учебы занял десять лет.

*

К тому времени, когда я почувствовал, что научился отличать хорошо сделанную фразу от плохой, меня поработила лагерная тема; не меня одного, как потом обнаружилось. В Калинин, где мы снова поселились, и затем в Москве я писал повесть «Запах звезд»,

мысль о которой возникла неожиданно после чтения одного рассказа Юрия Казакова. В лагере мне довелось работать одно время, после того, как я был расконвоирован, хозвозчиком, я научился обращаться с лошадьми. «Запах звезд» — история коня, у которого был прототип. Вместе с тем это было, кажется, первое мое произведение, где угадывался некоторый мифологический фон. Громадный белый конь стар и, кажется, едва стоит на ногах, но все еще тверд духом, вынослив и могуч. Этот одёр, прошедший огни, воды и медные трубы, старый артиллерийский конь-доходяга, чья фантастическая худоба вызывает смех, привезен в лагерь, чтобы закончить свои дни на лесоповале и отправиться, подобно всем своим товарищам, в последний путь по кишкам заключенных. Его безжалостно эксплуатируют, истязают, как только в неволе люди могли истязать рабочих лошадей; он чуть не погибает в болоте и топит своего возчика, жалкое получеловеческое существо, но каким-то чудом выкарабкивается из трясины и стоит, покрытый грязью, в виду далеких лагерных огней. Этот образ жуткого и величественного бессмертия — если хотите, образ российского народа, это сама страна.

То, что описано в «Запахе звезд», случилось со мной, я сам однажды чуть не погиб в болоте поздним осенним вечером со своей лошадью и лагерной вагонкой, особым устройством для езды по круглолежневым дорогам, но все же выбрался и пошел на лагпункт звать подмогу, почти уверенный, что потерял коня. На обратном пути из темноты выставилось какое-то чудовище: это был он, весь облепленный грязью. Он тоже вылез и шел навстречу по разбитой дороге, волоча обломки оглобель.

На другое утро я отказался выходить на работу, надеясь, что начальство распорядится, наконец, починить лежневку, и был посажен в трюм, но это уже выходит за рамки моей фабулы. Вообще, повествуя о лагере, я не имел намерения писать о себе, задача была другая. Русский словарь загажен не меньше, чем русская природа, и ни один порядочный человек не осмелится больше назвать себя патриотом: это слово звучит непристойно. Как инородец я легко могу подать повод упрекнуть меня в презрении ко всему отечественному. Мой ответ — эта повесть. Я любил этого коня и чуть не плакал от сострадания к нему, заканчивая мою повесть. Впоследствии я ее несколько раз перерабатывал. У меня было ощущение, что вместе с ней закончился целый этап моей жизни. Я почувствовал опасность работы с автобиографическим материалом, но познал и литературу-

ную свободу: оставаясь учеником, почувствовал себя все же хозяином своего материала. В эти годы я написал еще несколько рассказов о лагере. Разумеется, не обошлось и без «влияний», но если когда-то, очень давно, меня гипнотизировал Мопассан, а в деревне — Чехов, Хемингуэй, отчасти князь Лампедуза, автор романа «Леопард», то теперь тон стал задавать Фолкнер, а в рассказе «Частная и общественная жизнь начальника станции», по-видимому, дает себя знать присутствие Франца Кафки.

Экзистенциализм, тогда новый в России, носился в воздухе; казалось, его продуцирует сама наша действительность, и можно было удивляться тому, что философия эта была сформулирована не у нас. До чего-то подобного дошел и я, еще живя в лагере; например, до идеи безнадежного, но необходимого сопротивления. Презумпция сопротивления содержится в формуле Спинозы, одной из тех фраз, которые застревают в памяти с юности: «Сила, с которой человек отстаивает свое существование, ограничена, и сила внешних обстоятельств бесконечно превосходит ее». То есть корабль идет ко дну — и ничего не поделаешь. Что бы мы ни предприняли, корабль идет ко дну. Но какой флаг взвевается на мачте, зависит от нас. Абсолютная беспочвенность морали, чье единственное основание, единственный смысл и резон — достоинство человека в абсурдном мире. В мире, похожем на тот, который мог бы создать психически поврежденный Творец. Эти настроения сказались в повести «Час короля», о ней будет речь ниже.

С другой стороны, меня преследовала навязчивая мысль о том, что лагерь отнюдь не принадлежит прошлому; скорее это пророчество о будущем. Тотальная регламентация жизни, культ производства и «плана», ставший чем-то вроде религии. (Здесь было какое-то пересечение с «Рабочим» Эрнста Юнгера). Лагерь, созданный как инструмент террора, но уже в тридцатых годах превратившийся в инструмент экономики и постепенно ставший ее главным рычагом. Без него невозможно было бы построить социализм, что бы ни подразумевали под этим словом. Лагерный пункт, окруженный высоким тыном, с рядами колючей проволоки и сторожевыми вышками, охраняемый собственными вооруженными силами, с его начальником-Вождем, тайной полицией (оперуполномоченный), тюрьмой (штрафной изолятор), службой пропаганды (КВЧ, «культурно-воспитательная часть»), с радиоточками в каждом бараке, лозунгами, развешанными в рабочем оцеплении и над воротами зоны, с его великой целью выполнения плана, с его системой снабжения и рас-

пределения, наконец, с неизбежной для этого общества строжайшей социальной иерархией, с поистине кричащим социальным неравенством, с серой массой работяг, бюрократией и паразитической элитой — социализм концлагеря, — лагпункт этот с населением в тысячу человек представлял собой миниатюрную копию 200-миллионного советского общества и государства. Он казался прообразом будущего, быть может, не только русского. Самочувствие и самосознание одинокого и беспомощного человека в обществе, устроенном по образцу лагеря, — вот что казалось единственным, о чем стоило писать.

Этот лагерный человек не был интеллигентом. Интеллигент пришел в мою литературу гораздо позже и с другими темами. А это был человек, из каких состояло девяносто девять процентов крысиного коллектива лагерных мест и девять десятых населения страны; человек — ходячий позвоночник; темный, упорный, необычайно живучий, подозрительно-недоверчивый, вечно ожидающий подвоха, не верящий ни в кого и ни во что, ненавидящий просвещение и культуру, — и поделом культуре! Словом, «простой человек». Человек, которому не на кого надеяться: ни на друга, который предаст, ни на Бога, который молчит; только на самого себя; человек, который «лежит, спиной накрылся»; человек, у которого два главных врага: напарник, пытящийся с ним в одной упряжке, и грозное абстрактное государство, таинственные «они», начальство. Итак, прочь от стихов и книг, от немецкого идеализма, которым я кормился в 17 лет, от романтики и любви. Кто однажды отведал тюремной баланды, будет жрать ее снова. Чем хуже, тем лучше. И чем лучше, тем хуже: ближе расплата. Только таким мироощущением и может питаться литература. Мне казалось, что в благоустроенных странах, без войны и нищеты, без тайной полиции, литература должна задохнуться: о чем писать?

После изнурительных хлопот, писания заявлений и обивания порогов нам разрешили жить в Москве, моя молодая жена бросилась целовать чиновницу, сообщившую нам об этом милосердном решении, затем начались поиски работы, при которой можно было бы надеяться получить жилье. Один старый товарищ познакомил меня с писателем Борисом Володиным, пожелавшим прочесть мою прозу; однажды вечером я позвонил к нему в дверь, вручил папку и ретировался. Встреча с ним имела для меня большое значение, он ободрил меня.

Я корпел над своими фразами, пользуясь каждым проблеском свободного времени, как китаец старается обработать каждый свободный клочок земли; я работал где угодно: в больнице на ночных дежурствах, в поликлинике, в гудящей, как улей, полуподвальной комнате Центральной медицинской библиотеки на площади Восстания, где за 60 копеек в час подвизался в качестве устного переводчика иностранной научной литературы для сочинителей диссертаций и со своей рукописью, в углу, ждал очередного клиента. Я погружался в свою литературу, словно нырял в воду, и сидел там на дне, среди чудных водорослей и проплывающих мимо рыб. Никакой надежды напечатать свои сочинения у меня не было, но не было и охоты. Если желание публиковаться естественно для писателя, то не менее естественно, я думаю, и нежелание быть опубликованным. О том, что моя продукция ни при какой погоде не могла быть обнародована в этой стране, нечего и говорить. Все же Борис Володин предложил мне написать что-нибудь о медицине для детского журнала «Пионер» и представил меня дамам из редакции; первый в моей жизни гонорар, равный месячному заработку врача, я получил за статейку о переливании крови. Я был командирован журналом в Киев, в Институт археологии, где держал в руках только что найденную на окраине Днепродзержинска золотую пектораль скифского вождя и написал о ней рассказ для детей. Кроме того, я писал статьи об алхимии, об истории естественных наук и о знаменитых химиках и медиках для научно-популярного ежемесячника «Химия и жизнь». Покушался даже на science fiction и сочинил повесть под названием «Ганнибал», не без влияния Михаила Булгакова, ставшего тогда очень модным. Ганнибал было имя горной гориллы, которой пересадили в научно-экспериментальном институте мозг человека; она подметала двор в институте, но однажды, услышав с улицы военную музыку, сбежала. Спустя некоторое время Ганнибал, сменив дворницкий фартук на роскошный мундир с эполетами и орденами, совершил военный переворот в каком-то африканском государстве и стал там президентом. Повесть была с негодованием отвергнута ответственным секретарем «Химии и жизни» как порочащая освободительную борьбу народов Африки против колониализма.

Впоследствии я писал этюды о врачевании для журнала «Знание — сила» и приобрел некоторый опыт в области околонучной эссеистики. Бенедикт Сарнов, у которого я впоследствии многому нау-

чился, натолкнул меня на мысль написать книжку о медицине для детей, что я и сделал, слабо веря в успех этого предприятия. В 1975 году книга, где в некоторой мере отложились мои медицинские и деревенские годы, мое преклонение перед трудом врача и медицинской сестры, наконец, многолетнее увлечение историей медицины, вышла в свет; она называлась «Необыкновенный консилиум». Мы придумали для автора псевдоним: Г. Шингарёв, в честь земского и кадетского деятеля, убитого матросами в 1918 г., чей дневник (подаренный мне Александром Межировым) я читал незадолго до этого.

Занятия психиатрией (не клинические, а литературные, если можно так наименовать мои переводы огромного вороха психиатрической литературы, которые записывались на пленку, были отпечатаны на гектографе и служили пособием для врачей в Институте психиатрии), а также один рассказ Фазиля Искандера, где было употреблено выражение «комплекс государственной неполноценности», вдохновили меня на рассказ или новеллу, которая стала для меня некоторой вехой. Там разработана тема страха, точнее, двух модификаций страха, обычно обозначаемых как Furcht (конкретная боязнь чего-то или кого-то) и Angst (метафизическая тревога Хайдеггера): страх перед вездесущими Органами превращается во всеобъемлющий ужас бытия. Рассказ так и называется «Страх». Его сюжет вымышлен.

Я всегда чувствовал себя отверженным в стране, где я родился и вырос. Это связано не в последнюю очередь с тем, что я русский интеллигент и еврей, то есть более или менее ненавидимое существо; с ненавистью, подобной запаху, о котором не знают, откуда он взялся; с чувством стеклянной стены, о которую то и дело ударяешься лбом. Я был изгнанником задолго до того, как покинул страну. История моей жизни, а значит, и писательства, мне кажется, подтверждает это.

Я никогда не забывал и не забуду до конца жизни, что я бывший заключенный. Это все равно, что бывший люмпен или граф. Чувство это не покидает меня и сегодня, когда я сижу в моей комнате в Мюнхене, в белый февральский день, немецкий Rosenmontag¹, и пишу эту литературную автобиографию. Можно быть кем угодно: служить в банке, сочинять романы или развозить по домам глаженое белье — и при этом ни на минуту не забывать, что ты граф. Ла-

¹ «Понедельник роз», последний понедельник масленицы.

герь есть принадлежность к особому сословию. Лагерь есть особого рода расовая принадлежность. Или профессия, которую можно слегка подзабыть. Но разучиться ей нельзя, она остается с тобой навсегда. Лагерь был нашим истинным отечеством, вся же прочая жизнь представлялась поездкой в теплые края, отпуском, затянувшимся оттого, что все сильные учреждения перегружены делами и до тебя просто еще не дошли руки. Если мою удачу заметят, я пропал, как сказано в одном стихотворении Брехта: *Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verlogen*. Мы все остались в живых по недосмотру начальства.

И я всегда буду помнить это отечество, эту истинную Россию, потому что только такое отечество у нас и было. У меня всегда было чувство, что если я жил в московской квартире, и был счастлив с моей женой и сыном, и ходил свободно по улицам, и притворялся свободным человеком, то это был всего лишь отпуск, это было попустительство судьбы, чье терпение однажды иссякнет. В любую минуту меня могут разоблачить. Почему бы и нет? Ибо на самом деле я переодетый граф, я кадровый заключенный, мое происхождение никуда от меня не делось, мои бумаги всюду следуют за мной, и моя пайка, место на нарах и очко в сортире — за мной, и лагерь где-то существует и ждет меня, как ждал в сорок девятом году.

*

Случилось так (по инициативе Володи Лихтермана), что я занялся переводом писем Лейбница для задуманного в одном издательстве пятитомного издания. Я принялся за работу, имея самое общее представление о философии Готфрида Лейбница, но постепенно вошел в мир его мысли, и, хотя обещанное вознаграждение было ничтожным, хотя я трудился несколько лет, не получая за это ни копейки, а позже должен был долго и униженно выколачивать свой гонорар, я не жалел о том, что взялся за это. Я перевел французскую переписку с Бейлем, Мальбраншем, Ник. Ремонем, Бернетом де Кемни, с подругой Джона Локка леди Мешэм (а заодно и ее английские письма), несколько обширных полемических трактатов и многое другое, всего около 25 печатных листов; работал я над этими переводами, как всегда, на ходу, то на ночных дежурствах, то где-нибудь на подоконнике в школе рисования, куда я возил своего сына. Издание сочинений Лейбница в СССР было по тем временам рискованным начинанием — имея в виду злосчастное увлечение основателя нашего государст-

ва философией: мимоходом он успел заклеить и Лейбница. Спустя десять или двенадцать лет сочинения все же начали выходить в свет, но к этому времени дела мои шли уже так плохо, что только в первом томе успела проскользнуть моя фамилия. Скорее всего издатели вычеркнули её, не дожидаясь, когда поднимется угрожающий перст госбезопасности.

Лейбниц ввел меня в XVII век, «столетие гениев», и я расхрабрился написать для журнала «Химия и жизнь» популярный очерк о споре двух создателей дифференциального исчисления. Достаточно авантюрное предприятие, учитывая, что у меня нет физико-математического образования (если не считать одного семестра, который я провел в Высшем техническом училище в последний год войны, перед тем, как стать рабочим на почтамте). Но изделие это понравилось Борису Володину и впоследствии было расширено для одного из сборников «Пути в незнаемое». Д. Данин, пролагавший эти пути, изобрел «научно-художественную литературу» (забыв о существовании *vie romanisée*), и его теория замечательно оправдала себя на практике: произведения этого жанра оплачивались по тарифам художественной литературы.

В дальнейшем, осмелев, я сочинил еще несколько этюдов о науке этой головокружительной эпохи, верившей в то, что изучение природы доказывает существование Творца убедительней всех ухищрений схоластического богословия; с увлечением писал о Гуке, о Бэконе и других, публиковал переводы старинных текстов (для чего вместе с Борей мы основали специальный раздел в «Химии и жизни») и, наконец, написал для детского издательства биографию Исаака Ньютона. Г. Шингарёв делал успехи: это была уже вторая его книжка. Третья, тоже популярного характера, но написанная для взрослых на необычную в СССР тему философии врачевания и медицины (она называлась «Следствие по делу о причине»), с комическими усилиями пробивала себе путь и погибла в последний момент, когда была уже набрана: я собрался поднять якорь. Это было позже. Между тем сама медицина, некогда утешавшая меня, наполнявшая тайной гордостью мою душу, все больше отодвигалась в тень. Я ушел из старой больницы в Очакове, где заведовал отделением, в поликлинику, надеясь иметь больше свободного времени, а затем получил предложение работать в вышеупомянутом журнале; это значило: ходить на службу два раза в неделю, а остальные дни сидеть дома.

Сидеть дома и заниматься литературой! Об этом можно было только мечтать. Постепенно литература пожрала все вокруг себя. Все остальные занятия — работа, переводы, статьи — были способом зарабатывать на жизнь, числиться где-то и маскировать главное: литературу. Я был подпольным писателем, потому что писать и не печататься, писать и не состоять служащим литературного ведомства, писать, не числясь писателем, означало заниматься противозаконной деятельностью. Не говоря уже о том, что я не мог преодолеть внутреннего барьера — не то гордости, не то стыда. Свои работы можно показывать только тому, кто интересуется ими. Но заинтересоваться может лишь тот, кто знает об их существовании. Я был глубоко законспирированным сочинителем, и о моих упражнениях было известно трем или четырем людям; я твердо усвоил с самого начала, что литература есть занятие одиночек.

Три пары глаз, не более, прочитали рукопись под титулом «Дебет — скребет», нечто вроде очерка моей жизни. В это же время или, может быть, немного раньше я принялся писать повесть «Час короля», которая вначале была рассказом; я несколько раз возвращался к ней.

Ее «идея» все еще продолжала старые экзистенциалистские вдохновения: это была философия абсурдного деяния, изложенная кратко, но довольно ясно в самом тексте и подкрепленная эпиграфами из Мигеля де Унамуно и «Писем к немецкому другу» Альбера Камю; в перевод этих коротеньких текстов я вложил столько же страсти, сколько и в текст моей повести. Разумеется, в режиме, который устанавливают в маленьком северном королевстве завоеватели, невозможно было не узнать режим другой страны; узнали и те, кто позже конфисковал эту повесть у автора. В собственно литературном смысле она была для меня новым шагом. Я окончательно отказался от популизма, от имитации народного мировоззрения и языка. Кажется, в одной не имевшей для меня никакого значения книжке я вычитал легенду о короле, который украсил себя звездой Давида. В датском учебнике истории я нашел фотографию семидесятилетнего Кристиана X на прогулке, верхом на коне. В пьесах Шварца, в каких-то детских грезах живет образ северной провинциально-протестантской столицы. Этим ограничивались «реалии», использованные в моей сказке, которую мог бы поставить кукольный театр.

(Легенда родилась во время войны и была основана на сообщении одного современника, будто в частном разговоре король заявил,

что, если евреев, граждан его страны, заставят носить желтую звезду, он наденет ее первым. Через много лет я познакомился в Германии с родственником немецкого торгового агента в оккупированной Дании Георга Ф. Дуквица, в сентябре 1943 года предупредившего датчан о готовящейся депортации еврейской общины. Из 6500 членов общины удалось спасти шесть тысяч: их тайно переправили на лодках в Швецию. В Яд-Вашеме, в роще Праведников народов мира, Righteous Among the Nations, стоит дерево в честь Дуквица.

Я побывал, наконец, и в Копенгагене, одном из прекраснейших городов, какие мне посчастливилось видеть, но внимательный читатель заметит, что действие моей повести происходит не в Дании. Добавлю еще, что в Германии «Час» был истолкован как притча о гражданском неповиновении.)

Повесть представляла собой пародию на ученый исторический труд. Это дало мне возможность опосредовать несколько сентиментальный материал существенной дозой иронии.

Есть там такая сцена: монарх играет в шахматы с приятелем. Король проигрывает. Но, в отличие от гибнущего в честном, хоть и неравном бою на доске белого короля, реальный король все еще пытается приспособиться к обстоятельствам, вместо того чтобы быть самим собой. Может быть, здесь имела место бессознательная ассоциация с анекдотом из времен Столетней войны, о Карле VII, которого схватил в бою английский солдат, вскричав: король взят! На что монарх ответил: «Ne savez-vous pas qu'on ne prends jamais un roi, même aux échecs?» (Ты что, не знаешь, что короля не берут даже в шахматах?) Я прилагал старания к тому, чтобы не впасть в плоский аллегоризм; если это и удалось, то все же не вполне. Однако игрок, склонившийся над доской, на которой стоит он сам посреди своих деревянных сограждан, был не только метафорой двойного существования монарха в качестве символа и человека, — этот образ потом трансформировался в захватившие меня размышления о ситуации романиста в его творении, о времени персонажей и божественном антивремени демиурга.

Внешняя судьба повести «Час короля» была следующей. В 1972 году физик Александр Воронель основал самиздатовский машинописный журнал «Евреи в СССР». Я познакомился с Воронелем в связи с путешествием в Донецк, которое года за два до этого мы совершили с Беном Сарновым: он — в качестве журналиста и корреспондента «Литературной газеты», я — в роли эксперта-медика; речь

шла о разоблачении некоего невежественного доцента, заведующего кафедрой в местном медицинском институте. Это забавное похождение напоминало сюжет «Ревизора». У доцента, который собирался стать профессором, было много врагов, притащивших к нам в гостиницу целую кучу историй болезни, при помощи которых он сляпал свою фальшивую диссертацию; главный антагонист доцента был приятелем Воронеля. В седьмом выпуске «Евреев в СССР» редактор поместил мою статью «Новая Россия». По правилам журнала анонимные или псевдонимные материалы не публиковались. Тем не менее, не желая подвергать меня (и себя) слишком уж очевидному риску, редактор сделал автором статьи человека, до которого, как предполагалось, КГБ уже не доберется. Это был инженер по имени Борис Хазанов, не имевший отношения к литературе, подполью и диссидентству, к тому времени уехавший в Америку. Если когда-нибудь он прочтет эти строки, пусть примет мои извинения. Так родился мой псевдоним, который прилип ко мне. Псевдоним — не только способ скрыться за вымышленным именем, но и самоотчуждение; я до сих пор не привык к нему. Моей следующей публикацией в журнале был «Час короля».

Публикация — так это называлось. Незачем повторять, что соваться в настоящую литературу, предлагать свои вещи издательствам, выпускавшим сотни книг, и журналам с тиражами в десятки, сотни тысяч экземпляров было бессмысленно и бесполезно. Эта тема вообще не обсуждалась. Но что значит «настоящая» литература? Для нас настоящей, единственно заслуживающей внимания была литература подпольная.

*

Если верно, что в основе некоторых мифов лежат действительные события, то подошлейкой великого русского мифа о воле нужно считать побег с концами. Бегство из крепостной неволи на Дон, в Сибирь, побег с каторги по славному морю, глухой неведомой порою, звериной тайною тропой, бегство из зоны, из оцепления, из таежного, заполярного, степного и пустынного края: исчезнуть, слиться, сорваться! Поистине мы впитали эту идею с молоком матери. Жуки на булавах, мы все лелеяли эту мечту. Наконец, кому из сидевших не приходилось слышать дивную повесть о беглеце, который сумел обмануть всесоюзный розыск и уйти в полном смысле слова с концами — за границу?

Настало время, когда побег из страны, отравленной дыханием лагерей, предстал перед многими уже не только как романтическая греза. Старый товарищ и бывший однокурсник, ныне покойный, убеждал меня, что евреям в России больше делать нечего, он был первым человеком, которого я знал, собравшимся отвалить в Израиль. Мысленная контроверза с ним, а лучше сказать, с самим собою, была побудительным мотивом для статьи «Новая Россия» с ее абсурдно-провокативной концовкой. Он уехал, выдержав неизбежную борьбу и связанные с ней унижения. Отбыл спустя некоторое время и Воронель — и захватил с собою несколько моих манускриптов. Они составили сборник, который вышел в Тель-Авиве незначительным тиражом на средства какого-то доброхота; книжка была озаглавлена «Запах звезд», по названию включенной в нее повести о белом коне.

Мое двойное существование, Doppelleben Готфрида Бенна, приобрело новое качество. С одной стороны, я был сотрудником редакции научно-популярного журнала, занимался правкой или переписыванием статей по медицине, истории естественных наук, науковедению, переводил и редактировал фантастические повести и т. п. С другой — царапал свою прозу и стал нелегальным литератором в прямом смысле слова. Журнал «Евреи в СССР», чуть ли не самый долговечный в тогдашнем машинописном Самиздате, был задуман его основателем как собрание «свидетельств»: его материалы должны были иллюстрировать духовную, психологическую и социальную ситуацию советского еврейства, точнее, русско-еврейской интеллигенции, будто бы поставленной перед дилеммой: окончательно зачахнуть или эмигрировать в Израиль. При преемнике Воронеля Илье Рубине горизонт расширился, сборник приобрел характер литературно-философского журнала. Его тираж был 20 или 25 экземпляров. Илья жил и дышал журналом, неустанно собирал материалы, мотался с набитым крамолой портфелем по тусклым московским окраинам и путешествовал по городам. Журнал был его дитя, был единственный свет в окошке. Илья говорил мне, что ведет фантастическую выморочную жизнь, и в самом деле кажется удивительным, как могли взрослые люди жить этой игрой в публицистику и литературу, рискуя своим и без того сомнительным благополучием. Но невозможно забыть азарт и веселье, и чувство освобождения, и предвкушение чего-то захватывающе интересного, с которым брали в руки толстую кипу листов папиросной бумаги с обтрепанными уголками и полуслепой печатью.

(Впоследствии я сделал редактора «Евреев в СССР» героем романа «После нас потоп», но, как сказано в посвящении, это «другой Рубин».)

Илья Рубин уехал, едва не угодив в тюрьму; он писал, что из окон его дома видна апельсиновая роща. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?.. Через одиннадцать месяцев он умер от инсульта, тридцати шести лет от роду, и был похоронен в песке на краю Иудейской пустыни. Перед отъездом Илья просил меня «не оставлять журнал». Я состоял квази-литературным консультантом при двух следующих редакторах до конца журнала, то есть до его окончательного разгрома; Борис Хазанов был довольно быстро разоблачен, несколько статей я поместил под другим псевдонимом.

Осенью 77 года ко мне пришли с обыском. В те времена любимым занятием подводного общества было строить гипотезы, объясняющие те или иные зигзаги в тактике Органов; я думаю, что никакая бюрократия не заслуживает попыток отыскивать в ее деятельности скрытую логику, в особенности та, что медленно и неотвратимо надвигалась на нас, чье мертвящее дыхание мы чувствовали на каждом шагу. За обыском, как водится, последовал вызов в прокуратуру, а затем на Кузнецкий мост в КГБ к субъекту в штатском, вероятно, майору или полковнику, который старался убедить меня в том, что автор найденной у меня, вышедшей в Израиле книжки Б. Хазанов — это я. Кто сидел, знает, что тактика в этих делах может быть только одна: глухая несознанка. Некоторое время спустя нашу квартиру взломали, унесли какие-то пустяки, например, мелочь из копилки моего двенадцатилетнего сына; приходила милиция, честно или для видимости искавшая преступников; вторжение было предпринято с целью установить подслушивающее устройство. Само собой, прослушивался и телефон. Несколько лет я официально числился состоящим под следствием по делу о подпольном журнале «Евреи в СССР». Правда, с работы меня почему-то не выгнали.

Когда я вспоминаю Россию, то вспоминаю тесноту. Воистину это была главная черта нашего образа жизни. Езда одной ногой на трамвайной подножке, другая нога на весу, одна рука схватилась за поручень, другая обнимает стоящего рядом — только тот, кто так путешествовал по городу, понимает смысл метафоры Мандельштама «трамвайная вишенка». Теснота, оставлявшая детям грязные задние дворы, пьяницам и влюбленным — холодные подъезды. Переполненные тюремные камеры, товарные поезда, до отказа набитые

людьми, клетки столыпинских вагонов, где в каждом отсеке по восемнадцать, по двадцать душ, и так, друг на друге, день и ночь под перестук колес, долгие сутки и недели; теснота пересылок и лагерных бараков, теснота любого человеческого жилья, любого селения; стиснутая деревенская жизнь, изба, куда входят согнувшись, чтобы не расшибить лоб о притолоку, дорога, где не разъедешься, тропинка, на которой не разойдешься, или сходи с дороги в грязь выше щиколоток и в снег по колено. А вокруг бескрайние просторы.

Мы жили в огромной стране, где было поразительно мало места, в стране все еще почти девственной, где плотность истории на единицу географии представляет ничтожную величину, и вместе с тем перенаселенной, как Бенгалия. Мы жили в стране, где всего не хватало и только люди, человеческий фарш, были в избытке. Не повернуться, не протолкнуться, не продохнуть; яблоку негде упасть, плюнуть некуда... В тесноте, да не в обиде! Не зря, должно быть, наш язык так богат этими выражениями. Теснота и скученность городов, теснота автобусов, вагонов метрополитена и железных дорог, очереди, в которых выросло несколько поколений, толпы людей с узлами на вокзалах, точно вся страна куда-то бежит, теснота магазинов, теснота больниц, теснота кладбищ; и, как пролог всей жизни, теснота коммунальной квартиры, где прошло мое детство.

Эту квартиру я сделал местом действия маленького романа, для которого выбрал несколько претенциозное название из Иоанна: «Я Воскресение и Жизнь». Я писал эту вещь в те времена, когда мы жили сначала в Свиблове, а затем в Чертанове, где вели изнурительное существование, тратя много часов на езду с работы и на работу в утренней и вечерней мгле, в переполненном метро и автобусах, которые брались штурмом. Некоторые элементарные мысли могут приобрести неожиданную новизну. Я помню, что намерение написать эту повесть забрезжило в моем сознании при чтении одного из романов Франсуа Мориака; я подумал, что не жизнь общества и «народа», а жизнь семьи, взаимоотношения родителей и детей, жены и мужа — королевский домен литературы. Другая мысль была подсказана книжкой Януша Корчака «Как надо любить детей». Мне как-то вдруг стало ясно, что ребенок — человек не будущего, а настоящего. Не тот, кто еще будет, а тот, кто есть. Ребенок, не знающий страха смерти, не поработанный будущим, — это особый и притом более совершенный человек, чем взрослый; человек, живущий более полной, гармоничной и осмысленной жизнью. Детство есть

подлинный расцвет жизни, за которым начинается деградация. Непосредственным материалом для «Воскресения» в значительной мере послужило мое собственное детство и отчасти детство моего сына. (Несколько времени спустя я получил записку от Марка Харитоновна, похвалившего эту вещь; неожиданная поддержка, о которой я никогда не забуду).

В этом произведении имеется одно очевидное противоречие. Повествование ведется из перспективы взрослого, который вспоминает себя шести- или семилетним ребенком и как бы формулирует его собственные мысли и чувства на своем взрослом языке. Но роман кончается самоубийством ребенка. Я не хотел и не мог исправить эту несообразность, так как смерть героя все же носит до некоторой степени символический характер; гораздо позже одна читательница решила этот вопрос так: ребенок умирает, и рождается взрослый.

Флобер называет себя (в одном письме к Луизе Колэ) «вдовцом своей юности», *veuf de ma jeunesse*; с еще большим правом каждый из нас мог бы назвать себя сиротой своего детства. Нет другого времени, которое я не вспоминал бы с такой ясностью. Я помню наш быт до мельчайших подробностей и мог бы составить детальный обзор нашего жилья, описать все вещи, я помню ощущение ползания по полу, сидения под столом, беготни по двору, стояния на цыпочках в полутемном коридоре, задрав голову, перед счетчиком Сименса — Шуккерта, где за темным стеклом мелькала красная метка вращающегося диска; помню захватывающий интерес, который вызывали мельчайшие впечатления жизни, времена года, книжки, приход гостей. Как и герой «Воскресения», я рано лишился матери и провел годы детства с отцом; как и мой герой, я был воспитан домработницей, простой женщиной, любившей меня, которую всегда буду помнить, — правда, в церковь она меня не водила и не рассказывала эпизоды из Евангелия. Была ли эта повесть попыткой создать беллетризованные воспоминания, набросать детский автопортрет? Скорее можно сказать, что я распорядился материалом своего младенчества, распорядился самим собой для целей искусства, которые не могут быть определены и, во всяком случае, носят внеличный характер. Кажется, впервые, работая над этой вещью, я получил представление о том особом и кардинальном свойстве литературы, которое следует назвать беспринципностью; оно состоит в том, что все на свете, собственная жизнь и жизнь близких, тайны те-

ла, сны и явь, и мифы, и сказки, и философия, и вера представляют собой лишь материал; в ту минуту, когда жизнь становится сырьем и материалом для искусства, не более, но и не менее, чем материалом, — собственно, и начинается литература.

Если мальчик в этой повести — автопортрет, то такой же, каким был образ белого коня в «Запахе звезд» или орла-холзана в рассказе под названием «Апофеоз». Один натуралист подсмотрел гибель старого орла, которого живьем расклевало воронье. Я не был стар, когда писал и переписывал этот рассказ, но меня не оставляла догадка, что на самом деле я сочиняю притчу о самом себе.

*

Несколько новых знакомств — с Евгением Барабановым, с Сергеем Алексеевичем Желудковым, с Юлием Шрейдером, Григорием Померанцем и профессором В. В. Налимовым — приобщили меня к другой части полуподпольного диссидентского мира, не ориентированной на отъезд из страны и проявлявшей большой интерес к религиозности, христианству, отчасти христианской гностике. Деспотизм истины, будь то истина о Боге или истины философии, а может быть, и устойчивое идейное варварство русской интеллигенции, о котором когда-то писал Федор Степун, вновь, хоть и в мягкой форме, давали о себе знать; представление о независимой ценности искусства, внутри которого все другие истины и ценности приобретают условный характер, о праве литературы на особое своеобразие в обращении с любым авторитарным дискурсом — было более или менее чуждо моим друзьям, сознавали они это или нет; сам же я, как мне кажется, многому у них обучился. Я переводил разные, главным образом теологические, тексты для Самиздата, переписывался, на манер Гершензона и Вяч. Иванова, с Ю.А. Шрейдером («Письма без штемпеля»), участвовал в обмене письмами, которым руководил отец Сергей Желудков, один из самых светлых людей, каких я встречал; бывал я и на так называемых школах теоретической биологии, где собиралось пестрое общество, от профессиональных ученых до адептов всевозможных оккультных сект, где выступали с докладами Юрий Лотман и Лев Гумилёв, но появился и астроном Козырев со своей теорией времени как особой материи; в редакции я давно привык выполнять всю работу за два присутственных дня, остальное время принадлежало мне.

В августе 1977 года я начал сочинять роман, не имея в голове определенного плана; как-то раз, перед тем как идти на работу в редакцию, лег на диван и написал первую страницу.

В последние недели лета, в остервенелую жару я уходил с утра в чужлую рощицу неподалеку от нашего дома (к этому времени мы уже переселились в долгожданную квартиру на Юго-западе) и писал там эту книгу, о которой, как уже сказано, имел крайне смутное представление. Сперва я как будто собирался написать историю жизни партийного функционера; это намерение быстро испарилось; понемногу стала наигрывать в ушах интонация, своего рода музыка прозы, предшествующая «сюжету»; стал вырисовываться не то чтобы замысел, но какой-то контур — жизнеописание молодого человека. Рассказ надлежало довести до того момента, когда герой втягивается в рискованную игру, мало-помалу обретающую расширительный и символический смысл. Эта неясность и вдохновляла, и приводила в отчаяние. Я листал Гессе, Музиля, чтение поддерживало покидавшую меня бодрость.

Наконец, облака разразились дождем, смутные наметки опустились на уровень более или менее конкретного материала, я начал обживать свой мир; в качестве главной темы романа выдвинулась память. Память, собственно, и есть герой книги. Жизнь человека, от чьего имени ведется рассказ, есть продукт памяти. Этот человек пытается восстановить прошлое, другими словами, отыскать в нем смысл и порядок. Внести смысл в бессмысленно-хаотичную жизнь — задача искусства. Функцию памяти можно сравнить с функцией романиста, а в метафизической перспективе — с функцией самого Бога. Память действует вопреки времени и как бы в обратном направлении; память — не столько «обретенное время», сколько обретение обратного времени.

Тут я набрел на мысль, которая превратилась в основной миф, организующий все повествование. Это миф об антивремени. На склоне лет рассказчик вспоминает свою жизнь, точнее, ее главную пору — детство и юность. Время состоит из двух потоков, оно течет из прошлого в будущее и из будущего в прошлое. Антивремя есть истинное время литературы, время Автора, который пребывает в будущем своих героев, подобно Творцу, которого никогда нет, но который всегда будет, чья область существования — будущее: ибо он не «сущий», а «грядущий». Божественное антивремя несетя навстречу нам из будущего и превращает жизнь из хаоса случайностей

в реализацию некоторого Плана. Эту фантазмагорию я отчасти излагал, поясняя свой замысел, в написанных позже, весьма неуклюжих статьях «Опровержение литературы», «Мост над эпохой провала» и «Сломанная стрела», а также в предисловии к «Антивремени», как был потом, в Мюнхене, озаглавлен этот роман (в немецком и французском переводах название сохранено).

Каждый человек, припоминая свою жизнь, убеждается, что ее важнейшие повороты были результатом случайности, и в то же время испытывает смутное чувство, что существовала какая-то нить, держась за которую он шествовал сквозь обстоятельства. Метафора двух потоков примиряет судьбу и случай.

Вторая тема — два отца, принадлежность к двум народам, еврейское зеркало России. Принцип зеркальности проведен, может быть, несколько нарочито, через всю книгу: люди и события перемигиваются, глядя в собственное отражение; брат и сестра — два человека, но как бы и одно лицо, и зовут их одинаково; два отца — и одно отечество; газеты, которыми торгует Павел Хрисанфович Дымогаров, и крамольная газета, нацарапанная на стене уборной. Сам П. Х. — некое олицетворение судьбы, стукач и псевдоученый, его «метаастрология», очевидно, не что иное, как пародия на учение о предопределении; если угодно, пародия на центральный миф романа. (Некоторые немецкие критики увидели в ней пародию на марксизм, хотя это не входило в замысел автора).

Что касается собственно материала, то он, как водится, был собран с миру по нитке; кулисы вновь были взяты напрокат; как и прежде, для постройки прозы была сворована арматура моей собственной жизни. Лесная школа-интернат, где я провел полгода накануне войны, жизнь в сорок пятом году, работа на газетно-журнальном почтамте, описанная довольно точно, и университет на Моховой, с комически-непристойным памятником Ломоносову, со знаменитой, незабываемой балюстрадой, с лестницей, стеклянным небом, колоннами из поддельного мрамора и циклопическими гипсовыми статуями вождей, осенявшими всех, кто вступал в эту маленькую отчизну нашей юности. Довольно бесцеремонный плагиат у действительности представляют и такие мелочи, как упомянутая стенная газета в университетском сортире; правда, пародию на советскую газету я начертил на бумаге, а не на стене, портрет голого Вождя, разумеется, выдумка (кажется, он слегка напоминает «Генерала», статуэтку Дж. Манцу).

Был и продавец газет, коему вдобавок придано сходство с человеком, которого я знал, заведующим «культурно-воспитательной частью» на лапункте Пóеж. Квартира в Лялином переулке, где живет рассказчик, отчасти напоминает нашу квартиру в Большом Козловском переулке (она же описана в «Воскресении»). История с письмом, которое мальчик получает от родителей, с извещением, что его отец — не настоящий отец, воспроизводит известный эпизод из биографии Фета. Облик Вики в минуту его первого появления в сумраке у колонны, в вестибюле университета, может напомнить рисунок Верлена: семнадцатилетний Рембо с трубкой в зубах. Философствования Вики о неродившихся детях — реминисценция Шопенгауэра (из знаменитой главы «*Metaphysik der Geschlechtsliebe*»). Главный женский образ и мотив противостояния «ясности» и «музыки» в XVIII главе отдаленно связаны с романтической историей университетских лет. Рассказ старика о встрече с царем я услышал из уст одного моего пациента, бывшего дирижера, ребенком отданного в школу военных капельмейстеров, а кое-какие частности длинного монолога, который произносит в конце книги вернувшийся из ссылки отец, заимствованы из неопубликованных «Тетрадей для внуков» покойного Михаила Байтальского, небольшая часть которых была помещена в журнале «Евреи в СССР» (объяснять, что ночная исповедь вернувшегося отца — отнюдь не кредо автора, очевидно, нет необходимости). Метаастрология, гороскоп младенца Иоанна Антоновича и проч., разумеется, плод фантазии, как и весь сюжет.

Два обстоятельства чисто литературного свойства стоит упомянуть. Сочиняя «Антивремя», я учился музыкальному построению прозы. Музыка, будь то «увешанная погремушками колымага джаза», прелестная «Дюймовочка» Грига или органная пьеса Дитриха Букстехуде, звучит в самом романе; о музыке говорится, что это «память о том, что не сбылось», «мумифицированное будущее»; была даже мысль использовать для романа взамен эпитафия нотный пример из Бетховена — тему первой части Четвёртого фортепянного концерта с ее стучащим ритмом, ту самую, которая обнаруживает неожиданное и трудно объяснимое сходство с начальными тактами Пятой симфонии; тема эта преследовала меня во все время работы. Но речь не об этом или не только об этом. Принцип музыкального построения состоит в том, что несущими конструкциями прозы служат не столько элементы фабулы, сколько сквозные мотивы, ко-

торые вступают в особые, не логические, а скорее ассоциативные отношения друг с другом, видоизменяются и вместе с тем остаются теми же на протяжении всей вещи. Поэтому все происходит как бы одновременно. Читатель должен держать в уме всю композицию, лейтмотивы постоянно отсылают его к прочитанному, к тому, на что он, возможно, не сразу обратил внимание, и помогают «узнавать» то, о чем говорится дальше. Можно добавить, что попытки перенести приемы музыкальной композиции в литературу (я говорю, разумеется, о прозе) чужды русской литературной традиции, самому климату нашей словесности, — что и было, возможно, одной из причин, заведомо обрекавших автора на неуспех.

Второе — это вопрос о точке зрения. Он давно меня занимал. Традиционная точка зрения абсолютного повествователя, флоревского *Dieu dans la nature*, автора-небожителя, чье присутствие ощущается везде, но которого никто не видит, который делает вид, что его попросту нет, изжила себя вместе со всей концепцией реалистической литературы. Встал вопрос о градациях авторства и авторской ответственности за достоверность рассказа. Кто автор «Бесов»? Достоевский совершил революцию, введя условного повествователя, у которого нет никакой сюжетной функции и который, однако, выполняет важнейшую функцию; который не является ни всеведущим автором-богом, ни персонажем-рассказчиком, а скорее представляет собой персонифицированную молву; выродившийся потомок греческого хора. Не странно ли, что скептик и вольнодумец Флобер выступает в качестве литературного Фомы Аквината, а создатель «Бесов», этот, как принято думать, апостол политического и православного консерватизма, — в эстетическом смысле революционер и безбожник; все действительные или мнимые пророчества относительно мрачного будущего России, которые охотно вычитывают из этой книги, мало чего стоят в сравнении с ее собственным разрушительным новаторством. Это атеизм истины: как уже сказано, в романном мире отсутствует всеведущий Бог. Другими словами, романист предлагает не факты, заверенные в высшей инстанции, а всего лишь версии. Вера в единую, всегда равную самой себе и абсолютную истину безнадежно подорвана; действительность, как в квантовой физике, неотделима от ее оценок; совокупность оценок — вот, собственно, что такое действительность.

Вернусь к произведению, где множественности времен (время жизни героев, антивремя воспоминаний, время квазиавтора, записывающего эти воспоминания) отвечает неоднозначность точки

зрения. Избрав форму повествования, близкую к *Ich-Erzählung*, я довольно скоро почувствовал недостаточность этого тона, всегда соблазняющего своей кажущейся естественностью. (В «Бесах» даже г-н Г-в кое-где оказывается несостоятельным, и приходится нарушить принятую повествовательную систему, призвав на помощь отставного всевидящего автора). В «Антивремени» по меньшей мере два угла зрения: из времени действующих лиц и из перспективы старика; но и эту двойственность нужно было чем-то оттенить. Я почувствовал необходимость в дополнительной квазиистине и ввел в роман сны.

«Сны, — говорится в главе XXXVI, — озирали мое существование очами некоторой высшей субъективности, примитивной по сравнению с собственным моим разумом <...>, но стоящей над ним, как большое бледное солнце над уснувшими полями. И лишь на одно мгновение <...> туманное око этой безличной субъективности, око божественного идиота, вперялось в мои глаза, сливалось с ними, и я как будто постигал то, что невозможно постигнуть, ибо невозможно облечь в разумные слова то, что существует до всякого слова».

Сны в моем сочинении не предсказывают будущее и не содержат иносказаний. Поэтому они не нуждаются в толковании. Сны воспроизводят то, что происходит наяву, но на свой особенный лад. Это вторая субъективность, в которую погружен рассказчик, высшая по отношению к его личному сознанию и вместе с тем первобытно-алогичная. Может быть, позади этой книги, тема которой — навязчивое стремление человека преодолеть страшное подозрение, что его жизнь была хаосом беспорядочных случайностей, стремление убедить себя в том, что это не так, применив старый, как мир, прием беллетристического упорядочивания воспоминаний, — может быть, позади нее стоит представление об иррациональном божестве, для которого смысл и бессмыслица — одно и то же.

*

Этот роман был почти готов (девятнадцать отпечатанных набело страниц, остальное — ворох неудобочитаемых рукописей), когда гости явились ко мне снова. Гости — так это называлось, так было принято, выбежав на улицу, из телефонной будки оповещать друзей о только что состоявшемся обыске; было это в первых числах мая 1980 года. Они знали, когда я бываю дома, и, возможно, дожидались момента, когда *corpus delicti*, как плод на ветке, достигнет стадии

восковой спелости. Отняли все до последнего листочка. Как и три года назад, операция была произведена прокуратурой, филиалом Органов. В доме, где мы жили (Ленинский проспект, 154), короткий полутемный коридор был отделен от лестничной площадки стеклянной дверью на запоре; когда я вышел, за стеклом стоял человек в милицейской фуражке. Проверка паспортов. Тридцать один год тому назад тот же пароль, произнесенный вполголоса, раздался ночью под дверью, когда пришли за мной. Жизнь, как видно, ничему нас не научила. Вместо того чтобы вернуться домой и выбросить рукопись на балкон нижележащего этажа, я открыл дверь, тотчас из лифта выскочили восемь человек. Все это вместе с милиционером, обгоняя меня, запыхавшись, ввалилось в квартиру, где сразу стало тесно.

Памятником этой потери был небольшой текст под названием «Памяти одной книги», впоследствии вошедший в сборник «Идущий по воде». Несколько месяцев я вел бюрократическую войну с карательным ведомством, делая вид, что верю в законные формы, в которые оно изо всех сил старалось облечь свою деятельность; в этой неравной борьбе обе стороны демонстрировали истинно российское понимание закона. Закон есть система правил, по которым надлежит творить беззаконие. Думаю, что эту формулу можно было бы ввести в юридический обиход. Я доказывал, что меня ограбили не по правилам. (На этой тактике, кстати, основывалось все правозащитное движение). Мне удалось добиться некоторых успехов, я получил назад кое-какие книги, почти все свои бумаги, тщательно пронумерованные, и — совсем уже невероятное дело — пишущую машинку. Но роман со всеми черновиками погиб. Меня известили о том, что роман арестован: Главлит признал его антисоветским. В этом был известный резон, так как в той незначительной части моего произведения, которая была отпечатана на машинке и могла быть прочитана, находилось описание алебастровых статуй Ленина и Сталина, поданное в эпатазирующе-мифологическом освещении. Я по-прежнему числился находящимся под следствием. Вся эта комедия продолжалась полгода. В начале следующего, 81 года я заболел, после мучительного обследования меня собрались оперировать, но на операционном столе у меня исчезло артериальное давление, и я чуть не отдал концы. Врачи отказались от операции, я был с позором выписан из больницы; наступила пауза. Я снова пытался писать, ибо горбатого исправит только могила. Сочинил повесть под названием «Бешт, или Четвертое лицо глагола» — чрезвычайно не-

удачный гибрид автобиографического повествования с трактатом о литературе. О нем можно вспомнить (он был напечатан в израильском журнале «22») разве лишь потому, что он тянул за собою хвост мыслей, изложенных выше.

Это четвертое лицо нет-нет да и возвращается. Мы должны вернуться к размышлениям о «точке зрения», чтобы осознать простую истину: тривиальность в литературе есть синоним неправды. Я не могу читать иные свои сочинения. Меня воротит от псевдоклассической манеры, от беллетристического *bon ton*, от этой самоуверенности автора, взошедшего на вершину, откуда он якобы обозревает правду жизни; на самом деле он обозревает тривиальную действительность. Этот автор живет даже не в девятнадцатом веке, он живет в докритическую эру. Другими словами, он видит жизнь с точки зрения усредненного сознания. Между тем «жизнь как она есть» — неправда. В поле обыденного сознания вещи приобретают вид *second hand*. Их уже кто-то носил.

Но и повествование «глазами такого-то» отзывает невыносимой тривиальностью, даже когда эти глаза принадлежат самому экзотическому существу. Изношенность литературной точки зрения фатальным образом тривиализует ее носителя — субъекта повествования. Нужно создать мир высшей, внесубъектной субъективности, если угодно, субъективности Бога. Действительность погружена в мир всеобъемлющего сознания, потому что только такой она и бывает. (Можно согласиться с Сузанной Зонтаг, что искусство — это «воплощенное сознание»). Существует великая мечта о синтетической прозе, философская мечта о действительности; к попыткам осуществить эту мечту я только лишь приступаю.

Вскоре был арестован Виктор Браиловский, последний редактор «Евреев в СССР», к этому времени уже приказавших долго жить. Я часто бывал в его доме. Когда, отсидев месяцев десять в уголовной камере, он был сослан, я отправился навестить его в Западный Казахстан. Я ехал с грузом продовольствия, никто не мог мне точно сказать, где моя остановка, и ночью я слез с поезда почти наугад. Поселок Бейнеу представлял собой обширный пустырь, заваленный всевозможным мусором. Хозяйки выплескивали помои в двух шагах от крыльца. Тощее животное с рогами и выменем жевало газету. Что-то подобное я уже видывал, впрочем, во время путешествия на целину в студенческие времена; отхожее место на станции Кокчетав представляет собой нечто незабываемое даже для того, кто сживал с дизентерийным поносом в лагерных сортирах. Из обвинительного

заклучения по делу Браиловского было видно, что я намечен следующим кандидатом. Я никогда не был образцовым патриотом. Тем не менее я все еще медлил, я боялся покинуть страну, где говорят по-русски, и был последним в моей семье, кто пришел к мысли, что пора поднимать парус.

*

Моя жизнь была перерублена трижды: первый раз, когда началась война, второй, когда я был арестован, и третий раз, когда пришлось эмигрировать. Разумеется, страна лагерей была словно создана для того, чтобы бежать из нее при первой возможности, бежать, едва только приоткрылись ворота, бежать куда глаза глядят и чем дальше, тем лучше. Но понадобился ощутимый пинок в зад, чтобы это совершилось. Я потерял отечество. Я потерял его навсегда и мог бы считать, что мне неслышанно повезло. Не хочется здесь вспоминать подробности отъезда — виза представляла собой приказ оставить страну в считанное число дней, на сборы почти не оставалось времени, — и незачем объяснять, отчего я избрал Германию. Загадочная судьба время от времени, как глухонемой, подавала мне знаки. Эта судьба неслышно затрубила мне в уши, когда мы вышли из самолета в Вене, в солнечный день 15 августа 1982 года, и я увидел при входе в аэровокзал немецкие надписи. То было чувство прибытия в Древний Рим, — с немецким языком, священным языком юности, меня связывало многое, — и не так-то просто было освободиться от этого чувства, от привычки взирать на страну (и вообще на Европу) сквозь литературные очки, и увидеть реальность, и начать жить обыкновенной жизнью на чужбине. Моим друзьям удалось переслать мне окольными путями кое-какие бумаги из оставшихся в России, среди них — частично восстановленный роман. Я писал его заново в Штокдорфе, Веслинге и Гrefельфинге под Мюнхеном, где мы провели первые годы изгнания.

Вместе с К.А. Любарским я основал ежемесячный (не литературный) журнал; он был назван «Страна и мир» и начал выходить в 1984 году. В нем было в разные годы помещено довольно много моих статей и переводов. Мы занимались также книгоизданием, и таким образом появился на свет упомянутый выше сборник моих этюдов под названием «Идущий по воде». Виктор Перельман издал в Нью-Йорке небольшой том моей прозы, куда вошли «Час короля», «Я Воскресение и Жизнь» и «Антивремя», и снабдил его хвалебным

предисловием. Предисловие не помогло: книга не раскупалась, единственный печатный отзыв принадлежал редактору Асе Куник, которая сама же и набирала ее. (Экземпляр с дарственной надписью я послал в Москву начальнику следственного отдела прокуратуры, некоему Ю. В. Смирнову, руководившему операцией по изъятию романа. Надеюсь, он был тронут). Другой издатель выпустил в Нью-Йорке «Миф Россия», нечто вроде большого эссе, первоначально не предназначенного для русских читателей: книжка была заказана небольшим немецким издательством в Майнце, существующим со времен Гёте; основой для нее послужили статьи, печатавшиеся в мюнхенском журнале «Merkur». Вскоре благодаря настойчивости Аннелоре Ничке, ставшей моей постоянной переводчицей, «Анти-время» опубликовала DVA (Deutsche Verlags-Anstalt), издательство, которое с тех пор регулярно выпускало мои сочинения. Германия меня не предала; я удостоился премий. Впрочем, ошибки совершает даже нобелевский синклит, значение литературных премий — кроме того, что они помогают жить и выжить, — состоит не в том, что ими отмечен якобы достойнейший, а в том, что они делают отмеченного известным.

Как бы то ни было, началась моя вторая литературная жизнь — в Западной Европе. Хотелось бы поставить точку. Прибавлю, однако, несколько соображений о вещах, написанных уже за бутром, которые тоже стали для автора историей.

Осенью 1990 года мы врезались на большой скорости в легковую машину в районе Кёльна, я был оперирован и, выйдя из больницы с парализованной рукой, просидел несколько месяцев дома; это дало мне возможность разделаться с романом, которым я занимался с конца восемьдесят четвертого года.

Роман озаглавлен «Нагльфар в океане времен» (немецкий перевод называется «Unten ist Himmel», то есть «Небо внизу») и оснащен тремя эпитафиями, из которых самый большой — цитата из Младшей Эдды, приведенная отчасти ради того, чтобы пояснить или напомнить, что такое Нагльфар. Это корабль, построенный из ногтей мертвецов. Нужно не забывать остричь ногти покойнику, чтобы Нагльфар был готов как можно позже, ибо тогда он выйдет в плаванье из царства мертвых. Тогда задрожит мировой яшень Иггд-расил, и океан зальет землю, и придут три зимы, и наступит Рагнарёк — гибель богов и мира. К содержанию романа эта мрачная мифология имеет лишь косвенное отношение. Нагльфар — это, оче-

видно, дом в Москве на границе тридцатых и сороковых годов, таково место и время действия. Дом и двор похожи на дом моего детства в Большом Козловском переулке, хотя на него брошен фантасмагорический отсвет.

Как и в «Антивремени», сверхгерой повествования — это сам город; главное же действующее лицо, тринадцатилетний подросток, девочка, — персонаж, в котором сосредоточен дух обновления и смерти. Дом с его обитателями погружен в подобие летаргического сна. Значительная часть действия происходит ночью. Девочка появляется в момент, когда историческое время остановилось. Мне казалось, что конец 30-х и рубеж 40-х были именно тем выморочным временем или расщелиной времен, когда революционный порыв окончательно иссяк. Казни и репрессии поутихли, наступила пауза; гаснут огни; измученное общество погрузилось в спячку. Исподволь ощущается тоска по истории, ее не осознают, ее чувствуют; дальние громы приближающейся бури обещают возобновление истории; общество ждет войны. Населенный мертвыми душами корабль Нальфар вот-вот сорвется с якоря.

Но это роман о любви. Второй протагонист, «любимец женщин», пораженный русской болезнью черных окон — чувством пустоты, — первоначально мыслился главным героем. Этот сомнительный, хоть и не лишенный привлекательности персонаж, странная смерть которого служит прологом к роману, носит и слегка видоизмененную фамилию человека, умершего от алкоголизма в 1968 году, которого я не знал, и чей ярко написанный портрет привлек меня в «Снах земли» Г. С. Померанца, там речь идет о послевоенном времени. С Анатолием Бахтаревым (через «а»), талантливым парнем-пустоцветом, входит в роман тема, которая сперва мыслилась главным предметом повествования: неумирающий, но всегда какой-то полуподпольный, полусуществующий орден русской интеллигенции. Так же, как приятель Померанца сохранил в моем сочинении слегка переименованное имя, превратившись в другое лицо, так и от темы «ордена», по мере того как прояснялся магический кристалл, остались полупародийные отрепья; в книге есть эпизод, когда на квартире, превращенной в игорный притон, компания, шлепая картами о стол, философствует о судьбе России. С этой темой каким-то образом сплетается мотив мнимого Агасфера — старика-сапожника, проживающего в подвале.

Несмотря на очевидные промахи — быть может, есть основания говорить просто о провале, — я почти люблю эту книгу, из

всех моих изделий она кажется мне наименее неудавшейся. Я вложил в нее многое. В ней использован принцип фиктивных воспоминаний, мнимой документации, наигранной серьезности, которая переходит в подлинную именно в тот момент, когда ей окончательно перестают верить; словом, принцип двойного дна. О приемах музыкального построения уже говорилось. В России роман, если не считать угрозы притянуть меня к суду за оскорбление памяти Толи Бахтырева (через «ы»), не привлёк внимания, что я нахожу естественным.

*

Агасфера, или Вечного Жида, я сделал героем одной из моих новелл (избрав для него менее употребительное имя Картафил), над которой мучился, которую то и дело переписывал, отчего, возможно, эта вещь окончательно утратила достоинства художественного произведения; все же мне хочется о ней упомянуть. Она не публиковалась на других языках и замечена была только одним читателем — С. И. Липкиным, который поместил в газете стихотворение-отклик, посвятив его автору.

Тема этой новеллы — Освенцим. Вычитав из американских газет отвратительно звучащее русскому уху, пыльно-суконное словечко «холокост», вместо трагического Голокауст (греч. Ὀλοκαύστος, всесожжение), невежественные журналисты не подозревали о том, что оно давно существует в русском языке и пришло к нам из первоисточника.

К сожалению, Освенцим, то есть то, что в еврейском литературном и духовном обиходе именуется Катастрофой (Shoah), отсутствует в сознании интеллигентной публики в России. «Не наше дело». То, что человечество живет после Освенцима и под тенью Освенцима, память о котором не зачеркнуть никакими силами, в нашей стране неизвестно, непонятно ни публицистам, ни церковникам, ни новообращённым христианам, ни фашистам. Так же как не дошло до сознания, что Освенцим предъявил страшный счет христианству, что невозможно и непозволительно перед видением Освенцима рассуждать о Христе, евреях и христианстве так, словно Голокауста не существовало.

(Пример Бориса Пастернака с его рассуждениями о еврействе в «Докторе Живаго», пример поразительной нечувствительности, — всего лишь пример. Но какой красноречивый.)

В рассказе два действующих лица, второе — Агриппа Неттесгеймский, о котором одна из легенд сообщает, что он владел искусством предсказывать будущее. Я сделал Агриппу автором «Хроники о Картафиле», манускрипта, где имеется чертеж прибора, некое достижение экспериментальной теологии: с его помощью можно воспроизвести в чистом виде «абсолютное, субстанциональное и неизменное бытие». Из объяснений ученого следует, что такого рода бытие, составляющее, как учит Блаженный Августин, прерогативу Высшего существа, есть не что иное, как актуализованная вечность, иначе говоря — вечно длящееся настоящее. Для того, чтобы оказаться в будущем, надо пересоздать время. Задача состояла в том, чтобы, следуя канонам научно-фантастического жанра, вернее, пародируя его, пустить пыль в глаза читателю.

Но нищему старику, незваному гостю Агриппы, эти тонкости ни к чему. Он пришел не ради того, чтобы удовлетворить свою любознательность, он смертельно устал от своего бессмертия, его интересует одно: сколько ему еще осталось скитаться? Пятнадцать веков тому назад в Иерусалиме человек, выдававший себя за Божьего сына, ложный Мессия, которого Картафил прогнал от своего крыльца, сказал ему: «Я уйду, но и ты будешь ходить до тех пор, покуда Я не вернусь».

Действие рассказа, по-видимому, происходит в год смерти Агриппы Неттесгеймского. По расчетам Агриппы, Второе пришествие должно состояться через четыреста лет. Корнелий Агриппа, врач, философ и богослов, скончался не то в Кёльне, не то в Гренобле в 1535 году. То есть явление Христа примерно совпадет с датой совещания на вилле в Ванзее, когда будет постановлено окончательное решение еврейского вопроса.

В ходе последующего опыта будущее становится для Картафила настоящим, к великому смущению экспериментатора, который охотно допустил бы, что старец просто-напросто рехнулся. Ибо «легче предположить помрачение ума в любом из нас, нежели допустить безумие мира, куда мы заброшены». То, о чем сбивчиво и невнятно рассказывает потрясенный гость, когда волшебный кристалл гаснет, — то, что он там увидел, — оказалось неожиданностью не только для него, но и для футуролога-чародея: Иисус вернулся, чтобы занять место в очереди перед газовой камерой.

Вечный Жид был проклят во имя торжества христианства, но он единственный живой современник Христа, единственный, кто

видел Христа своими глазами. А дальше получилось так, что, произнеся проклятие над Агасфером, Христос обрек себя на вечную связь с ним. Он был жив до тех пор, пока жил Вечный Жид, и погиб вместе с ним. После второго опыта в комнате Агриппы остался лишь запах обугленных костей. Картафил, оказавшийся в XX веке, сгорел в печах, так закончились его скитания. Но вместе с ним сгорел и другой еврей. Еврейство веками считалось врагом христианства. Теперь этот враг погиб. Однако он оказался условием существования самого христианства. Вместе с гибнущим еврейством умирает основатель христианства, умирает и все его учение. Потому что Освенцим перечеркивает проповедь Христа. Вместе с дымом печей Освенцима и Майданека улетело в небо и традиционное христианство, потому что в мире, где возможен Освенцим, для него нет места. Катастрофа еврейства, окончательное торжество христианства над иудаизмом, означает катастрофу самого христианства.

Занавес!

*

Фраза, которая мне пришла в голову летом 92 года (вскоре после того, как журнал «Страна и мир» прекратился и я стал безработным, освободившись от необходимости сидеть каждый день в редакции, но не от обязанности выплачивать долги, оставленные отбывшим в Россию коллегой), первая фраза «город Хромов обязан своим происхождением несчастному случаю», из которой начало, как из желудя, расти дерево, — эта фраза видоизменилась: я сообразил, что не нужно вообще называть город. Заголовок «Хроника N» сулил несколько преимуществ. Не какой-то реальный город, но некий город. Туда попадают по недоразумению, но это перст судьбы. Когда же Фрося спрашивает рассказчика, она знает, что он не вернется, так как города N нет на карте.

Далее, хроника предполагает отчет о событиях прошлого, пусть мнимый, а не рассказ о герое, будь то сам «хронист» или великий таинственный муж Кузьма Кузьмич Фотиев. Рассказчик, у которого «интерес к историческому прошлому выдает желание возместить потерю собственного прошлого», то и дело вспоминает русские летописи, и они бросают на его записки отсвет вечности. Но вместе с тем это уголовная хроника.

Говоря попросту, город N — это Россия. Та Россия, «откуда хоть три года скачи». Отечественная география сравнивается с воронкой,

это, разумеется, мифическая география. Мы на дне воронки. Город втягивает в себя, засасывает: город-влагалище. Одна из его персонафикаций — Алевтина, кондуктор трамвая, соломенная вдова, днем похожая на замученного работой мужика, ночью женщина. Сам рассказчик, «чернорабочий любви», — лицо без определенных занятий, паспортный калека, по всему судя, вчерашний заключенный. Абсолютно одинокий человек, ищущий, куда бы приткнуться, скрыться, и это сразу, чутьём простой женщины понимает хозяйка, тетя Лёля, опекающая его; но зато он должен жить с ее дочерью Алевтиной; цена этой Geborgenheit — новая утрата свободы.

Город, куда его забросил случай, как будто реализует «великую славянскую мечту о прекращении истории» (О. М.). Город основан в XI веке по милости несчастного случая, охромевшим князем, позади 900-летняя история, полная ужасов, сотканная из преданий и легенд, и город не живет, а вегетирует в истории; это и позволило ему сохраниться. Символ этого растительного существования, — Заречье, бывший посад.

Конечно, такое толкование — всего лишь мой собственный домысел; возможны другие; вообще же, говоря словами С. Зонтаг, у произведения не спрашивают, что оно «выражает». Манию толкований оправдывает разве только понимание того, что никакое объяснение не является обязательным. Легко заметить, что и в этом романе не обошлось без заимствований из биографии автора. Хотя фабула книги — вымысел, город N похож на Калинин, отчасти на Вышний Волочёк; жизнь в гостинице, игра в прятки с администрацией, вызов в милицию по делу о похищенной простыне, созерцание жареных рыбных молок в витрине магазина, жизнь под угрозой выселения, с волчьим билетом, особой малозаметной отметкой в паспорте, — мелодические ходы моей собственной жизни. Тверь, бывшая соперница Москвы, расположена у впадения в Волгу двух притоков, Тверцы и Тьмаки; на полуострове еще недавно стоял обломок Отроча монастыря, основанного, если не ошибаюсь, в XI веке; это сооружение при мне сначала выкрасили синькой, а затем снесли. Считается, что Спасо-Ефимьевский монастырь, куда князь Ставрогин приходит к Тихону, отчасти списан с тверского монастыря; ночной визит к капитану Лебядкину в деревянном домике за рекой происходит в местах, где я жил. Как и в моём романе, хозяйку, добрую женщину, звали тетя Лёля. Бесчеловечность, устойчивая черта русской жизни, делает незабываемыми добрых людей, тех самых праведников, без которых не стоит село.

Река, которая открывается глазам рассказчика, когда он бредет по переулку, вышвырнутый из военной столовой, — это, конечно, Волга. Наконец, главному герою, «учителю-чародею», как мне пришлось озаглавить немецкую версию романа (Zauberlehrer, по аналогии с гётевым Zauberlehrling, дана фамилия человека, которого я знал, проживавшего в Мюнхене русского православного священника, националиста и гомосексуалиста.

Город N кажется идиллическим, грибным. Вдали, на другом берегу, как видение, стоит древний белый монастырь. Но на самом деле это руина, а город кишит нищими и уголовной шпаной.

В городке Strahlen на Нижнем Рейне близ голландской границы, где находится Europäisches Uebersetzerkollegium, род приюта для писателей и переводчиков, в котором я бывал прежде и куда снова приехал в надежде спасти мое сочинение, обрисовалась мысль, которая в дальнейшем вела меня: мысль написать роман о возмездии. Не рассчитывая на догадливость читателя, повествователь говорит о том, что смерть обожаемого учителя, должно быть, и есть не что иное, как возмездие. Вопрос, кто убил, должен быть заменен вопросом: за что? Ответ: тот, кто хочет спасти мир, должен погибнуть, ибо мир не желает быть спасенным.

Я полагал, что роман, в котором время действия весьма условно может быть отнесено к шестидесятым или семидесятым годам, а лучше сказать, вовсе не подлежит уточнению, сохраняет известную актуальность: то, что происходило и происходит в стране, после того как советская власть, как некогда царская, превратилась в ancien régime, представлялось мне историческим возмездием. В отличие от наказания, карающего виновных, возмездие настигает всех. Возмездие за претензию указывать путь всему человечеству и вести за собой человечество, возмездие за мессианские амбиции, за старый сон славянофильства, преобразившийся в коммунистическую утопию спасения. Спасать мир — с голым задом?

Ютящийся в развалинах монастыря вместе со своим «обществом охраны старины» К. К. Фотиев, чье родословие дотягивается чуть ли не до первой жены Адама, — вокзальный нищий. Нищета, атрибут праведности, открывает ворота в уголовный мир. Но это, конечно, и пародия на демонстративную бедность Николая Федорова, бессребреника, отрицавшего всякую, в том числе духовную, ответственность. Меня так и подмывало подразнить все еще не вымерших поклонников гротескной философии Общего Дела. Проект

братского единения во имя общей великой цели, гибрид казармы и монастыря, смесь христианства с самым грубым позитивизмом, имеет одну примечательную черту: в нем нет места женщине. Незачем плодить детей, а нужно все силы отдать воскрешению предков. Поэтому полова любовь, беременность и материнство репрессированы. Считается, что философия Федорова — это протест против смерти. На самом деле она дышит кладбищем. Ее пафос бездетности отзывает перверсией. Утопии гомосексуальны. Неясно, кто уколошил Фотиева, но если убийцей была Фрося, то это было другой стороной возмездия — отмщением женщины, из которой пытались сделать «брата».

(Между прочим, я посещал в университете факультативные занятия санскритом под руководством профессора Михаила Николаевича Петерсона, известного лингвиста, очень ученого и очень странного человека, приторно-любезного, с телосложением женщины. Он был сыном ученика Н. Федорова Николая Петерсона. Оба последователя, Петерсон и Кожевников, издали сочинения учителя после его смерти; В. А. Кожевников, фантастический эрудит и поэт, перелагал учение Федорова в стихи, ему же принадлежит самый термин «философия Общего Дела».)

Два слова о «трактатах»: редактор предлагал их похерить. Сошлись на том, что они будут разбросаны по тексту. (В немецком издании романа трактаты, как и полагается, образуют приложение). Авторство трактатов остается открытым, возможно, они записаны со слов учителя: как Будда или Сократ, он сам ничего не писал. Я сочинял их с удовольствием. Мне казалось, что эти тексты с их идиотической серьезностью, в которых обыгрываются мотивы романа, создают некоторую дополнительную ироническую перспективу.

Роман «Хроника Н. Записки незаконного человека» был отнесен Беном Сарновым в редакцию журнала «Октябрь», этим объясняется странная удача — сочинение опубликовали в России.

*

В одной работе И. Н. Голенищева-Кутузова (ее цитировал в статье об авторе этих строк Илья Рубин) упомянут Рутилий Клавдий Намациан, иначе Наманциан, христианский поэт V века, галл по рождению, в слезах целовавший ворота Рима перед отъездом на родину. Я разыскал его поэму и поставил строки *Stebra relinquendis infigimus oscula portis...* эпиграфом к роману «После нас потоп» (не-

удачное немецкое название «Vögel über Moskau»). Он посвящен «памяти другого Рубина», другого, потому что действующее лицо романа тоже носит имя Илья Рубин.

Этот Рубин, впрочем, отчасти похож на того, реального: он тоже мотается по городу с портфелем, набитым «материалами»; возится с женщинами; но не женщины занимают его ум; как и тот Рубин, он всецело поглощен своим делом. Дело это — Журнал. Постепенно становится ясно, что это за дело, а вернее, так и не проясняется до конца. Что касается времени действия, то оно, должно быть, происходит в семидесятых годах или около того; датировка вообще дело сомнительное, многочисленные анахронизмы — отнюдь не следствие небрежности. Роман написан в 1995–96 годах и представляет собой еще одну отважную попытку преобразить в нечто ноуменальное бессмыслицу нашей жизни в России.

Если угодно, это попытка обнаружить в ней дыхание промысла, облагородить агонизирующую державу высшей метаисторической идеей; что, конечно, не отменяет иронию и игру. Двадцать лет тому назад раз и навсегда было разъяснено законодателем литературного постмодернизма Ж.-Ф. Льютаром, что «метаповествования» умерли. Всеобъемлющие идеи приказали долго жить. Я не внял этому увещеванию, в моем романе просматривается такая сверхидея. (Мы обсуждали ее однажды с Марком Харитоновым). Все же я полагаю, что мы имеем дело не с идейным романом, но, так сказать, романом музыкально-философским. Таков мой жанр, сколь бы претенциозным ни показалось это определение.

Мне казалось, что обвал Советского Союза, или, что то же самое, распад Российской империи, есть событие, сопоставимое с крушением Древнего Рима. Сограждане не отдавали себе отчета в историческом значении того, что происходит; современники вообще не в состоянии оценить по достоинству свою эпоху; самое понятие о смене эпох есть изобретение потомков. Потоп доходит до сознания *post factum*, задним числом, когда прежняя жизнь оказывается допотопной. Жизнь накануне потопы: в романе это не столько идея — и еще менее «теория», — сколько музыкальный конструктор. (Ближайшая аналогия — Малер).

С мотивом Потопа переплетены два других: Окраина и Подполье. Город, у которого, как я думаю, есть все основания не то чтобы называться Третьим Римом, но встать рядом с Первым, окутан и осажден опухолью окраин. В первом приближении это так

называемые новые районы с населением, которому повествователь не умеет подыскать иного названия, нежели — в шпенглеровском смысле — феллахи. Феллахи живут на задворках истории, но сами по себе — историческое явление. Этот мотив удваивается: подобно тому как столицу теснят окраины, ядро империи окружено покоренными провинциями. Одна из них — фантастическая юго-восточная республика, откуда прибывает в Москву степной потентат — половецкий хан.

Мотив Окраины переходит в другую тональность, когда мы узнаем, что на окраинах города ютятся участники полумифического Журнала. С Журналом в роман входит третья музыкальная тема — Подполье. Опять же в первом приближении это Самиздат, нелегальная машинописная «печать» наподобие той, к которой я был причастен в последние годы жизни в России; Самиздат как некая окраина официальной словесности. Один из моих старых друзей и немногочисленных читателей, в прошлом заслуженный автор Самиздата, был глубоко оскорблен карикатурным — или почти карикатурным — обликом участников Журнала. Можно, однако, заметить, что существенным конститутивным признаком романа является принципиальная двусмысленность. Она, я думаю, прослеживается во всем сочинении, начиная с пролога. Образы романа амбивалентны. Это затрудняет его понимание.

Журнал, редактируемый Ильей Рубиным, для которого он без конца собирает материалы, Журнал, который вечно готовится и никогда не выходит, который сравнивается с «островами блаженных, с башней слоновой кости... с улиткой, рыцарем, черепахой...», за которым гоняются, как крысы за куском сала, чины тайной полиции и который ускользает, словно обмылок; Журнал, о котором, в сущности, ничего не известно и который в конце концов принимает совершенно неопределенные, почти мистические очертания, — чего доброго, окажется попросту чьей-то выдумкой, — этот «журнал», конечно, есть нечто большее, чем Самиздат 70-х годов, столь яростно преследуемый, объединивший под своей дырявой крышей самых разных людей, дилетантов и профессионалов, людей с неудовлетворенными литературными амбициями и самоотверженных идеалистов. Нечто большее, а может, и нечто совсем иное. Одно из возможных толкований: модель катакомбной культуры.

Это культура, которая чудом сумела произрасти поверх почвы, залитой асфальтом, культура, существующая вопреки тира-

нии, не подвластная фашистскому государству, не встроенная в тоталитарное общество, бесстрашная, неподкупная, не проституированная. Это культура кружковая, замкнутая, сектантская, затхлая и задохнувшаяся. Ее можно понимать и как культуру, которой предстоит отстаивать свою автаркию в массовом демократическом обществе, где рынок гарантирует свободу от политического гнета и преследований, но сам оказывается вездесущей репрессивной силой, враждебной духу. Культура — касталийская утопия... Уйдя в подполье или в себя, она вырождается. Ей не хватает воздуха и простора. И она совершает — в лице главного героя — самоубийство.

Книга, представляющая собой прощание с эпохой и ушедшей страной (подобно тому как Намациан прощается с Римом), начавшись с пролога, нуждалась в эпилоге. Как ни удивительно, один из аспектов бессмертия России по ту сторону бедствий и катастроф — жуткое бессмертие тайной политической полиции. Эта гидра, у которой отрастают головы, пережила всё и всех: партию, коммунизм, советскую власть, евроазиатскую империю от Востока до заката; переживет и нас. Присутствие тайной полиции было необходимой частью сюжета, и если верно, что литература — это сведение счетов, то эпилог как будто сводит счеты с монстром. Тем не менее это не публицистика и уж, конечно, не морализирование, это — «философия прогулочных дворов», у которой есть, по-моему, сюжетное, музыкальное и стилистическое оправдание.

Все остальное в романе — сам роман. В работе наступает момент, когда появляется чувство созданного тобою пространства. Начинаешь его обживать. (В одном месте Илья Рубин посещает автора. Но в пространстве прозы и автор становится персонажем). Я воспринимал моих действующих лиц, мужчин и женщин, Шурочку, Берту, виконта Олега Эрастовича, банщика Лыкова, да и самого хана, и какого-нибудь случайно встреченного в метро оперуполномоченного, и какого-нибудь дедулю, ночного философа — словом, всех — как живых людей, отнюдь не только как лицедеев эпохи. Я и сейчас как будто слышу их голоса. И я слишком чувствую, что все мои объяснения мало что прибавляют к моей прозе. Между прочим, и по причине той амбивалентности, о которой только что было сказано. Мотивы романа пародируются внутри самого романа, рассуждения условного повествователя носят игровой характер, мы возвращаемся к тому, от чего собирались оттолкнуться, в царство вос-

хитительной несерьезности. Действующие лица смотрятся в кривоватые зеркала. Можно сказать, что они обретаются по обе стороны волшебного стекла.

(Опять зеркало! В романе есть сцена, когда мужчина смотрит на женщину, стоящую перед зеркалом. Он видит ее сразу со спины и спереди, чего никогда не бывает в действительности. Она же видит себя и видит его, хотя на самом деле они не рядом и даже едва знакомы. Оба оказываются в зеркальном пространстве, как во второй действительности, где все приобретает другое значение и совершается по-другому.)

Научиться писать невозможно; научиться можно лишь тому, как не надо писать. Не существует ответа и на вопрос, зачем надо писать; для кого. Завтра мы умрем, и весь ворох сочиненного нами отправится на помойку. Я не испытывал ни малейшей охоты быть народным писателем, популярным писателем, актуальным писателем, ангажированным писателем. Останься я в России, я и там не мог бы писать о том, что видел бы за окошком. Я полагаю, что литература всецело живет памятью.

Такое заявление в устах человека, живущего вне страны, о которой он пишет, и хорошо знающего, сколь многим литература нашего века обязана изгнанникам, звучит похвальбой или желанием оправдаться. Ведь для тех, кто остался, эмигрант всегда более или менее — человек прошлого.

Но я знаю, что проза дело нескорое и что литературе нужно долго собираться с мыслями. В результате она является к шапочно-му разбору. Дистанция дает ей особые преимущества. Вместе с тем она, эта дистанционность, обрекает литературу на невнимание читателя, который справедливо считает, что найдет для себя гораздо больше занимательного в газете. Писатель не велосипедист, который изо всех сил крутит колеса, стараясь не отстать от изрыгающих газ лимузинов публицистики и журнализма, писатель — это пешеход, путник с котомкой, он не ездит по дорогам, а бродит в полях. Я полагаю также, что литературе должен быть присущ известный аристократизм. Это естественно, потому что писатель, каким бы жалким он ни выглядел, — аристократ. Это аристократизм мысли, который запрещает пользоваться шаблонами обыденного сознания, и аристократизм языка, предписывающий необходимую меру брезгливости.

Как-то раз, это было в начале 96 года в Вейлере, на крайнем юге Баварии, в виду Альгойских Альп, где я гостил у старых друзей, профессора Гарри Просса и его жены Марианны, мне представился довольно рутинный сюжет: некто приезжает на новое место с намерением уединиться, собраться с мыслями и подвести итог своей жизни, и с ним там что-то происходит. В данном случае новым местом была русская заброшенная деревня.

Мне не нужно было ее придумывать: я достаточно много видел таких деревень, чья неписаная история восходит ко временам Баття, жил в этих полумертвых, полурастащенных селениях, где дотягивали свой век брошенные на произвол судьбы своими детьми, забытые Богом и властями старухи. Тотчас же, едва я принялся за работу, деревня приняла в моем воображении вполне конкретный и одновременно призрачно-мифологический облик.

Может быть, это был первый случай, когда я в самом деле писал наугад, не только не ведая, чем должна кончиться моя история, но и вовсе без всякой истории в голове, писал куда кривая вывезет. Приезжий — очевидно, писатель, и, надо думать, неудачливый — намерен произвести детальное исследование собственной жизни, написать автобиографию. Пробыться к правде, отшвырнув всякую «поэзию». Вслед за этим потянулись мысли о литературе, о том, что литература втягивает в себя любые попытки отнестись от нее, превращает действительность в прозу, автобиографию — в наррацию. Повествующее Я — уже не «я сам», незаметно для меня моя личность превратилась в материал, моя жизнь становится литературным текстом. (Я вернулся к этим мыслям позднее, занимаясь большой статьей «Дневник сочинителя»). Чтобы подчеркнуть эту двойственность, это перерождение «я» в автора, рассказ ведется то от первого, то от третьего лица.

Рассуждения о писательстве грозили моему детищу внутриутробной смертью. Но мало-помалу появились и предъявили свои права действующие лица, возникла ситуация, обрисовалась тройная сцена: изба, деревня и заречная даль.

В этом романе существует несколько рядов кулис, как в театре, и дальний фон — вечная, как природа, русская история. Разумеется (как и в «Хронике N»), история легендарная. О ней напоминают, ее хранят национальные святые Борис и Глеб: то на ико-

не в избе, где обосновался писатель, то нищими слепцами с ними из картона, то на конях, с копьями, в княжеском одеянии. Ночной лейтенант, который охотится за беглым кулаком, бывшим владельцем избы, готов стрелять в икону, но он сам тоже стал частью истории. К минувшему, где, как в костюмерной, каждый может выбрать подходящий наряд, тянутся, как к убежищу, в нем хотят жить, действительность предстает скукой, запустением и кошмаром, из которых эмигрируют: одни, как мнимые помещики за рекой, в прошлый век, другие (приезжий) в словесность. Роман получился бурлескный, почти пародийный, роман-персифляж, но в нем постепенно выкристаллизовались кое-какие важные для меня представления. (Я написал также пьесу «по мотивам»).

Можно сказать иначе: эта деревня одновременно и действительность, и фантом. Как, впрочем, весь наш мир. Это довольно обычная деревня и вместе с тем морок, потустороннее царство, где навсегда остановилось время. Поэтому там все может происходить одновременно. Бывший и, видимо, репрессированный, давно и бесследно сгинувший хозяин хибары является ночью отстаивать свои права; бывшие помещики, которых можно считать и дачниками, благодушествуют в своем (бывшем) имении, а по окрестностям кочуют братья рюриковичи, убитые в XI веке. Пятнадцатилетняя дочь помещиков не знает, как себя вести: то ли как современная девица, то ли как чеховская барышня. Дуэль как будто не настоящая, а между тем приезжий едва не убит. На празднике, одновременно престольном и советском, присутствуют все: и местный бюрократ, и неудачливый писатель, и его соперник — остзейский барон и патриот, изображающий из себя русского религиозного философа, и какой-то там старец, полумифический герой гражданской войны, и гэнэушники, которые охотятся за беглым кулаком, и сам этот так называемый кулак, и даже древнерусские святые.

Немецкая репродукция иконы XVI века с двумя всадниками на серебристом фоне, напоминающем лунную ночь, на конях, которые не скачут, а скорее танцуют, висит в моей комнате. Эти князья, как ни странно, все еще — по крайней мере, для автора — живые фигуры русской истории и русской культурной традиции. В полумертвой деревне присутствует нечто вечное, присутствует история. В каком-то смысле она всегда одна и та же — как пейзаж, «далекое зрелище лесов». История — время, превратившееся в вечность.

Братья-мученики, о которых нельзя с уверенностью сказать, существуют ли они в земном смысле или только являются, как и положено святым, выражают ту многосмысленность, от которой я и не думаю отказываться, которая присуща всему сочинению. То они витязи в княжеских шапках, на призрачных танцующих конях, то спившиеся попрошайки, которые шатаются вокруг поместья, не то настоящего, не то воображаемого. Вот я и смотрю на них — на тех, кто висит на стене, и на тех, кто гарцует по лунному полю.

1991, 1998

ПАМЯТИ ОДНОЙ КНИГИ

Некогда Флобер выражал желание написать роман, в котором ничего не происходит, и в этом, кажется, проявилось не только отвращение к традиционной беллетристике, но и некоторая ущербность характера, которая приводит к тому, что писатель оказывается не в состоянии создать целостное, законченное и сюжетно выверенное произведение, а пишет только блестящие страницы. Такой роман, мы знаем, был написан, понимаем, каких трудов стоило автору довести до почти невысказанного совершенства «Воспитание чувств», эту восхитительно неуловимую книгу; и, однако, вопреки всему, в ней есть достаточно прочная структура — если угодно, сюжет. Я это к тому, что, взявшись около трёх лет назад за некое сочинение, я с самого начала испытывал внутреннюю борьбу. Мне было ясно, что без фабулы ничего не выйдет, и вместе с тем хотелось, чтобы герои были похожи на автора, чтобы они были бездеятельны, пассивны, медлительны и если уж совершали какие-нибудь поступки, то как бы нечаянно и непроизвольно; мне было бы куда приятней рассуждать — о них или вообще о чём угодно, — чем предоставить им управляться самим. Словом, хотелось, чтобы в моей книге, если что-либо и происходило, то как бы на заднем плане, между прочим, словно в соседней квартире, откуда доносятся звуки ссоры, главное же должно быть совсем не то, главное — атмосферическое чувство времени, ощущение времени как стихии, густой и вязкой, а вместе с тем прозрачной и проницаемой. Это переживание времени, передаваемое пространственными пассажами-рассуждениями, по видимости связанными, по существу не лишёнными некоторого подобия бреда, и должно было составлять главное содержание романа.

Из этого намерения ничего не вышло, почему я и вспомнило Флобера, кумира юности; мои персонажи, по мере того как они превращались из призраков в более или менее осязаемые существа, начали подавать знаки нетерпения: им было скучно со мной, надоело ждать, когда я кончу свои разглагольствованья, они рассудили, что

жизнь даётся один раз и надо ею пользоваться, совершать хоть какие-то, пусть безрассудные, поступки. Таким образом я совершил неожиданное открытие; литературный герой собственно тогда и становится героем, когда что-то делает. Но боязнь действия, неумение строить сюжет роковым образом дали о себе знать, и книга, уже дописанная, осталась разросшимся в ворох бумаг намёком на роман. Действующие лица как бродили, неприкаянные, не зная чем заняться, по этим страницам, так и остались ни с чем.

И вот, не далее как вчера, — пишу это сейчас по горячему следу, — гости из высокого учреждения явились ко мне и забрали все рукописи и черновики, всё до последнего листочка, освободив меня раз навсегда от литературных сомнений и связанных с ними угрызений совести. Я думал, что умру от горя, ведь это было всё равно как если бы я три года, день за днём, выжимал сок своего мозга, выдавливал каплю за каплей и нацедил целую банку, а потом её взяли и выплеснули содержимое не глядя в сортир; но затем рассудил, что визит этот был не что иное как перст судьбы, ткнувший в грудь сочинителю, дабы он понял, что ежели сам он не догадался, пока не поздно, спустить в канализацию своё изделие, то за него это запросто могут сделать другие. Так или иначе, я был освобождён от ответственности перед самим собой и волен сколько угодно внушать себе и другим, что мир лишился шедевра. С книгами происходит то же, что и с людьми: стигнув во цвете лет, они становятся интересней, чем были при жизни. В который раз убеждаешься, насколько легче и приятней рассуждать о литературе, чем ею заниматься. У меня было особое суеверие: я боялся даже заикнуться о своём произведении, пока не сочту его законченным. Теперь запрет снят, allons, с Богом.

Однако рассказать книгу значит пересказать её сюжет, не правда ли, а с сюжетом дело обстояло, как уже мною сказано, неблагоприятно. Не говоря уже о том, что нет ничего утомительней, чем слушать, как кто-то рассказывает содержание фильма или романа. Зачем я корпел над ним? Чего вообще добивается человек, вбивший себе в голову, что его призвание — сочинительство? Среди теорий, объясняющих мотивы творчества, наименее неправдоподобна та, которая видит в писательстве средство самовыражения, но особым способом — мысленно переиграв свою жизнь — и тем самым преодолеть страх смерти. Можно понять, что имел в виду Грэм Грин, признавшись однажды, что он не знает, каким образом находят в

себе силы жить и переносить ожидание смерти люди, которые не пишут. Думаю, что такой подход помог бы отделить литературу от того, чем она не является. Мне легче объяснить, чего я *не* хотел делать: я не хотел писать актуальную книгу, не хотел писать политический роман, не хотел писать исторический роман и не хотел писать социальный роман. Скажем прямо: по-настоящему интересно писать только об одном: о любви. Сочинение моё, следовательно, было автобиографическим, потому что это и был роман о любви, а любовь, если я не ошибаюсь, вместе с чтением книг составляла главное содержание моей жизни. Из чего не следует, что героями были сам автор и женщина или женщины, с которыми ему довелось повстречаться; самое большее, на что он решился, это заимствовать у них отдельные черты.

Любовь — я имею в виду литературу — в наше время переменилась, с одной стороны стала чем-то вполне конкретным и вещественным, а с другой, назло этой вещественности, — приобрела необычную многозначность. Может быть, только сейчас мы способны оценить фразу Новалиса: «Поцелуй — начало философии». Любовь изменилась вместе с романами, и, возможно, причина этому та, что роман не остался таким, каким был сто лет назад. Любовь перестала быть «конститутивным элементом» повествования и мало помалу превратилась в символическую вселенную. Человеческое тело, тело женщины и мужчины, есть карта двух полушарий этой вселенной.

Оттого-то вы замечаете, что когда вам толкуют об искусстве, о бессонательном, наконец, о Боге, то на самом деле говорят о о сексуальности, когда же описывают чету, занятую тем, что на неподобном языке нашего времени именуется *making love*, то оказывается, что речь — не об этом. Гипотеза, согласно которой пол составляет подоплёку психической жизни, была только первым шагом. Если объекты действительности, образы искусства и сны суть сексуальные иносказания, то верно и обратное — сексуальность сама является универсальным символом — эмблематикой искусства и жизни. Если всё вокруг нас сговорилось, чтобы вечно шептать нам об одном и том же, одном и том же, то что же это в конце концов означает, как не то, что глазами любви в нас вперяется вся мудрость мира? Знак глядится в то, что он означает, — ищите истину между двумя зеркалами.

Вот то, что касается «темы»... О сюжете мы уже говорили. Третья и труднейшая проблема писательства — точка зрения. Чьи пла-

за взирают на происходящее? Избрать ли нам первое лицо глагола или третье — или ещё какое-нибудь? Мой рассказчик не был безличным лицом, он сам был и повествователем, и героем. Книга, как уже сказано, представляла собой адаптированную автобиографию; герой вспоминал свою жизнь, мешая прошлое с настоящим; все недостатки субъективного изложения ступились в ней до неприличия. Книга взывала о помощи, и я решился ввести в неё дополнительную точку зрения, внутреннюю и вместе с тем парадоксально чужую. Не устоял против искушения включить в роман сны.

Изящное рассуждение Паскаля о ремесленнике и короле (*Pensées* VI, 386) заканчивается словами: «Жизнь есть тот же сон, только чуть менее непостоянный».

Сон не есть другая действительность, но другое толкование действительности. Сон — это действительность, вывернутая наизнанку, швами наружу, как бы для того, чтобы показать, из чего она сшита. Она пошита из лоскутков души. Сны, которыми я уснастил свою прозу, представляли собой род вставных новелл и в сюжетно-композиционном отношении были абсолютно лишними. Их было несколько. Сны были странными, жутковатыми, абсурдными, полными тайного значения и до ужаса похожими на действительность, оценивали то, чем жил герой, с иной точки зрения, принадлежащей сознанию, которое находилось внутри него и в то же время вовне и обволакивало его, — с точки зрения божественного идиота. Я предпочёл бы не называть его коллективным бессознательным.

Вот, собственно, и всё. Остальное — книга, которой нет...

1980

ЛЮБИМЫЙ УЧЕНИК

1

В апреле на лесных дорогах в Южном Тироле лежит снег. Машина едет, описывая длинные дуги, и чем круче вверх ползёт дорога, тем выше отвалы снега вдоль обочин. На площадке в стороне от шоссе стоит каменный крестьянский дом, должно быть, воздвигнутый ещё при императрице Марии Терезии. Вылезаем. Над нашими головами, над лесом, высится и сверкает горный кряж. Такой ландшафт наводит на опасные мысли. Но, может быть, они-то и приближают нас к истине.

Сегодня Gründonnerstag, «зелёный четверг» — четвёртый день немецкой страстной недели, и разговор заходит о происшествии, случившемся в Палестине двадцать веков назад. В четверг 6 апреля 30 года, по еврейскому календарю тринадцатого авива, или нисана, Иисус из Назарета готовится с учениками справить Песах, праздник в память выхода иудеев из Египта под предводительством Моисея. Для гостей приготовлена комната в богатом доме в Иерусалиме. Почему в богатом? Представление об основателе христианства как об отверженном бродяге ошибочно: Иисус происходил из знатного рода, был потомком царя Давида, получил основательное образование; став главой новой религиозной школы, пользовался покровительством влиятельных лиц и дам из высшего круга, многие из них были его тайными или явными сторонниками. Владелец дома счёл для себя честью оказать гостеприимство маленькой бродячей общине учеников во главе с учителем, и ритуальная трапеза в отведённой для этой цели просторной горнице должна была совершиться в неукоснительном соответствии с религиозным и бытовым этикетом.

Сколько человек было на Тайной Вечере? Считается, что у Христа было двенадцать учеников, священное число, равное числу колен Израиля. С другой стороны, ни одно из четырёх канонических

евангелий не утверждает, что число учеников было постоянным; кроме поименованных в третьей главе Марка, были и другие, например, Никодим, о котором сообщает Иоанн, или Иосиф Аримафейский, упоминаемый всеми евангелистами; а Лука говорит даже о семидесяти учениках. В рассказе о Тайной Вечере авторы синоптических евангелий употребляют выражение «Иисус и двенадцать», но не исключено, что в это количество входил и хозяин дома, и, возможно, кое-кто из его родственников. Евангелист Иоанн вообще не называет числа.

Зато он вводит фигуру, о которой другие не упоминают: особо предпочтённый, любимый ученик, лежащий на груди у Христа. Сцена как бы погружена в полумрак; мы не различаем присутствующих, за исключением трёх лиц: это учитель, возлюбленный ученик — принято считать, что это был Иоанн, хотя в тексте нет на этот счёт никаких указаний, — и, наконец, Иуда, которого рабби изобличает как предателя.

Мы сидим за самоваром возле кафельной печи в старом крестьянском доме в тирольских Доломитах, где проводит большую часть года протестантский теолог из Бремена пастор Вильгельм Шмидт. Рядом с гостиной помещается рабочая комната, похожая на *Studierzimmer* доктора Фауста, которому Гёте поручает труд Лютера — перевод Нового Завета на немецкий язык; на пюпитре лежит огромная древняя Библия.

Верно ли, спрашивает хозяин, что «любимый ученик» есть именно Иоанн? Евангелие — не только сообщение о том, что произошло, благая весть, или, переводя буквально с греческого, «хорошая новость», — но и художественное произведение. Воздействие, которое производит на слушателя или читателя сцена предсмертной трапезы Иисуса и учеников, основано на традиционном приёме античной драматургии — конфликте двух протагонистов; остальные присутствующие играют роль хора. Третий персонаж здесь был бы излишним.

Попробуем представить себе, как реально выглядел пасхальный ужин. На память приходят известные полотна, фреска Леонардо в трапезной *Santa Maria delle grazie*. Но сотрапезники не сидели, а возлежали вокруг стола. Об этом не забывают упомянуть и евангелисты, например, у Матфея говорится: «Он возлёг с двенадцатью учениками» (26: 20). Для лежания за пиршественным столом употреблялся триклиний, нечто вроде тройной кушетки с тремя подуш-

ками; левой рукой опирались на подушку, правой брали со стола пищу и кубки. Чтобы не мешать друг другу, все три ложа, составляющие триклиний, ставились углом к столу, так что голова второго гостя оказывалась на уровне груди первого, а голова третьего — напротив груди второго. Стол был квадратным. Теперь мы можем с большой долей вероятности сказать, сколько человек было за столом: двенадцать — по одному триклинию с каждой стороны. Иисус и хозяин дома — в их числе.

Далее произошло следующее: разломив хлеб и наполнив ритуальную чашу горьким напитком, учитель сказал, что за столом находится «сын погибели» — предатель. Праздничные застолья были, как уже сказано, строго регламентированы; участники располагались вокруг стола в определённом порядке. На почётном месте возлежал главный гость, слева от него — второй по рангу и так далее. Первое место за столом хозяин отвёл для рабби. Следующим, «у груди Иисуса», как сказано в Четвёртом евангелии, — то есть на уровне его груди, — находился «один из учеников Его, которого любил Иисус» (Ин. 13: 23). Место, следующее после любимого ученика, хозяин, возможно, оставил для себя. Но кто же был этот любимец?

«...Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искарриоту» (Ин.13: 25-26).

Особо приближенным учеником мог быть только тот, кому давались наиболее ответственные поручения — к примеру, хранение кассы и заведывание бюджетом странствующей общины; он был старшим после учителя, почему и удостоился второго по рангу места за столом. Имя его, сказал Шмидт, нам известно. Человек этот был Иуда, лежавший у груди учителя и донёсший на своего учителя: Иуда родом из селения Кириаф-Йарим.

2

Поговорим о предмете, который всем нам знаком, слишком хорошо знаком. Поговорим о предательстве.

Тема доноса, история тайного предательства введена в сюжет о казни Христа, составляет его необходимую часть, и евангелие клеймит предательство как самый страшный грех. Доносчик не в силах снести его тяжесть и, замученный необъяснимой тоской, убивает сам себя.

Мы, однако, выросли в обществе, где предатель был такой же будничной фигурой, как парикмахер или почтальон. Где доноительство было частью повседневной жизни, где не существовало ни одного рабочего коллектива, ни одной социальной ячейки, ни одного дружеского кружка, в котором рано или поздно не появился бы стукач. Предательство встречало нас на пороге сознательной жизни, измена сидела с нами за одним столом, смотрела нам в глаза и клялась в дружбе, и вела с нами доверительные беседы, и не оставляла нас даже по ту сторону жизни — в тюрьме и лагере. Предательство стало своего рода сублимацией страха, но было бы неправдой сказать, что страх оставался его единственным стимулом, ибо оно было и спортом, и профессией, и способом зарабатывать на жизнь, и жизненным призванием. Короче говоря, мы жили в стране доносчиков.

Люди, побывавшие в заключении, убеждались в том, что не было ни одного дела, за которым не стоял бы доноситель, более или менее засекреченный, более или менее очевидный, и сидя в переполненных камерах, в битком набитых столыпинских вагонах, на пересылках и карантинных лагпунктах, куда шли и шли этапы, текли и текли всё новые партии осуждённых, спрашивали себя: сколько же стукачей в этом государстве?

Они спрашивали себя, сколько «оперативных уполномоченных» трудилось в этом обществе, — ведь не существовало ни одной государственной организации и ни одного учреждения, где в комнате за двойной дверью без вывески, в тишине и тайне, не сидел бы этот уполномоченный, насаждавший предательство.

Если бы (как в бывшей ГДР) растворились железные ворота и открылись архивы, — если бы стали известны не только «следственные», но и «оперативные» дела, — обнаружилась бы картина тотального пропитывания общества и народа особого рода фиксирующей жидкостью, и тогда бы мы поняли, почему преступление Искарота перестало считаться здесь чем-то выходящим из ряда вон. Это было общество, отравленное дыханием лагерей и загниготизированное Органами, чьи возможности и прерогативы никому не были в точности известны и оттого казались безграничными.

Мне возразят, что всё это — вчерашний день, который никого больше не интересует; я отвечу, что мы все наследники этого общества и что нельзя говорить о демократии там, где существует тайная политическая полиция, а она всё ещё существует. Мне скажут, что я демонизирую деятельность тайной полиции, которая в конце кон-

цов представляет собой всего лишь канцелярию. Но не нужно быть фантазёром, чтобы понять, что повсеместное присутствие органов безопасности было не чем иным, как повсеместным присутствием доносчиков. Мне скажут, что «органы» в этой стране бессмертны, подобно органам размножения, продуцирующим зародышевую плазму, — и я ничего не смогу на это ответить. Если время от времени настаивает неотвязная мысль, что эта страна в каком-то общем смысле безнадежна, то отчасти потому, что органы бессмертны.

В одном романе Набокова тюремщик вальсирует с арестантом. Могущество органов состояло в том, что они всегда или почти всегда могли рассчитывать на готовность сотрудничать. Это было общество, сформированное тайной полицией, и общество, питавшее тайную полицию. Паразитический организм, проникший во все системы социального организма, сросся с ним настолько, что государство было не в состоянии функционировать без него, и в этом заключалось оправдание непрекращающихся криков о бдительности. Скульптору Мухиной следовало бы изобразить в качестве аллегорий, олицетворяющих государство, не рабочего с молотом и колхозницу с серпом, а оперативного уполномоченного и сексота с их инструментами — мечом и пером.

Масштабы деятельности восточногерманской Staatssicherheit, в чьи картотеки было занесено практически всё взрослое население ГДР, дают представление о старшем брате, как открытка с репродукцией классического полотна позволяет судить об оригинале. Если бы открылись архивы и были обнародованы списки осведомителей, мы ужаснулись бы не только их количеству, мы увидели бы там имена многих небезызвестных людей. Возмездие? Но трудно представить себе, как можно было бы его осуществить. В обществе, где порядочность была исключением, а подлость — нормой поведения, правосудие, даже если бы оно ограничилось чисто моральными санкциями, столкнулось бы с безвыходной и безнадежной ситуацией.

3

В двадцатые годы был в ходу медико-социологический термин *syphilisation de la société*. То было время широкого распространения сифилитической инфекции в странах Европы. Под «сифилизацией общества» подразумевалась мера заражённости населения. Специа-

листы знают, что сифилис — хроническое многолетнее заболевание, проявления которого весьма различны. Существуют открытые, манифестные формы с признаками активного недуга; существуют формы, когда болезнь прокает скрыто и лишь время от времени даёт знать о себе; наконец, встречаются пациенты, которые выглядят совершенно здоровыми людьми. Лишь положительная реакция Вассермана (интенсивность которой обычно обозначается числом крестиков) сигнализирует о некогда имевшем место заражении, о том, что возбудитель всё ещё прячется в организме.

Среди нас были люди, чья причастность к органам не вызывала сомнений; так сказать, манифестные больные. Были такие, о которых трудно было сказать наверняка — то ли да, то ли нет. И были люди, — сколько их живёт между нами по сей день, — производившие впечатление здоровых. Какой-нибудь жрец науки, популярный режиссёр, увенчанный лаврами живописец или маститый литератор с благородной внешностью, с трубкой в зубах, в бороде патриота, — убеждённый противник коммунизма, критик западной бездуховности, христианин и ратоборец возвращения к корням. Но в крови у него — четыре креста Вассермана.

Я вспоминаю времена нашей юности, послевоенную Москву, филологический факультет университета. Перед окнами и сейчас стоят запорошённые снегом фигуры Герцена и Огарёва. Московский университет, отчизна духа, усыпальница русской свободы! Чьё сердце не забьётся при одном этом звуке... На этом университете стоит чёрное пятно. Мне вспоминаются мои товарищи, однокашники, с упоением занимавшиеся так называемой общественной работой, члены всевозможных бюро и секретари комитетов; люди, которые впоследствии сделали литературными функционерами, а в те годы бодро шагали вверх по общественно-политической, учёной и должностной лестнице. Редко какая карьера была возможна без специфических услуг, оказанных органам, или хотя бы без согласования с органами, без их молчаливого кивка.

Бывшие студенты помнят покойного Романа Михайловича Самарина, видного специалиста по западноевропейским литературам; молодёжь сбегалась на его лекции. Много позже и, кажется, уже после его смерти стало известно, что он был долголетним платным осведомителем тогдашнего МГБ. Весной 1950 года я встретил в Бутырьках другого профессора, историка Древнего Востока. В этот день заключённых из нескольких политических тюрем

свозили для объявления приговора Особого совещания. Выглядело это довольно прозаически, каждого по отдельности вводили в комнату, где сидел человек плюгавого вида в мундире без погон; он протягивал листок с уведомлением о том, что вам впаяли такой-то срок. Полагалось расписаться, после чего вас вталкивали в общую камеру. Профессор сидел в углу, опустив голову. Я сказал: «Когда-то я сдавал вам экзамен и получил тройку». Он спросил: «А сколько вы получили на этом экзамене?» Не знаю, кто заложил профессора-востоковеда, Самарин или другой коллега, сейчас это уже не имеет значения.

Как давно это было! Нас было четверо, вернее, вначале нас было трое. Мы были компанией из трёх друзей, и когда летом сорок восьмого года один из членов этой компании, начинающий поэт по имени Сёма, исчез, мы остались вдвоём и думали, что и нас вот-вот арестуют. Мы приняли меры: приятель мой, тоже поэт, уничтожил творения своей музыки, впрочем, аполитичной; я помню, как мы ходили вечером по московским переулкам, рвали тетрадки со стихами и бросали в урны. Я утопил в уборной дневник, где говорилось о том, что в нашей стране фашистский режим. Но прошли недели, потом месяцы. О нас как будто забыли. Около этого времени мы познакомимся с ещё одним мальчиком, Севой Колесниковым, студентом Военного института иностранных языков. Он знал нашего сгинувшего товарища, был его закадычным другом с детских лет; память о Сёме сблизила нас.

Роман Франца Кафки «Процесс», вероятно, нигде не воспринимался так, как в России, где он кажется вполне реалистическим произведением. Есть что-то очень знакомое в рассказе о том, как некая секретная канцелярия затевает дело против человека, которые сперва об этом даже не подозревает. Содержание процесса не оглашается, суть его неизвестна. Да и неважно, в чём его суть, ибо, строго говоря, невиновных нет и на месте подследственного может оказаться любой и каждый. Вопрос лишь в очерёдности: даже такое могущественное учреждение, как разместившийся на чердаке огромного дома тайный суд, не может оформить сразу все дела. Но процесс идёт, бумаги движутся по инстанциям, визируются, подписываются, к ним подшивают новые; жертва живёт обыкновенной жизнью, а процесс идёт. Ни обвиняемый не видит чиновников, ни они его, для судей он просто папка, которую носят из кабинета в кабинет... Но сколько бы ни тянулась бумаж-

ная волокита, финал неизбежен. Последняя подпись, печать. Папка захлопывается. И тогда за осуждённым приходят палачи и увозят его из города.

История была до смешного проста: Сева посадил своего друга, теперь он был посажен к нам. Об этом можно было бы догадаться, будь мы немного старше.

4

Сева учился в закрытом учебном заведении, где на занятиях ходили в форме, а в другое время разрешалось носить штатское. Сева всегда являлся в костюме с иголки. Мы же ходили в отрепьях, на занятиях в университете я сидел в отцовской шинели, не решаясь раздеться. Сева был всегда при деньгах и щедро угощал нас. Он был весел, остроумен, неистощим на выдумки. Наша дружба крепла. Единственная странность в его поведении была та, что он никогда не приглашал к себе в гости. Он жил в красивом доме на улице Чехова. Однажды я зашёл за ним. Меня не позвали в комнаты, я стоял в прихожей; это была большая отдельная квартира — по тем временам неслыханная роскошь. Отец Севы был «сотрудником», о чём, разумеется, мы узнали много позже. Просто смешно, как всё было просто.

В ночь, когда я был доставлен в подвалы главного здания на площади Дзержинского, в боксе-отстойнике метра на полтора, уже наголо остриженный под машинку, без пуговиц, без шнурков, без брючного ремня, увидев на протянутой мне квитанции об изъятии личных вещей штамп Внутренней тюрьмы и поняв, наконец, где я нахожусь, я прислушивался к движению в коридоре и вдруг услышал, как вертухай спросил о чём-то вполголоса человека, которого только что привезли; тот ответил: «Да». Я чуть не рассмеялся, узнав голос моего товарища, меня охватила нелепая радость, и, чтобы дать знать о себе, я засвистал мотив дурацкой песни, ходившей у нас: «Или рыбку съесть...»

Итак, задача сводилась к тому, чтобы на последующих допросах не выдать Севу, последнего из нас, кто остался на воле. Но оказалось, что никаких особых стараний к тому, чтобы выгородить Севу и спасти его от ареста, не требуется. Следователь не интересовался Се-вой. Он даже не вспоминал о нём.

Тогда ещё меня поражало сочетание мрачной торжественности, гробовой тишины и тайны, царившей в этих учреждениях, с тоскливой прозой бюрократического бумагописания, с согбенной спиной следователя, закутанного в шинель (зимой в кабинете открывалось окно, чтобы подследственный мог основательно промерзнуть), который долгими часами уныло скрипел пером. Между тем канцелярия государственной безопасности не могла быть иной. Было бы неестественно, если бы там трудились люди, способные к разумной, мало-мальски осмысленной деятельности. Допрос начинался на исходе дня, когда эти люди приходили на службу, и мог продолжаться до утра, фактически же занимал считанные минуты; всё остальное время следователь, лейтенант Жулидов, человек хитрый и лживый, но малограмотный, трудился над сочинением протоколов.

Этот лейтенант Жулидов прекрасно знал наш факультет. Он поражал меня (и хвастался этим), называя всех моих знакомых. Но о ближайшем друге, постоянном участнике наших крамольных дискуссий, не обмолвился за всё время следствия ни единым словом.

Это было ошибкой: он выдал Севу. Нужно было быть уже совершенным идиотом, чтобы не догадаться в конце концов, кому был обязан своей осведомлённостью человек в зелёном мундире и золотых погонах, похожих на плавники, вероятно, бывший крестьянский сын, говоривший о себе так: «Мы, разведка». Существует (или существовала) 206 статья уголовно-процессуального кодекса, по которой арестованный, после того как закончится следствие, должен быть ознакомлен с содержанием дела. Органы соблюдали законность — так, как они её понимали. Другими словами, соблюдали законы, которые сами же придумали; закон, как известно, представлял собой в нашей стране систему правил, по которым надлежало творить беззаконие. Собственная полицейская юриспруденция наподобие собственной автономной электростанции. Задаёшь себе вопрос, зачем это им было нужно. Ведь судьба арестованного была решена задолго до ареста, и, принимая во внимание основную задачу — поставку рабочей силы для лагерей, — можно было без ущерба для дела похерить вместе с судом и всю долгую канитель мнимого следствия. Но тогда когорта следователей и этажи начальств остались бы без работы, и вообще это уже другая тема. Короче говоря, один раз в жизни мне довелось подержать в руках — правда, всего лишь на несколько минут — пухлую папку толщиной, если не ошибаюсь, в двести страниц.

Лет десять тому назад, когда либеральная общественность ещё интересовалась этими предметами, а органы пребывали в растерянности, журнал «Огонёк» опубликовал фрагменты следственного дела Исаака Бабеля. Самое впечатляющее в этом досье — его рутинность. Тот же стиль, тот же словарь, тот же соединение идиотической старательности с оглушительным невежеством, тот же ужасающий русский язык, которым написаны бумаги и в моём деле. И до смешного похожие обвинения. Но есть же разница, скажете вы, между желторотым студентом и знаменитым писателем. В том-то и дело, что никакой разницы не было. И времени для этих тупиц как будто не существовало. Шли годы и десятилетия, контора меняла свои вывески, Ягodu сменил Ежов, Ежова сверг Берия, прогремела война, ушли в забвение фантастические процессы. А равномерно постукивающий, шелестящий трансмиссиями, перемальвающий кости и судьбы механизм так и постукивал; ничего не изменилось, разве только стало яснее, что вместо того, чтобы просто, выстрелом в затылок убивать в подвалах, целесообразней отправлять людей в лагерь, потому что без лагерей и дарового лагерного труда не только не доберёшься до светлых вершин, но и социализма не построишь. Годы шли, а порядок работы оставался прежним, и моё вполне заурядное дело поразительным, неправдоподобным образом напоминало дело Бабеля. Кто же стучал на Бабеля?

5

Выйдя из-за стола, над которым висел портрет Железного Феликса, следователь пересёк кабинет и положил на крошечный столик в противоположном углу, где полагалось сидеть из соображений безопасности арестанту, папку с делом. Он стоял рядом, поглядывая на часы. Это и называлось — двести шестая статья.

Долго читать не было времени, главное, я должен был расписаться в том, что «с делом ознакомлен», хотя опять же — кому и зачем нужна была эта подпись? Кое-что, впрочем, удалось увидеть.

Дело было оформлено так. После всяких мелких бумажек, постановления об аресте и проч. шли свидетельские показания. Очевидно, что там, где ликвидирован судебная процедура, лишается смысла и понятие свидетельства. Но порядок есть порядок. Под показаниями стояли подписи двух студентов, учившихся вместе со мной на классическом отделении филологического факультета. Это

были одна девушка и один парень, бывший фронтовик. Показания были получены в глубокой тайне за десять дней до ареста. Показания были сравнительно безобидны: например, говорилось, что я клеветал на советские профсоюзы. Кроме того, где-то в середине папки мне попалось заявление одной студентки, сообщавшей, что я — еврейский националист. Свидетели были моими друзьями, а студентка, написавшая заявление, — одноклассницей моей сестры. Пожалуй, она была единственной, кто действовал не только из страха, но и по убеждению; она была истой комсомолкой и общественницей. То было время знаменитой кампании борьбы с космополитизмом, государственный антисемитизм польхал на страницах газет. Врага следовало обрядить в модную одежду.

Можно предположить, что у обоих свидетелей был биографический изъян, которым воспользовались для угроз: девушка была еврейкой или полуеврейкой и, судя по всему, происходила из неблагополучной семьи; парень носил немецкую фамилию, имел немецкое отчество, хотя говорил, что его отец эстонец. Дальнейшая судьба свидетельницы была горестной, она неудачно вышла замуж, потеряла ребёнка и скончалась психически больной. Бывший фронтовик стал заведующим кафедрой латинского языка в медицинском институте.

Могли ли эти свидетели что-нибудь сделать, допустим, предупредить тех, на кого они показывали, что им грозит арест? Но им скорее всего разъяснили, что «следствию всё известно» и если они не хотят помочь разоблачению врагов народа, значит, они их пособники. С них взяли подписку о «неразглашении». Свидетелями правил страх. Они могли маскировать его перед самим собой, сказав себе: кто его знает, может, дело куда серьёзнее, чем мы думаем; органам виднее. В конце концов, нет дыма без огня. Они могли сказать себе: что изменится от этих показаний? А если я откажусь, меня арестуют. И что изменится, если я их предупрежу? Предупреждай, не предупреждай, эти двое всё равно пропали.

Нечего и говорить о том, что «свидетельские показания» в этих делах — не более чем декорация. Истинным сырьём для этой промышленности служит то, что ещё в прошлом веке (не будем забывать о том, что наше отечество — страна со старыми и прочными традициями политического сыска) получило название агентурных сведений. Эти сведения, собственно, и предопределяют всё дальнейшее. Краеугольный камень дознания — донос. Но имена прово-

каторгов не подлежат оглашению даже в таком сугубо секретном документе, как следственное дело. Доносы в дело не подшиваются. Они — принадлежность другого досье, так называемого оперативного дела, 206-я статья на него не распространяется. Не может быть и намёка на существование оперативных дел. О них ничего не говорилось даже в самых смелых публикациях начала 90-х годов. То, что удалось частично разоблачить, что показывали журналистам и родственникам погибших, — были только следственные дела. Вот почему никто так и не узнал, кто погубил Бабея.

Словом, имя Всеволода Колесникова в моём деле отсутствовало. Севы как бы вовсе не существовало, и предполагалось, что я вёл антисоветские разговоры и клеветал на «одного из руководителей Советского государства» не с Севой и не в его присутствии, а с кем-то другим или с самим собою. «Следствию стало известно, что...». Предполагалось, что, избличённый, я в своих преступлениях сознался сам.

Дела давно минувших дней. Что стало с Колесниковым? Окончив институт, он был направлен для важной секретной работы за границу. Должно быть, теперь он уже генерал. Вероятно, на почётной пенсии. Может быть, тоже проводит каникулы в Южном Тироле. Прочтёт ли он когда-нибудь эту статью? Едва ли.

ПОДВИГ ИСКАРИОТА

Из цикла «Письма из Старого Света»

Дорогая! В который раз я убеждаюсь, насколько приятнее философствовать о литературе, чем писать самому; но, должно быть, вы уже сыты моими рассуждениями. Расскажу вам лучше историю из жизни.

Дело было давно, больше тридцати лет назад, в прекраснейшую пору, какая только бывает в Северо-Западной России: леса начали желтеть, густо-синее небо, восхитительная тишина простёрлись над всем краем. И настроение, в котором я пребывал, только что приступив к исполнению служебных обязанностей, было, можно сказать, образцовым, таким, какое подобает новоиспечённому врачу. Я был полон рвения и энтузиазма. Прошлое было похерено, здесь никто не интересовался моим паспортом и анкетой, в этом медвежьем углу не существовало ни милиции, ни отдела кадров. Здесь я сам был начальством, я лечил больных, отдавал распоряжения медсёстрам и завхозу; председатель колхоза, исцелённый мною, прислал рабочих, которые ставили столбы и тянули к больнице провода от районной электросети.

В старом армейском фургоне с красными крестами на стёклах я колесил по лесным просёлкам, по ухабистым дорогам моего участка размером с небольшое феодальное княжество. Выслушивал рассказы шофёра, который воевал в Германии и сделался своеобразным патриотом этой страны: по его словам, нигде не было таких замечательных дорог. В деревнях женщины выбегали навстречу, со мной подобострастно здоровались. Меня угощали салом и самогоном. Никому не могло придти в голову, что ещё недавно вместо накрахмаленного халата я таскал лагерный бушлат.

По ночам я слышал бряканье колокольчика, под окном паслась стреноженная лошадь. Над елями стояла луна. Как вдруг всё переменялось, полил дождь. С клеёнки, которую придерживала над собой постукавшая в дверь молоденькая сестра, текла вода. Во тьме,

прыгая через лужи, мы пересекли больничный двор, вошли в комнату с оцинкованной ванной, служившую приёмным покоем, навстречу поднялся человек в сапогах и брезентовом армяке, это был муж. На топчане, в тёплом платке, из-под которого виднелась косынка, лежала женщина, в забытьи, без пульса, с синевато-острыми чертами лица, описанными две тысячи четыреста лет тому назад отцом медицины. Был второй час ночи.

В человеческом теле содержится шесть или семь литров крови, и удивляться приходится не тому, что это количество так невелико, а тому, что его может хватить надолго. Больную везли в телеге несколько часов. За несколько минут, пока мы её раздели и внесли в операционную, натекла лужа крови. Облив руки спиртом, мысленно призывая на помощь моих учителей, я уселся на круглый табурет между ногами пациентки, сестра придвинула столик с инструментами и керосиновой лампой. Санитарка держала вторую лампу. Но мне было темно. Побежали за шофёром, в потоках дождя он подогнал к окну урчащую колыхагу, и сияние фар залило белые колпаки женщин, забрызганное кровью покрывало и физиономию хирурга с кюреткой в правой руке и щипцами Мюзо в правой. Кровотечение прекратилось, но давление отсутствовало, тоны сердца не прослушивались. Всё ещё живой труп был перенесён в палату.

Тот, кто жил в глубинке, на дне нашего отечества, может оценить благоденствие и проклятие телефонной связи. Телефония подобна загробному царству или пространству коллективного сознания. Сидя в ординаторской с прижатой к уху эбонитовой раковиной, я выкрикивал своё имя и в ответ слышал шум океана. С дальнего берега едва различимый голос спросил, в чём дело. Я заорал, что мне нужна кровь. Прошло полвечности, голос вынырнул из тьмы и сообщил, что автомобиль выезжает. Фургон с немецким патриотом выехал навстречу, две машины должны были встретиться на половине пути. Дождь не унимался. Перед рассветом кровь, драгоценные ампулы для переливания были доставлены.

Пульс восстановился. Женщины наделены феноменальной живучестью. Она спала. Отчаянно зевая, я выбрался на свет Божий. Моросило. Муж стоял у крыльца возле своей лошади, накрытой брезентом, я позвал его и спросил: кто это сделал? Он выпучил на меня глаза и затряс головой: «Никто, она сама».

Первые эпизоды самостоятельной практики на всю жизнь остаются в памяти, но если я вспоминаю этот случай, не такой уж экс-

траординарный, то не ради медицинских подробностей. Я учинил следствие. Больная смотрела на меня с испугом. Для неё я тоже был начальством, с которым надо держать ухо востро. В конце концов я дознался: аборт сделала некая «баушка», жительница соседней деревни, по методу, известному с прадедовских времён: вязальной спицей. За свои услуги ковырялка потребовала пятьдесят рублей. После этого я уселся в закутке, который назывался моим кабинетом, и начертил донос.

Кажется, до сих пор никто не занялся изучением статистики и типологии доносительства, а ведь тема, согласитесь, для нашего времени весьма актуальная. Существо доноса не меняется от его содержания и жанра; впрочем, этих жанров, как и любых форм и жанров словесного творчества, вообще говоря, не так много. Можно составить научную классификацию доносов, разделив их на политические, литературные, бытовые, доносы на вышестоящее начальство и доносы на подчинённых, доносы детей на родителей, учеников на своих наставников, супругов друг на друга и, наконец, доносы на сочинителей доносов.

Ученик Иисуса, тот, кто, говоря современным языком, настучал на Учителя, был, как рассказывают, настолько истерзан угрызениями совести, что в отчаянии швырнул тридцать денариев, немалую для того времени сумму, подкупившим его, пошёл и удавился. В этой истории важно упоминание о гонораре. Корыстное доносительство, будучи ничем не лучше идейного, всё же выглядит более постыдным.

Тема, как уже сказано, животрепещущая, не менее актуальная, чем в Римской империи I века, когда, как говорит Тацит, плата доносчикам равнялась их преступлениям. Мы с вами, дорогая, жили не в Риме. Мы жили в другой стране. В стране, где ни одно учреждение, ни один трудовой коллектив и никакая дружеская компания не обходились без тайного осведомителя. Можно предположить, что количество доносчиков в этой стране было во всяком случае не меньше количества заключённых. Представим себе (это уже, конечно, поэтическая фантазия) общее кладбище обитателей лагерей, площадью с автономную республику, что, впрочем, не так уж много по сравнению с размерами нашего государства. На каждом камне можно было бы вырезать рядом с именами усопших имя стукача. Или представим себе, какая доля государственного

бюджета приходится на выплату пенсий бывшим резидентам-оперуполномоченным и их начальству. Но возвратимся к нашей теме; что за мания вечно отвлекаться!

Упомянутую классификацию следует дополнить перечнем мотивов, которыми руководствуется доносчик. Очевидно, что к двум перечисленным — *убеждение и деньги* — нужно добавить по крайней мере ещё один: *страх*. Особый случай — доносительство *из любви к искусству*, мы оставим его в стороне. Я думаю, что типичный осведомитель советских времён, кем бы он ни был: предателем во имя коммунистических идеалов или просто продажной шкурой, стукачом-карьеристом или обыкновенным сексотом на зарплате, мелкой сошкой, рядовым тружеником, запуганным сыном врага народа или крупным осетром, полутрамотным пролетарием или бородастым писателем в кольчужном свитере а ля Хемингуэй, с трубкой в зубах, профессором в академической ермолке или церковным иерархом, — кем бы он ни был, — в большей или меньшей степени оказывался добычей всеобщего страха. В этом отношении он ничем не отличался от доносчиков эпохи римского принципата. Страх водил пером потомков Искарриота, страх был общим знаменателем всех мотивов предательства: идейности, патриотизма, карьеризма, зависти, ревности. Думаете ли вы, что времена эти прошли бесследно, не оставив в душах людей отложений наподобие тех, которые сужают кровеносные сосуды?

Мы вернулись к медицине; на чём, стало быть, я остановился?.. Существует ирония судьбы в истории народов и в жизни отдельного человека, и состоит она в том, что всё повторяется. У кого не было врагов, того губили друзья, замечает Тацит. Тем, что я когда-то провалился в люк, я был обязан загадочному другу студенческих лет. Теперь я сам постиг сладость доноса.

Разумеется, я докладывал — или «ставил в известность», как тогда выражались; заметьте, какая большая разница между этими выражениями: докладывать — акт формальный, между тем как ставить в известность значит действовать не по долгу службы, а по велению души. Докладывал, стало быть, о случае криминального аборта у многодетной женщины, едва не окончившегося смертью, доносил на невежественную, корыстную абортмахершу, у которой, как выяснилось, существовала в округе довольно многочисленная клиентура. Письмо предназначалось не для конторы, ведавшей доносами и доносчиками, но было всего лишь адресовано в районное

отделение милиции. Тоже, впрочем, достаточно одиозный адресат. Незачем говорить и о том, что не страх руководил автором письма, причём тут страх?

А что же тогда руководило? Благородное негодование? Злость и горечь? Психология доноительства — многогранная тема. В числе мотивов я не упомянул сладость мести, вдобавок безопасной. Тот не ведал наслаждения, кто её не испытал. Это было, как если бы никем не видимый я врезал кому-то там *между рог* (простите это полу-блатное речение), не боясь, что мне ответят тем же. Что стало с «баушкой», я не знаю. Кажется, её отпустили.

Дела давно минувших дней... Спокойной ночи, дорогая.

Мюнхен, 17 июня 2000

ЗАБВЕНИЕ ПЕСКА

Пролог романа в новеллах «Взгляни на иероглиф» (2011)

*Zwischen
deinen Augenbrauen
steht deine Herkunft
eine Chiffre
aus der Vergessenheit des Sandes.*

Nelly Sachs¹

(1)

Наклонись над струйкой, следи за тем, как вода вырывается из-под камня, скользит и вьётся, и вливается в озерцо. И, успокоившись, течёт между травами и корнями деревьев, по песчаному руслу. Проводи её глазами, покуда она не исчезнет из виду. Сколько времени понадобилось воде, чтобы пробиться сквозь толщу земли, отыскать трещину в окаменелостях далёкого прошлого, растворить в себе соль веков. Подумай о том, что твоя жизнь, единственная, замкнутая в себе, на самом деле только пробег ручейка от порога к другому порогу: не правда ли, мы не догадывались, что в нас продолжается подземный ток, что ты сам — бегущая вода. Из тёмных недр прорывается безмолвие голосов, так бывает во сне, так даёт о себе знать череда предков, ты понятия не имеешь о них. А между тем ты их продолжение. Ты весь составлен из подробностей, накопленных ими, ты их совокупный портрет. Ты сбрываешь рыжую, уже поседевшую щетину на щеках — её оставил тебе в наследство пращур, современник царя Давида, а ему — патриарх Иаков, тот, кто поцеловал у колодца смуглую девочку с тёмными сосками, с лоном, как ночь, и с тех пор чёрная и рыжая масть спорили в поколениях твоих предков. Ты вперяешься в молочный экран и раздумываешь над

¹ Между / твоими бровями / твоё родословие / шифром / из песчаного забвения. (Нелли Закс, пер. В.Микушевича.)

каждой фразой, лелеешь и пестуешь язык, это потому, что твой согбенный прадед весь век вперялся в зеркальные строки квадратных букв с заусеницами и обожествовал алфавит. Ты лежишь на пороге своего дома в Вормсе, в годину чумы, с проломленным черепом — тебя обвинили в распространении заразы. О тебе в Кишинёве сказал поэт: встань и пройди по городу резни, и тронь своей рукой присохший на стволах и камнях, и заборах остывший мозг и кровь комками; то — они. Их уличили в том, что они — это они, а не кто-нибудь другой. Ты в очереди перед газовой камерой, и рядом стоит твой соплеменник, босой пророк из Галилеи, царь иудейский, чтобы вместе со своей верой, которую он возвестил в Иерусалиме, со всеми вами вдохнуть циклон Б и сгореть в печах. Потому что заодно с теми, кого изгоняли и убивали из века в век за несогласие признать Иисуса Христа богом и, наконец, сожгли в печах, сгорело и христианство. Да, мы древний народ, мы поплавок, качающийся на поверхности взбаламученных вод, там, где на страшной глубине, занесённые илом, лежат целые цивилизации. И вот теперь ты остановился, тайный двойник, соглядатай, в зелёном лесу, и не можешь оторвать взгляд от родника — что стоит копнуть лопатой и засыпать его землёй!

(2)

Я никогда не видел моего голубоглазого, рыжебородого деда, он умер, не дожив до пятидесяти лет, задолго до моего рождения. Он был ремесленник, бедняк, обременённый многодетной семьёй, считался знатоком Торы и Талмуда. От него не осталось портретов, не осталось ничего. От него остался я.

Я почти ничего не знаю о своих предках с материнской стороны, но помню мою мать, молодую женщину, умершую, когда мне было шесть лет; она была выпускницей Петроградской консерватории, пианисткой и художницей.

Я думаю, что во мне сказалось двойное наследство — противостояние слова и музыки.

Привязанность к Слову, к листу бумаги, к начертанию букв: я ощутил её чуть ли не с раннего детства, она передалась от деда и через него — от бесконечной череды согбенных книжников. А мою любовь к музыке, жизнь в музыке я получил от матери.

Я стал писателем, потому что Слово для меня — воплощение логики, ясности и дисциплины, но эти начала сталкиваются и сли-

ваются с тем, что не поддаётся переводу на язык слов, — с музыкой. Проза есть царство разума, но его размывают волны музыки, как ночь размывает день. Оттого чистота и логическая упорядоченность прозы смешалась в моих писаниях с фантастикой, с хаосом, с искривлёнными зеркалами, с безответственным отношением к времени, с мертвящим, как взгляд василиска, неверием в благость Творца и сомнением в разумном мироустройстве.

(3)

Отчего я не возвращаюсь — как возвращаются в родные места на закате жизни? Перипатетики философствовали, гуляя в саду перед храмом ликейского Аполлона. Существует новая философия прогулок: по прямоугольнику каменного двора, парами, руки назад, не останавливаясь, не замедляя шаг. Существует философия мёртвых коридоров, гремучих ключей, цокающих сапог и прогулочных дворов высоко на крыше главного здания Государственной безопасности в Москве...

Отчего я не возвращаюсь... Можно привести дюжину доводов, нужны ли они? Там негде и не на что жить. Государство ограбило нас дочиста. Всё, что я сделал, все следы моего пребывания в России выскоблены. Я лишён пенсии, хотя работал всю жизнь. Моя жена лежит на мюнхенском кладбище. Куда я от неё поеду?

Меня в Москве может остановить на улице любой милиционер. Моё пухлое дело хранится в архивах тайной полиции и, может быть, ждёт своего часа. Скажут: времена изменились. Но кровавая гадина жива. Они, возразят мне, теперь этим не занимаются. Но я отравленный человек.

Ты русский писатель; не спорю. Писатель должен дышать воздухом реальной жизни. Какой жизни? Дышать воздухом российской действительности. Что такое действительность?

Есть реальность памяти, она могущественней минутных впечатлений, всего хаоса, что наваливается на гостя. Новая жизнь осыпается на другой же день, как мгновенно пожухнувшая листва. Ибо память не терпит поправок. Есть действительности души, только она по-настоящему реальна.

Толкуют о читателе. Но у меня нет или почти нет читателей в России. Мой русский язык непонятен. «Ни одного человека вокруг, — жалуется изгнанник Овидий, — кто сказал бы словечко по-

латыни!». Мой язык — латынь. И уже не здесь, а на родине я был бы эмигрантом. Я русский писатель, но я не национальный писатель. Где я, там русская культура, да-с; но это не культура сегодняшней России.

(4)

Одному человеку приснился сон, чей-то голос сказал ему: поезжай в Прагу, увидишь там большую реку и мост, под мостом лежит сокровище. Человек продал имущество, долго ехал, приехал, но оказалось, что мост охраняется. Каждый день он приходил, садился и смотрел на мост, постепенно к нему привыкли, он познакомился с начальником стражи. Однажды начальник сказал: этой ночью я видел сон. Голос рассказывал о деревне, будто бы там стоит заброшенный дом, в подвале спрятано сокровище, и никто об этом не знает. Вот я и думаю, сказал начальник, не рвануть ли мне туда. А где это находится, спросил приезжий, и понял, что речь идёт о его деревне. Боясь, что его опередят, спешно отправился в обратный путь, на последние деньги добрался до места, оторвал доски, которыми крест-накрест была заколочена дверь его избы, спустился в подпол и нашёл сокровище.

(5)

Одному человеку приснился сон. Голос прошептал: бросай всё, поезжай в Прагу, там под мостом через Влтаву найдёшь сокровище. Он поехал, увидел мост, но дорогу ему преградила вооружённая стража. Он остался в городе, каждый день сидел у моста, сперва на него смотрели с подозрением, потом привыкли. Он познакомился с начальником стражи. Тот ему рассказал свой сон: будто бы где-то есть деревня, там стоит заколоченный дом, а в подвале лежит сокровище. Надо бы туда съездить, проговорил начальник, да нехорошо службу бросать. Крестьянин понял, о какой деревне идёт речь, вернул, стал искать свой дом, но никакого дома уже не было.

ВЧЕРАШНЯЯ ВЕЧНОСТЬ

(замечания о романе)

...Он дался мне нелегко, всё время вызывал большие сомнения. Даже если бы эти сомнения окончательно сломили меня, оставался бы один выход — прекратить работу, засунуть рукописи куда-нибудь подальше; поправлять роман было бы невозможно, писать заново я не в состоянии. Что есть, то есть.

С первой же страницы повествователь именует себя «писателем» (хотя вначале ему, по-видимому, 6-7 лет), время от времени обращается к самому себе на «ты», потом снова «он». Я пытался объяснить эту несурязицу в постскриптуме к роману, но написал об этом невнятно. Возможно, следовало бы от этого послесловия вовсе отказаться.

Дело в том, что этот роман — отнюдь не автобиография (или фрагменты автобиографии). Это — произведение некоего самостоятельного сочинителя, который является главным персонажем своего сочинения, и это сочинение — перед нами. Оно не то чтобы готовый роман, но пишется как бы на наших глазах. Мне показалось не столько интересным, сколько необходимым организовать весь роман по принципу двойного (или даже тройного) зрения: жизнь, переживаемая заново, которая тут же и описывается, и обдумывается, а заодно и обдумывается, как это надо сделать. Что, конечно, усложняет чтение. Это жизнь в высшей степени неудачная — в сущности, история жизненной катастрофы, — и катастрофа эта запрограммирована, отчего и возникает впечатление, что повествование, как пишет М., «всё откровенней нанизывается на заданную, заранее сформулированную идею». Это верно, потому что по условиям рассказа крах — творческий и жизненный — неизбежен. Он, действительно, предвиден. Вопрос, что именно предопределило этот крах или, проще, кто виноват: «эпоха», страшная история страны или сам этот человек, слабыхарактерный, слабовольный, вечно неуверенный в себе, типичный Versager, вообразивший себя писателем, а

на самом деле литературно несостоятельный графоман — а может быть, всё вместе, — вопрос этот остаётся открытым, я не хотел и не мог однозначно на него ответить.

В самом деле, если исходить из того, что прототипом этого сомнительного героя является сам автор, то вся история покажется неубедительной, искусственной конструкцией, чем-то вроде плаксивой исповеди человека, которому нравится называть себя жертвой, который жаждет сочувствия, хочет, чтобы ему утёрли крокодиловые слёзы.

Описывая свою жизнь, этот персонаж не может удержаться и от того, чтобы не вообразить и не проиграть возможные (или невозможные) варианты своей судьбы, Поэтому роман уснащён явно неправдоподобными эпизодами, М. называет их «видениями» — пожалуйста, я бы предложил другое толкование. Всё это — и ночной приезд купца, который хочет выкупить у бывшей титулованной дворянки некогда принадлежавший ей дом, и феерическая поездка в несуществующее Дворянское собрание, и царская похоронная процессия, и далее подобные же, очевидные нелепости — всё это гипотетические варианты собственной жизни или жизни окружающих.

Мальчик уезжает куда-то поздним вечером с полусумасшедшей старухой, и родители никак на это не реагируют — как это может быть? Моё толкование (одно из возможных): данный сюжетный вариант существует в мозгу писателя и для того ребёнка, каким он был когда-то. Для родителей такой ход просто невозможен, у них всё происходит в нормальном обыденном мире.

То же относится к неожиданному визиту Анны Яковлевны в инвалидной коляске, которую везёт доктор. Умершая старуха, как и покончивший с собой много лет назад доктор Каценеленбоген, — не призраки и не сновидение, а некий прыжок в сторону, не осуществившийся ход (допустим, что она жива, разыскала воспитанника — что бы она сказала?).

И, наконец, то же касается истории. Повествователь постоянно думает об истории страны, не может отделить себя от истории, хоть и пытается то и дело, чуть ли не с детских лет, сбежать от истории (его «побеги»). Он чувствует, что попал под колёса. Во всяком случае, понимает, что война, победа, диктатура, лагерная система — это центральные события века, которые одновременно являются и решающими этапами его собственного существования. И возникает желание переиграть историю, как переигрывают шахматную пар-

тию, другими словами, представить себе альтернативные пути. Например: немцы заняли Москву, и майор вермахта посещает старуху Тарнкаппе. Или: Вернике пытается бежать из гибнущего Берлина, с ним рядом оказывается Мартин Борман, происходит ночной разговор, Борман знал, оказывается, о заговоре 20 июля, но националсоциалистическая идея бессмертна, будущее «за нами», ради этого Германия принесла себя в жертву и пр. Всё это, разумеется, бредятина, ничто из того, что известно о Бормане и его конце, этого никак не подтверждает. (Я читал дневник Бормана, его хотели когда-то опубликовать в «Военно-историческом журнале», был подготовлен русский перевод, текст набран, но не напечатан. Дневник сугобо деловой — такого-то числа состоялось такое-то совещание, — безличный, никаких собственных высказываний. Окончательное подтверждение, что он-таки в самом деле погиб в Берлине в последние дни войны, было получено, как известно, в 70-х гг.). Или: Сталин околел, но на самом деле это был не Сталин, а Геловани. И так далее. Проигрываются фантастические варианты истории, как и нереальные ответвления собственной жизни, которые входят в роман на равных правах с действительностью, какой она оказалась in re.

Может быть, это символический приём, попытки на свой салтык осмыслить реальную действительность. И затем полумысли, полугрёзы на тему о том, насколько вообще «действительна» действительность для пишущего роман о себе и о времени.

То, что моя книга подчинена некоторой общей идее, самоочевидно, — я и не спорю. Роман упадочный — и это тоже бесспорно. Вдобавок откровенно нереалистический. Конечно, некоторую внутреннюю логику нужно было соблюсти. «Писатель» послал свою рукопись известному литературному критику-приспособленцу, — на дворе оттепель, есть ещё какие-то иллюзии насчёт качества своего изделия, смутная надежда опубликовать роман. Если он посещает компанию патриотов, сидит за столом у академика, который немного похож на старого осла Шафаревича, покорно выслушивает всю эту галиматью — то почему бы и не придти? Олег Двугривенный говорил о проекте журнала. Новый национализм — положим, он стар и заношен, а всё же это веяние времени. Надо их, по крайней мере, выслушать; а вдруг они в чём-то правы? Так думает, может быть, этот бедолага, но протестует желудок — то ли от непривычно роскошной жратвы, то ли от услышанного. Протестует лагерное прошлое — в виде очередного рецидива хронической дизентерии. Бла-

гоустроенный сортир в квартире академика напоминает лагерные нужники, а может быть, и уборную в коммунальной квартире, где принял яд доктор Каценеленбоген.

Я упомянул об общей идее. Её не могло не быть в романе такого сорта. Другое дело, что идея упадочная. Но тут уж (как говорил Стравинский в ответ на упрёк, что его музыка «больна») вините больную эпоху. Крушение веры в исторический разум отнюдь не новость. Вместо Божьего промысла, благой воли Творца, вместо грандиозного самоосуществления гегелевской абсолютной Идеи, вместо иудейской стрелы — истории, которая несётся сквозь тьму к Царству Божьему на земле, — абсурд. Такова на самом деле история. Всё это в романе как бы подразумевается, сквозит; повествователь, по-видимому, приходит к чему-то похожему на эту идею. «Сетовать на историю, — пишет М., — лучше персонажу, чем автору». Я думал, что именно он, этот персонаж, поступает так; об этом есть и в тексте; автора же, то есть меня самого, в романе нет. Но у того, другого, который упорно называет себя писателем (хотя порой сам предваряя это замечание, тяготеет таким самоназванием, см. главу XXXVI, стр.199), осталась единственная надежда: литература — вот он, свет в окошке. Литература преодолевает абсурд, упорядочивает мою жизнь и вносит в неё смысл. Литература превращает прошлое в вечность и этим самым возвращает истории утраченный смысл. Но и это оказывается иллюзией. «Писатель» пытается покончить с собой (снова — неудачно) не оттого, что масса боготворит Элвиса Пресли, этот Пресли — просто случайно подвернувшийся пример, один из символов гнусной эпохи. И то, что повествователя избili бандюги, — всего лишь последняя капля.

Конечно, я не ответил на все возражения М. Тем более, что они мне вовсе не кажутся несправедливыми. Вдобавок роман может восприниматься по-разному, это даже утешает. Не в этом дело. Что совершенно очевидно, так это то, что и на сей раз «фрагменты XX столетия» на синтетический роман не тянут. Куда уж там! Некоторые эпизоды и ситуации собственной своей жизни я по разным поводам так или иначе обсасывал. Но свести их на уровень высшего обобщения, соединить, создать синтетическое видение эпохи — тут, действительно, можно говорить о писательской несостоятельности, если угодно — о крахе моей литературы, как бы ни обставлять его всякими оправданиями, ссылками на объективную невозможность,

смерть «метанарраций», на то, на сё, — наподобие неудавшейся, будто бы заведомо обречённой попытки построения Общей теории поля. Да и поздно уже

...Не знаю, право, стоит ли снова возвращаться к моему злополучному роману. В конце концов замечания М. сводятся к заключению: если с первой половиной книги ещё можно худо-бедно примириться, то последующие главы — послесоветское время — свидетельствуют о том, что автор не знает этого времени, с новой Россией не знаком, рисует её однобоко, предвзято и в конечном счёте неверно. «Вас здесь не стояло». Я против этого возражать не могу.

Мотивы поведения «героя»... Почему (спрашивает М.) даже после зарубежного успеха такой писатель (интеллигентный москвич, не провинциал) не встретил в Москве ни одного достойного, осведомленного, понимающего собеседника, почему не захотел уезжать, почему остался даже в новых условиях не напечатанным? Попробуем возразить. Никакого зарубежного успеха нет, просто парижское издательство, на волне интереса к переменам в СССР, решило заняться неизвестным автором, что-то такое написавшим, а что из этого получится, неизвестно. Почему писатель не встретил в Москве родственную душу, понимающего собеседника, — это, я думаю, можно понять, принимая во внимание его характер, который должен был более или менее проявиться из предыдущих частей романа, его непреодолимое одиночество, подозрительность, скрытность, неуверенность в себе, отсутствие друзей, его, если угодно, аутизм. Почему не уехал — потому же, почему не уехали многие, которым, казалось, больше нечего было делать в России. Почему не напечатался? Да потому, что это было, в особенности для неизвестного человека, совсем не так просто, как это сейчас кажется. Да и сам роман увяз в бесконечном переписывании.

И, наконец, — поверх всех возражений и попыток оправдываться, — если он в самом деле настоящий художник, его судьба не может не быть трагичной.

Чьей волей запрограммирована судьба героя? Судьба (одного корня со словами суждение и суд) действующих лиц предрешена — ею правит автор. Он творит суд. Так вырисовывается теологическая модель прозы. Но нужно сделать вид, что Бога нет. Другими словами, Бог должен был бы каким-то образом увязать предопределение, с одной стороны, со свободой воли человека, а с другой — со случайностью, игрой непредвиденных обстоятельств. Двойная дилемма, которая стоит перед художником.

ЭЛИЗИУМ ТЕНЕЙ

ЭЛИЗИУМ ТЕНЕЙ

*Душа моя, Элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни помыслам години буйной сей,
Ни радостям, ни горю не причастных, —*

*Душа моя, Элизиум теней,
Что общего меж жизнью и тобою!
Меж вами, призраки минувших, лучших дней,
И сей бесчувственной толпою?..*

Тютчев

Душа моя — Элизиум теней... Непонятно было, вспомнил ли я сам или чей-то голос произнёс эту строчку у меня над ухом. Говорили как будто на неизвестном языке, но отчётливо, так что я мог разобрать каждое слово, — и уже ничего не понимал. Догадавшись, что мне доверяли некую тайну, я вскочил с постели — на часах была полночь. Дружеская рука хлопала меня по плечу и повела за собой. Я спросил: Кто ты? Это я, был ответ, не пугайся. Я оставил в спальне всё как было: неубранную постель, непотушенную лампу. Вергилий (если это был он) вёл меня по дальним коридорам и закоулкам воображения. Следом за вожатым я протискивался в толпе. Повелительным жестом он требовал уступить дорогу именитому гостю. Кто такой этот гость, по-видимому, никому не было известно, никто меня не узнавал, не оборачивался. Молча расступались, скользили мимо нас бесплотные тени. Мне хотелось крикнуть: зачем вы притворяетесь, будто мы незнакомы? Вместо слов из моей груди выдавился хриплый задущенный шепот. Вожатый крепко держал меня за руку. Я старался вырваться. Остановись, говорил он, и умолкни, тебя тут всё равно никто не услышит. Незачем пытаться вступить с ними в разговор: ты истратил все слова.

Я почувствовал, что не в силах больше оставаться в этом доме молчания, неужели, подумал я, это и есть потусторонний

мир, моё будущее жильё? Нынешнее! — поправил вожатый. — Ты построил его для себя самого. И населил его своими созданиями.

Моими? Но ведь это тени.

Твои дети. Полно отпираться, поздно отказываться. Персонажи твоих собственными сочинений. Ты мнил себя творцом. Тени не бывают живыми. Тени не бывают нагими. Оттого-то мы и оказались с тобой в этом доме мёртвых. Ведь ты сам — тень.

А теперь, сказал он, пошли. Я провожу тебя

И я увидел мою спальню, и брошенную в беспорядке постель, и часы с неподвижными стрелками, и всё ещё горящую лампу. И повалился досматривать сон.

ALMA MATER

*Памяти И.А., Я. М.
и непогрёбённого будущего*

1. Манеж

Из двух зданий университета, пять лет спустя после пожара Москвы воздвигнутых градостроительным гением Доменико, иначе Дементия Ивановича, Жилярди, главное, называемое Новым, вышло покоем на Моховую, Манеж и часть Манежной площади с решёткой Александровского сада. В сад входили через чугунные ворота, украшенные древнеримскими фасциями, эмблемой итальянского фашизма, от ворот широкая аллея вела к обелиску с именами полузабытых революционеров и пророков коммунизма. Снаружи, вдоль крепостной стены, перед похожими на ласточкины хвосты кирпичными зубцами и узкими, как щели, амбразурами расхаживал часовой. За стеной жил диктатор. Вечерами, на исходе сороковых годов, над всем этим великолепием сияло багровое созвездие Кремля. Цвет и сверкание башенных светил напоминали карамельных петушков на палочках нашего детства.

Вокруг Манежа, вдоль по Моховой и мимо ограды университета были вырыты ямы, подъезжали грузовики с ящиками, где покачивались в земле тоненькие 15-летние липы, привезённые издалека. Рабочие выгружали и опускали ящики в ямы, вынимали доски, поверх каждого саженца укладывалась по частям железная решётка.

К Новому зданию направлялись, обходя полукругом монумент Отца русской науки, чьим именем университет был освящён лет десять тому назад. Лунноликий кумир с сардельками парика на висках, в камзоле и коротких штанах стоял, опираясь на глобус, и держал в другой руке подзорную трубу, которую неосторожный ваятель поместил так неудачно, что при взгляде со стороны под определённым углом она походила на восставший детородный член.

Отсюда по ступеням крыльца, через вестибюль, мимо начальственной сторожихи — вперёд, и вот уже глазам посетителя предстаёт парадная лестница, и два ряда якобы мраморных колонн, наверху розовато-морковных, внизу серых, как ливерная колбаса. Вполне реалистическое сравнение, порождённое голодным воображением студента послевоенной поры.

Это была пора юности мятежной, время необыкновенных надежд, нищеты, незрелой молодости, мечтаний о любви и какого-то нескончаемого самоупоения. Каждый из нас был гений. Университет распахнул перед нами двери. Будущее на пороге. Рискну утверждать, что похожим было настроение всего молодого поколения тех лет, да и не только молодого. Ждали, что после войны наступит новое время и новая жизнь; военные годы отдели прочь марксистско-ленинское вероучение; злодеяния Большого террора были забыты; в деревнях ходили слухи об отмене колхозов; никому, кажется, не приходило в голову, что в числе виновников войны, отступления первых месяцев и гибели миллионов людей на первое место нужно поставить гениального вождя и величайшего полководца всех времён и народов, как он стал теперь себя называть, буквально повторив ухнувшего в преисподнюю Гитлера. Прошлое было похерено, победа искупила все промахи, преступления и беды, и люди, опьянённые этой победой, проходившие мимо заново перестроенной и надстроенной цитадели на площади Дзержинского и не подозревавшие о том, что творится и готовится там внутри, не ждали и не гадали, что на самом деле наступает — если уже не наступило — одно из самых гнусных десятилетий советской истории.

Мы — это были я и мой друг, ныне покойный поэт Я.И. Меерович (Яков Серпин), нас связывало многое. Нас повязала вместе юность — главное время жизни. Несколько риторически можно было бы сказать, что нас связывала эпоха. Можно (это бывает нечасто) назвать конкретную хронологию этой эпохи: о на началась для нас в первые дни мая 1945 года, с концом войны, во время которой мы были подростками, и окончилась осенней ночью 1949-го, когда мы оба были арестованы тайной полицией по доносам нашего товарища и сверстника и приговорены Особым совещанием, я к восьми, Яша к пяти годам лагерей. Всё повторяется, и мне казалось, что мы последовали примеру Герцена и Огарёва, о которых, как рассказывает автор «Былого и дум», некая тётушка отозвалась так: «Кучка

студентов напугала tout le gouvernement... срам какой». Мог ли я гордиться тем, что от наших крамольных разговоров перепугалось всё правительство?

Она была короткой, эта юность, но её насыщенность была тако-ва, что при взгляде сквозь даль полу столетия она кажется очень долгой. Весна первых послевоенных лет оказалась, как это бывало не раз в истории нашего отечества, не только недолговечной, но и ложной, — на самом деле это была оттепель. Мы поступили в Московский университет ранней осенью сорок пятого, оба были, в числе немногих мужчин, самыми молодыми на курсе. Нас связывали и оба этих дома Дементия Жилиярди, и почернелые фигуры Герцена и Огарёва перед Старым зданием, и каменный непристойный Ломоносов, и лестница и балюстрада аудиторного корпуса.

2. Балюстрада

Эта лестница! Под сенью алебастровых вождей, торжественная, высокая, многоступенчатая, — взбегаешь через ступеньку, минуя два марша, там площадка — можешь передохнуть, в чём, разумеется, не было необходимости. С площадки ещё два марша расходятся в обе стороны, левый к дверям большой, так называемой Коммунистической, бывшей Богословской, аудитории, правый — на галерею. И, наконец, вот она, обещанная заголовком этих записок ампириная балюстрада с трёх сторон ограждает провал парадной лестницы.

Балюстрада, вечное местопребывание... Здесь торчали долгими часами, болтали, стояли, обложившись книгами, поставив ногу на фигурный столбик балясины, готовились к занятиям, прохаживались, прошвыривались вдвоём и в одиночку по окружной галерее, мечтали, ждали кого-то. Здесь, собственно, и находилась наша старая alma mater, университет, мать-кормилица, здесь билось её гостеприимное сердце. Балюстрада и лестница — прибежище от невзгод, от мук неприкаянной юности, безответной любви.

Как-то раз, болтаясь у балюстрады, я увидел девушку в круглой барашковой шапке, глубоко надвинутой на лоб, она прыгала вниз по лестнице, короткая юбка порхала над коленками, и с каждым прыжком подскакивала под крахмальной кофточкой её грудь. Это была Оля Дёконова, полужнакомая, никакой роли не сыгравшая в моей жизни.

Отсюда, глядя сверху вниз, я увидел впервые Иру Авербах, сестру известного шахматиста, она стояла возле бессонной сторожихи,

в лёгком платье, красном с белым нагрудником. Не было такого места на любой из четырёх сторон балюстрады, которое не соединилось бы для меня с памятью о каком-нибудь, хотя бы и малозначительном, мимолётном эпизоде.

Наверху над площадкой, где раздваивалась лестница, между двух псевдомраморных, пачкающих мелом постаментов с циклопическими статуями вождей, положив книгу на плоскую поверхность балюстрады, я читал первую сцену Фауста II — пробуждение спящего доктора Фауста на рассвете, на лугу в цветах, — и слышал пение Ариэля, хор духов и грохот небесных ворот, возвещающий о рождении дня. Поблизости сочинялось курсовое сочинение на тему «Прометей у Эсхила и у Гёте»... Внизу, на противоположной стороне, я с не достойным поощрения любопытством перелистывал запретный «Дневник писателя» Достоевского. Зато рядом, в известной всем 66-й аудитории слушал лекцию доцента Белецкого о «Братьях Карамазовых» и легенде о Великом инквизиторе и пришёл к выводу, что Ленин, случись ему вновь, как Христу в легенде, явиться в наше время, разделит бы предписанную инквизитором участь Христа — был бы расстрелян как враг народа...

Слева, по-прежнему на балюстраде, я переводил на немецкий язык замечательный зачин «Скучной истории»: «Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то...». Поздно вечером, когда над галереей зажигались жёлтые шары и пустел читальный зал библиотеки филологического факультета, я простоял три часа у балюстрады, слева от лестницы, прислонясь к морковной колонне, ждал Иру, подстерегал у выхода из читальни, следил за всеми выходящими. И так и не дождался.

3. Факультет и Классическое отделение

Факультет помещался в левом флигеле Старого здания, на четвёртом, последнем этаже; прогуляйся по Моховой от ресторана «Националь» мимо американского посольства, геолого-разведочного института и дальше до университетской ограды — слева широкая, просторная Манежная площадь, позади Кремль и Александровский сад, — и, не доходя до устья впадающей в площадь улицы Герцена и трамвайной линии найдёшь в конце ограды узенькие воротца; сойди по двум ступенькам в сквер — и окажешься перед входом во флигель. Но сперва *sta viator* — путник, остановись!

По углам сквера в кустах, ближе к колонному фасаду, сторожат чёрные от столичной копоти статуи братьев по клятве на Воробьёвых горах Герцена и Огарёва.

Этажом ниже нашего филологического факультета располагался другой, презираемый философский, который готовил кадры толкователей и преподавателей марксизма-ленинизма. Туда, как и к нам, добирались по лестнице вокруг столбов, ограждавших колодец, который пригодился бы для лифта. Но лифта не существовало, и, взбегая наверх, можно было обогнать седовласого профессора с портфелем подмышкой, медленно, тяжело, цепляясь за перила, переступающего со ступеньки на ступеньку. Наконец, последний этаж: входная дверь и окно с подоконником, на котором иногда происходили занятия, за недостатком свободных аудиторий; мы жили в эпоху универсального дефицита, нехватки всего — жилья, еды, одежды, местечка для ноги на подножке переполненного трамвая.

При входе на факультет попадали в тесную, скудно освещённую прихожую, некогда служившую раздевалкой, надобность в которой отпала с наступлением холодов: в нетопленных помещениях сидели не снимая пальто. В прихожей встречал швейцар, чьей обязанностью было звонить к началу занятий, здесь же можно было увидеть старца в белых усах, с бородкой клинышком: он сидел в углу, в шубе и шапке, поставив рядом палку, с книгами на коленях, дожидаясь звонка. Это был знаменитый эллинист и латинист, патриарх и великий магистр отечественной классической филологии, студент Московского университета выпуска 1898 года Сергей Иванович Соболевский. Как ему удавалось взобраться на последний этаж, было загадкой. В последние годы, впрочем, он уже не появлялся на факультете, читал лекции старшекурсникам у себя на дому.

Мы были вчерашними школьниками, а наши менторы — стариками. Революционное мракобесие двадцатых годов разрушило традиционную систему гуманитарного образования, было ликвидировано преподавание древних языков в средней школе, заодно упразднена и вся классическая филология. Знатоки латыни и греческого, словно адепты тайноведения или сторонники гонимой секты, скрылись в катакомбах — разбрелись кто куда. Лишь спустя десятилетие репрессированная античность была реабилитирована, в некоторых гуманитарных вузах появились классические отделения.

Результатом был разрыв поколений, от которого мы, новоиспечённые студюзусы, только выиграли: мало-помалу, непримет-

но и неназойливо наши учителя, превосходные педагоги, полиглоты и гуманисты, приобщали нас к рафинированной культуре, могиканами которой они были, учили не только языкам и благородному стилю Цицерона и Цезаря, Ксенофонта Афинского и Платона, но и прекрасному русскому языку, на котором говорили и писали они сами.

Классическое отделение, самое малочисленное на факультете, состояло из трёх групп, в каждой 8-10 студентов. Латынь в нашей группе преподавал Андрей Николаевич Дынников, маленький сухонький, немного комичный и прелестный в своей безграничной преданности предмету, весной и летом всегда в одном и том же сюртуке с накладными карманами, осенью и зимой в поношенной антикварной шубе до пят. Комментируя строчку Саллюстия из «Заговора Катилины», задав вопрос и ожидая ответ от студентки (девушки были в эти послевоенные годы в большинстве во всех отделениях), он стоял, открыв рот, с поднятым пальцем. Дынников, среди прочего специалист по так называемой вульгарной латыни, вёл факультатив по этому наречию римского плебса, ставшему предком романских языков, и руководил кружком, где мы переводили «Апологию» Апулея. Мы собирались подготовить к печати первый русский перевод замечательного памятника серебряной латыни второго века, но в разгар работы наш учитель умер.

Павел Матвеевич Шендяпин, шестидесятилетний, красивый среброголовый старик, немного похожий на Станиславского, с отменными манерами, величественный и суровый с виду, в действительности добрый и отзывчивый, в несменяемом чёрном костюме, с выступающими из рукавов крахмально-белыми, но заметно потёртыми манжетами, вёл греческий. В отличие от Дынникова, который в перерывах извлекал из брюк жестяной портсигар, наполненный махоркой, и сворачивал самокрутку, Павел Матвеевич курил на занятиях «Казбек». Доставал из коробки длинную папиросу, не спеша вставлял в рот и, держа перед собой горящую спичку, продолжал говорить густым и звучным, хорошо поставленным голосом.

Ὁ θεῖνὸς δέσποτα! (О грозный властелин!) — великолепным своим голосом восклицал Павел Матвеевич, подражая древнему оратору, дабы продемонстрировать употребление греческого звательного падежа.

Фёдор Александрович Петровский, переводчик Лукреция, высокий, вальяжный, элегантный, работавший не в университете, а в

Институте мировой литературы, вёл курс «Латинские авторы». Он входил в аудиторию с грузом книг, раскладывал их перед собой, произносил какой-нибудь каламбур и начинал свой академический час с того, что, открыв абзац разбираемого классика, перелистывал книги, — это были переиздания и переводы античного оригинала на живые языки, — читал и обсуждал конъектуры филологов разных стран и эпох.

Одно время я посещал факультатив по санскриту. Язык классической поэзии и философии Древней Индии не входил в учебную программу, но занятия вёл известный лингвист Михаил Николаевич Петерсон, сын Николая Петерсона, фантастического эрудита, ученика и последователя Николая Фёдорова, другой ученик и соиздатель Федорова, Вл. Кожевников умудрился изложить гротескную философию Общего дела в стихах. Само собой, мы в те времена слыхом не слыхали о Фёдорове. Профессор Петерсон, который на факультете появлялся редко, был странный человек не вполне обычного телосложения, по-женски широкобёдрый, любезный и улыбочивый, приторно-вежливый, такой же необъятный полиглот, и полигистор, каким был его забытый ныне отец.

Фигурой номер два в отделении после Соболевского был Сергей Иванович Радциг, выпускник Московского университета 1904 года, заведующий кафедрой классической филологии; некоторые его черты я придал профессору Данцигеру, персонажу моего романа «К северу от будущего»; он стал у меня, правда, специалистом не по античным, а по западным итературам — германским и романским. Для вновь принятых студентов Радциг устраивал чтения под названием «Введение в античность», напоминал о том, что фронтон Большого театра венчает квадрига, управляемая Аполлоном; декламируя по-гречески гексаметры «Илиады», пел, имитировал исчезнувшее ионийское музыкальное ударение. Когда однажды на кафедре отмечалось, если не ошибаюсь, 70-летие С.И. Радцига, маленький, большеносый, похожий на птицу, в клинообразной академической бородке именинник обратился к коллегам и подопечным школярам-классикам с прекрасной, выдержанной в духе и традиции античного ораторского искусства речью на золотой латыни.

Много лет спустя, в другую эпоху, возвратившись из лагеря, с волчьим билетом вместо паспорта, я заглянул на кафедру на третьем этаже Старого здания, повинувшись тому же необъяснимому влечению, которое тянет преступника к месту преступления. Радциг был единственным человеком, который встретил меня

ласково и даже предложил мне пересдать заново все экзамены (я был арестован на V курсе), обещав свою помощь. Милая, трогательная наивность.

Классическое отделение филфака — осмелюсь ли назвать этот далёкий от окружающего советского мира островок Духа, братство ревнителей и хранителей потонувшей культуры, компиляторов и интерпретаторов, — назвать его маленькой Касталией Германа Гессе?

Непостижимым образом идеологическое беснование, сигналом к которому послужили идиотские постановления поздних послевоенных лет, беснование, тотчас охватившее самое крупное, русское отделение, первоначально обошло стороной наше маленькое отделение, чересчур мудрёное для дремучего партийного начальства и державшееся в относительно безопасном отдалении.

Но это продолжалось недолго, надвигались зловонные времена. Старейший каннибал, уединившийся в своей кунцевской крепости, окончательно утратил связь с внешним миром, с реальной действительностью и превратился в священный Портрет. Придворный живописец изобразил его великаном в парадном мундире с широкими, как доски, погонами и бриллиантовой звездой Победы на шее, в столбах несгибаемых брюк с красными лампасами, стоящим в кабинете Кремля перед окном с панорамой праздничной Москвы. Придворный актёр играл на экране говорящий портрет. Хор гремел кантату Шостаковича «Сталину слава навеки, навеки!» Поклонение вождю приняло клинические формы и напоминало средневековые эпидемии массового помешательства.

Гнилостное поветрие дошло, наконец, до нашей обители. Появились невозможные в этих стенах новые люди. Заместителем декана вместо прежнего, branчливого, заботливого и любимого студентами стал некто Василёнок, никому неизвестный специалист по белорусской литературе, креатура партийных или, возможно, других органов. На классическом отделении приземлились вновь принятые полуграмотные студенты, выдвигенцы парткома. Был уволен — уже после нашего ареста — профессор Сергей Иванович Радциг. Как античный мир в первые века нашей эры погиб под натиском диких орд, так пошатнулось от нашествия варваров и едва не рухнуло классическое отделение.

4. Коммунистическая аудитория

Затрудняюсь сказать, в каком из послереволюционных лет большая аудитория в Новом здании превратилась из Богословской в Коммунистическую; произошло это, кажется, в начале двадцатых годов, — переименование, по-своему логичное, знаменующее замену одного вероисповедания другим.

Толпа студентов-филологов вваливалась в Комаудиторию, где читались лекции по предметам, общим для всех отделений, через двери на галерее, сбоку от высящегося над парадной лестницей думвирата вождей — справа Ильич, в просторечии Лукич, с круглым, как глобус, алебастровым черепом, в интеллигентной тройке и огромных башмаках фасона революционные говнодавы, слева Великий Ус в сапогах и долгополой шинели. Весёлая, журчащая болтовнёй и смехом девушек толпа втискивалась, рассаживалась по рядам амфитеатра, поднимавшегося от помоста, где в зависимости от обстоятельств находились пульт оратора, стол президиума либо столик и кресло для профессора.

Но забраться сюда можно было иным путём, через подвал по узкой потайной лестнице на балкон, откуда открывался вид на всё собрание. Преимущество балкона состояло в том, что здесь, если лекция начиналась рано, в 8 утра, можно было соснуть на часок. Но не единственное преимущество. Позволю себе упомянуть ещё раз одно из моих сочинений, посвящённых Московскому университету тех лет. С балкона Коммунистической аудитории бросает в амфитеатр листовки с неприличным воззванием юный Марик Пожарский, герой романа «К северу от будущего», — деяние, неотвратимо повлекшее за собой заслуженную кару.

Ту же судьбу — молниеносный арест и бесследное исчезновение — разделили два наших профессора, Москаленко и Кокиев: первый читал в Комаудитории курс лекций по диалектическому материализму, трактату Лукича «Материализм и эмпириокритицизм» и тому подобным предметам, второй — его лекции как раз и начинались в восемь утра — читал историю Древнего Востока. Незачем было пытаться узнать, почему и за что погорели Кокиев и Москаленко, ибо «органы не ошибаются» и это, собственно, означало: ни за что; да и поминать по какому бы то ни было поводу кровавую гадину, торжественно именуемую государственной безопасностью, не полагалось.

Профессор Москаленко был талантливым лектором, которому удавалось несколько неожиданно увлечь студентов своей теологией умершего бога, что весьма подходило, по иронии судьбы, к прежнему названию Коммунистической аудитории. Заместителем сгинувшего Москаленко стал человек, немедленно награждённый прозвищем гвардии доцента. Он маршировал по эстраде в сапогах и гимнастёрке травянистого цвета и разоблачал субъективный идеализм Беркли, которого называл «поп Беркли» с ударением на втором слоге.

С профессором Кокиевым я встретился в Бутырской тюрьме. Это случилось в большой камере, битком набитой заключёнными, которых согнали после окончания изнурительной многомесячной процедуры, которая в этом учреждении называлась следствием, для оповещения о приговоре. Происходило это так. Вас выводили в коридор и соседнюю камеру, там сидел за канцелярским столом плюгавый человек в гимнастёрке без погон. Он вручал машинописный листок с кратким уведомлением о том, что дело рассмотрено Особым совещанием и вам вклеили такой-то срок. Полагалось расписаться, после чего осуждённого водворяли обратно.

Кто-то, узнав, что я московский студент, подвёл меня к пожилому человеку, сидевшему на полу в углу возле стены с совершенно убитым видом. Я сказал профессору, что сдавал у него зачёт и провалился. «А сколько, — спросил Кокиев, — вы получили на этом экзамене?» Я ответил: восемь лет. По тем временам (1949 г.) это был небольшой срок

Осенью первого послевоенного года в Коммунистической аудитории состоялся вечер поэтов-фронтовиков. Ведущий — кажется, один из преподавателей русского отделения — сделал доклад, за столом сидели поэты: Семён Гудзенко, Александр Межиров, Сергей Орлов, Вероника Тушнова. Главной фигурой вечера был статный красавец Гудзенко. Он читал стихи, вскоре ставшие популярными. Межиров, стоя на эстраде в темно-зеленой английской шинели, с лунатическим видом, преодолевая заикание, читал стихи о боях в Синявинских болотах и ставшее знаменитым неизбежное «Коммунисты, вперёд!». Тушнова негромким голосом, не рубя кулаком, как тогда было в обычае, исполнила отрывок из поэмы «Дорога на Клухор». Орлов, в бороде, прикрывшей рубцы от ожогов на лице, — он едва не погиб в горящем танке — читал стихи за пультом, из-за которого высывалась его голова.

Начиналась памятная пора всеобщего необыкновенного увлечения стихами. В клубе университета на улице Герцена собирались участники поэтической студии, ею руководили именитые стихотворцы — сперва Вл. Луговской, несколько позже С. Кирсанов.

Буй-тур Луговской, как окрестил его известный пародист, был чрезвычайно импозантен, басовит, густобров; однажды он привёл в студию мрачного вида детину с перебитым носом и представил его как автора поэмы, в которой «есть интересные ходы». На что автор возразил, сильно напирая на **о**, что **поэма** **большая**, в ней десять тысяч строк, и он прочтёт **отрывок**. Это был Михаил Луконин, будущий литературный функционер.

Смерть Гудзенко от последствий черепно-мозгового ранения, которую поэт предсказал сам («мы не от старости умрём, от старых ран умрём»), обозначила конец молодой военно-фронтной поэзии; идеологические постановления поощрили возродившееся виршеплетение рептильных одописцев. Их смела новая волна эстрадно-массовой поэзии, представленной именами Евг. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной и Р. Рождественского. Время несло со скоростью звездолёта, постепенно умолкли и эти голоса...

2012

СТАРИКИ

Громкие голоса сотрясают пузырь молчания, которым окружен старик, бредущий по городу. Словно глухонемой, он поглядывает на прохожих. Люди жестикулируют, смеются, бранятся. Люди слишком много разговаривают. Это потому, что они молоды и не знают, что все слова давно уже сказаны. Мир молодеет. Мир становится похожим на среднюю школу, на детский сад. Молодеют персонажи кино и книг. Старик перечитывает классические романы — у него много времени, — и оказывается, что их написали совсем молодые люди. Раньше он об этом не думал. Когда-то герои книг казались взрослыми и умудрёнными жизнью, оказалось, — это были зеленые юнцы. Раньше это не бросалось в глаза. Старик не становится старше, старение — тоже позади, зато мир становится всё моложе и всё глупей.

Он вспоминает тех, кто жил тридцать, сорок или сорок пять лет назад, стариков своей молодости. Безнадёжные люди — смертники, как ему казалось, тогда как сам он был бессмертен. Профессор классической филологии, сидевший в прихожей, в шубе и шапке, с палкой, с книгами на коленях, дожидаясь начала своей лекции. Теперь можно было бы запросто присесть рядом. Прорекламировать вдвоём: «*Ehèu fugaces, Póstume, Póstume, labúntur ànni*»¹.

Родители... их давно нет на свете. Дико и странно подумать, что теперь ты вдвое старше своей матери, и она годилась бы тебе в дочку.

Совершим небольшое усилие, вернемся в те времена, и земное притяжение, зов могилы, уменьшится вдвое, и можно будет, не останавливаясь после каждого марша, взлететь по лестнице на четвёртый этаж, войти в узкий коридор факультета. Странно думать, что это тело служило тебе и тридцать, и пятьдесят лет назад. Тело наделено собственной памятью, удостоверяющей его физическую не-

¹ Увы, Постум, проносятся быстротечные годы (*Гораций*).

прерывность, какой бы неправдоподобной она ни казалась, подобно тому, как память души удостоверяет непрерывность моего суверенного «я». Как роман не перестаёт быть единым повествованием от того, что его листают, как придётся: заглядывают в конец и возвращаются к началу, так непрестанно ткущее себя «я» не дробится от мнимой фрагментарности воспоминаний. Непрерывное «я» предполагает текучую неподвижность памяти и, наоборот, легкие скачки воспоминаний через годы и от места к месту. Если верить Бергсону, мы не забываем ничего, хоть и не помним о многом. Память — это несгораемый сейф, разве только забылся набор цифр, открывающий дверцу; память — тёмный подвал с бесконечными рядами стеллажей, на которых стоят коробки, громоздится рухлядь, с расходящимися коридорами, куда мы не заглядываем, — погреб забвения. Между тем существует факт, который доказывает, что на самом деле мы помним все однажды увиденное и пережитое: спящий может узнать во сне города, давно исчезнувшие с его горизонта, и людей, о которых он никогда наяву не вспоминал.

Тело наделено памятью. Эти ноги помнят асфальт городов, скрипучие половицы, лестницы и площадки, белый плиточный пол операционных, чёрный прах и тлеющие болотные кочки лесных пожарищ, деревянные, скользкие от дождя, расщепленные колёсами лесовозных вагонок лежни, по которым шагают парами заключённые, держась друг за друга, чтобы не угодить в трясину. Руки помнят игрушки, объятия, хирургические инструменты и браслеты наручников.

Сорок лет тому назад перед подъездом центральной районной больницы стоял автомобиль с красными крестами на матовых стёклах, выдавшая виды колымага военных лет. В этот день в райздравотделе происходило совещание местной медицины. Подошел кто-то из городских коллег. «Тут у нас приготовлен на выписку пациент с вашего участка, подвезите его, вам всё равно по пути».

Была осень. От бывшего уездного города до участковой больницы чеховских времён — пятьдесят километров по ухабистой мощёной дороге и три версты по проселочной. Можно было ещё успеть выехать засветло. Очевидно, больной одевался. Наконец раздалися шаги. Наверху, на лестничной площадке, показалась молоденькая сестра. Она вела под руку пациента. Это был дряхлый старец в заплатанных портах, валенках и долгополом рубище.

Стали сходить по лестнице. Старик вцепился в провожатую. На каждой ступеньке он останавливался, набираясь отваги для следующего шага.

«Куда ж я теперь с ним?»

«Вот тут все документы», — сказала сестра.

«Где его вещи?»

«А у него нет вещей».

Я развернул бумаги. Больной жил в стороне от тракта, в дальней деревне, куда и летом добраться непросто. Был доставлен в городскую больницу четыре месяца тому назад. Диагноз... Дальше шло длинное наподобие аристократического титула перечисление недугов, которое можно было бы заменить одним словом — старость.

«Дедуль!»

«Ась?»

«У тебя из родных кто-нибудь есть?»

«Чего?»

«Родственники, говорю, есть?»

Всё было ясно. Беспомощный, беспризорный, кочующий по больницам старик-одуванчик; дунет ветер, — и нет его. Без жены, без детей, без внуков, в избе-развалухе, ни дров наколоть, ни воды принести. Числится колхозником, стало быть, и пенсии никакой.

«Ничего, — сказала сестричка и погладила деда по жёлтому черепу, — он у нас молодцом. Он у нас ещё ходит. Перезимует у вас, а летом сам домой запросится».

Месяца через два выяснилось, что у деда есть дети. Дочь живет в Москве. Сын в Ленинграде. Сбежали из тухлой деревни в город, бросили старого инвалида на произвол судьбы. Вот мы теперь вам о нём и напомним! Я сидел в амбулатории, в комнатке за дверью, на которой красовалась табличка «Главврач», и злобно потирал руки. Затем умокнул перо в чернильницу и начертил два грозных письма.

Ответ, как ни странно, не заставил себя долго ждать. Два ответа.

Сын прислал длинное, вежливое и уклончивое письмо. Он благодарил за заботу о больном, обещал непременно проведать его в будущем году. Он полностью согласен, что в деревне о старике некому позаботиться. Нужно что-то предпринять, как-нибудь решить эту проблему, так как взять отца к себе он, к сожа-

лению, в настоящий момент не может. Он ютится с женой и двумя детьми в пятнадцатиметровой комнате, работает милиционером, зарплата, сами знаете какая. Единственный выход — поддержать папашу ещё в больнице. Не могли бы врачи похлопотать о доме престарелых?

Письмо от дочери было лаконичным. О себе она ничего не сообщила и не просила отсрочки. «Вы хотите, чтобы мы забрали к себе отца, — писала она, — ну так вот, этого никогда не будет. Жалуйтесь, куда хотите, а мы его не возьмём. Какой он нам отец? Он нас бросил маленьких с матерью и знать о нас ничего не хотел всю жизнь. А теперь вспомнил. Теперь мы ему понадобились. Никакой он нам не отец. Так ему и передайте».

Можно было бы ответить ей, что дед вообще уже ничего не помнит. Прошло ещё сколько-то времени. В конце апреля в наших краях наступает весна. Словно грянул, сверкая трубами, с небес духовой оркестр. Вдруг в одну ночь всё начинает таять, чернеют дороги, голые леса стоят по колено в воде. Вода, куда ни ступишь, и мокрый взъерошенный скворец за окошком заливается, как безумный. Потом земля, по народному выражению, расступается. Теплый пар стелется над лугами, просыхают лужи. Сестра из городской больницы оказалась права, — когда начало припекать солнце, дед стал проситься выписать его. И тяжелый рыдван с красными крестами, прыгая на ухабах, повез его за тридцать вёрст в родную деревню.

Каждый день рано утром я садился в трамвай возле Выставки достижений сельского хозяйства, и каждое утро, тремя остановками позже, в вагон входил и садился напротив ветеран в железных очках, высокого роста, с длинной жёлто-белой бородой, с узелком в руках. Клиника находилась в новом районе. Я сходил, и следом за мной сходил старик.

Я раздевался в гардеробе для персонала. Старик снимал ветхое пальто в раздевалке для посетителей. Я взбегал по лестнице на второй этаж. Старик ехал в лифте. Мы входили в отделение, он направлялся в палату, а я отворял дверь в ординаторскую, где ждали меня подчинённые.

Раз в неделю происходил обход заведующего отделением. Церемония состояла в том, что я шествовал от одной двери к другой, три врача, держа папки с историями болезни, следовали за мной, в палатах стояли наготове сестры, а с кровати на нас смотрели

рели очаговые пневмонии, язвы двенадцатиперстной кишки, ревматические пороки сердца и различные степени недостаточности кровообращения, принявшие облик живых (или полуживых) людей.

В конце коридора, на женской половине, в последней палате сидел возле койки у окна старик. На тумбочке стояла тарелка с недоеденной кашей и букетик цветов в бутылке из-под кефира. А на койке, под двумя одеялами лежало крошечное сморщенное существо с птичьим лицом, с лысой головкой, в перевязанных ниткой железных очках, таких же, как у старика. Это была его мать.

«Поздравляю!» — сказал я фальшивым голосом. Очки повернулись в мою сторону, но понять, слышит ли меня больная, было невозможно. В этот день ей исполнилось сто лет.

Я попросил старика заглянуть ко мне попозже, и процессия двинулась в обратный путь.

После обеда он вошел в кабинет.

«Ага. Присаживайтесь. Ну-с... как вы находите маму?»

Он пожал плечами.

«Мы считаем, что налицо определенный прогресс, — сказал я, употребляя первое лицо множественного числа, которое в грамматике именуется *pluralis majestatis* и принято в обращениях царствующих особ к народу, в России же используется, когда хотят сложить с себя ответственность за предстоящее. — Не правда ли?» — спросил я у палатного врача.

«Безусловно».

«Ну, вот и прекрасно. Видите ли, какое дело... Мы хотели с вами поговорить».

«О чем?» — спросил старик.

«Ваша мама находится у нас уже четыре месяца».

«Три с половиной».

«Не будем спорить. За это время достигнут определённый прогресс. Во всяком случае, состояние стабилизировалось... Вот мы и подумали, что, может быть, уже пора выписываться. Как вы считаете?»

Практика выработала у родственников сложные приёмы самозащиты. Ни в коем случае не спорить. Во всём соглашаться с врачами. Долго и трогательно благодарить за заботу. Нигде, ни в одной больнице не было такого внимательного ухода, такого квалифицированного лечения. Конечно, мы обязательно возьмем маму, тетю,

бабушку. Но не сейчас. Нельзя ли продлить лечение хотя бы недели на две? Так сказать, закрепить результаты. — «Но позвольте. Больная не нуждается в лечении, только в уходе». — «Значит, нам нужно кого-то подыскать». — «Вот и ищите. Сами видите, отделение переполнено, больные лежат в коридоре. Настоящие больные». — «А разве мама не настоящая больная?» — «Помилуйте, четыре месяца!» — «Три с половиной». — «Ладно, не будем спорить. Итак?..» Торговля начинается сызнова.

Вместо этого старик сказал:

«Я её не возьму».

«Как это — не возьму?»

«А вот так.»

«Но вы же прекрасно понимаете, что...»

«Прекрасно понимаю».

«Ведь она вам мать! Вы что же, от неё отказываетесь? Тогда устраивайте ее в дом престарелых».

«Куда?» — спросил он.

«В дом престарелых!»

Некоторое время мы изучали друг друга.

«Мне восемьдесят два года, — сказал он. — Тем не менее, я слышу достаточно хорошо. Поэтому повышать голос нет надобности. Если бы я хотел отказаться от мамы, вы бы меня здесь больше не видели. Ваши сестры и няньки давно уже к ней не подходят. Я сам все делаю. Стираю белье, привожу каждый день чистое, перестилаю кровать, кормлю. И буду так делать и дальше. Но взять ее домой — нет. Что я буду с ней делать? У меня никого больше нет. Мы там с ней помрём. А что касается дома престарелых... Вы, я думаю, хорошо знаете, что попасть туда невозможно. Обивать пороги учреждений я не в состоянии. Но даже если бы это и было возможно. Всё, что угодно, но только не дом престарелых. Можете на меня жаловаться куда хотите».

Старость — это искусство делать вид, что смерти не существует. В юности время работает на нас. Старик знает — время работает против него. Что бы ни случилось, при любой погоде и любом правительстве время работает против него. Он, как путешественник в шатком и тряском экипаже, который несется к обрыву, но остановить лошадей нельзя и выпрыгнуть невозможно. И он смотрит по сторонам, любит ландшафтом.

Свободный человек Спинозы взирает на вещи с точки зрения вечности. Его цель — не плакать и не смеяться, а понимать. Свободный человек, сказано в «Этике», ни о чём так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит не в размышлении о смерти, но в размышлении о жизни.

Мы должны снова перевести стрелки назад, когда славные изречения были всего лишь грамматическими конструкциями, когда согласование времен подчинялось твёрдым правилам, — прошедшее не имело никаких преимуществ перед настоящим и будущим, и вечность классических текстов торжествовала победу над бренностью жизни.

Нам не приходило в голову, что молодость должна распрощаться с собой, чтобы обрести голос, который будет звучать века. Мы не задумывались над тем, что Ксенофонт, автор первых, быть может, в истории литературы воспоминаний — «Анабасиса», — был немолод, как и подобает мемуаристу, и воображали его молодцом на коне, в сверкающем панцире, а не старым хрычом в элидском изгнании. Вместе с ним мы отправились в путь, ещё не зная о том, что персидский царевич замыслил отнять у старшего брата престол. В решающем сражении мы одержали победу, мы видели, как царевич с шестьюстами всадниками гнался за бегущей армией Артаксеркса, слышали, как Кир закричал: «Вон он, я его вижу!» И пробил копьем золотой нагрудник брата, но в следующую минуту сам получил удар в лицо. Артапат, подлетев на всем скаку, спрыгнул с коня и, плача, упал на тело мертвого Кира. А мы, десять тысяч наёмников, остались без цели в чужой стране с суровым климатом, без припасов, не зная, куда нам двинуться, и Ксенофонт, вчерашний солдат, повел нас сквозь дебри к родному, далёкому морю.

Мы не догадывались, что отстранённость рассказа, бесстрастие автора, повествующего о себе в третьем лице, — примечательная находка, литературный приём старости.

Наш доцент отличал меня, могу сейчас сказать — любил почти как сына, вернее, как внука, а я беззастенчиво злоупотреблял его привязанностью и опаздывал на занятия. Все уже сидели на своих местах в нетопленной аудитории, и он стоял перед кафедрой, лысый и маленький, в облезлой шубе, в позе античного оратора, открыв рот и подняв указательный палец. Я появлялся на пороге, и, не поворачивая головы, он саркастически приветствовал меня: «Доброе утро!»

Только что был прочитан абзац Саллюстия, из «Войны с Югуртой», поднятый палец означал, что учитель задал свой любимый вопрос и ожидает ответа. Мы разбирали текст, как шахматную партию, нисколько не задумываясь над тем, что он, собственно, выражает. Важно было знать, каким оборотом блеснул в данном случае автор, и выпалить: *Praesens historicum! Congruentia inversa!*¹

Ибо цель и смысл словесности не в том, чтобы что-нибудь сообщить. Цель, и смысл, и достоинство литературы во все века состояли в том, чтобы демонстрировать немеркнущее величие языка.

Для избранных существовали факультативные занятия, где мы усердно переводили и комментировали доселе не издававшуюся на русском языке «Апологию» Луция Апулея, жуткую историю о том, как красивый молодой африканец обольстил богатую вдову, но родственники вовремя догадались, что он зарится на ее наследство, и обвинили его в колдовстве. Только благодаря ораторскому искусству — хорошо подвешенному языку, Апулею удалось избежать смерти.

Предполагалось, что наш коллективный труд будет опубликован, но в разгар работы старый учитель умер. В первый раз я пришел к нему домой. Он жил совершенно один, на последнем этаже огромного старого дома без лифта, в комнатке, заставленной картонными коробками, где лежали его книги. Слава Богу, он не дожил до моего ареста.

Несоответствие было поразительной чертой времени. Нечто абсолютно несовместимое — вместе, рядом.

Классическое отделение, — какой это был странный заповедник, Телемское аббатство, музей, где мы существовали каким-то образом посреди гнусной эпохи. На коммунальной кухне уцелевшая дворянка могла стоять перед кастрюлями и керосинками бок о бок с женщинами, поднявшимися со дна; в центре города перед старым зданием Университета стояли почерневшие от времени статуи Герцена и Огарёва, а рядом, в десяти минутах ходьбы, возвышался гранитный дом-колумбарий с подвалами, и застенками, и прогулочными дворами на крышах, охраняемый пулеметами и часовыми, где сидели в своих кабинетах, в кителях и погонах, в синих разлтых штанах волосатые человекообразные существа, которые только вчера слезли с деревьев.

¹ историческое настоящее, обратное согласование (лат.).

Тридцать первого декабря в кабинете за двойной дверью, за дубовым столом, под портретом Рыцаря революции сидел старик или, по крайней мере, тот, кто должен был вошедшему посетителю казаться стариком, и делал вид, что читает бумаги. Был двенадцатый час ночи.

Слева от него, у окна за столиком с пишущей машинкой, сидел секретарь, человек-нуль без внешности, актёр без речей.

Генерал был маленького роста, что не сразу бросалось в глаза, лысый, жирный, коротконогий, могущественный, в мундире со стоячим воротником, с колодками орденов и золотыми погонами, широкими, как доски. О чём он думал? О том, что люди празднуют Новый год, а он должен работать? И что предстоит пропустить еще сколько-то десятков посетителей? И что впереди такие же бессонные ночи в сияющем лампами кабинете с зарешеченными окнами, с секретарём и охраной, длинный ряд ночей, пока, наконец, его не повезут между рядами войск на пушечном лафете, животом вверх, в коротком красном гробу, и на крышке будет лежать его огромная блинообразная фуражка с голубым верхом и капустой из латуни на козырьке, а сзади будут нести его ордена на подушках? О том, что он отдал всю жизнь великой борьбе и будет служить ей до последнего издыхания? Что он государственный деятель высшего ранга и обязан вести образ жизни государственного деятеля, говорить и мыслить по-государственному? Что он ни в чем не сомневается и ни о чем не сожалеет? Что от него зависит все, а может, ничего не зависит? Что он служит гнусному, грязному делу, что он Генеральный прокурор по спецделам, и ничего уже не поделаешь, и ему некуда деться? Пожалуй, он вообще ни о чем не думал и лишь выдавливал из себя каждые пять минут одно и то же слово: «Следующий».

Закон требует, чтобы каждый прошедший процедуру следствия предстал перед прокурором, прежде чем получить срок. Закон есть совокупность правил и процедур, по которым надлежит творить беззаконие. Генеральный прокурор стоит на страже закона.

Тот, кого втолкнули в кабинет, — увы, это был ты, — униженно лепетал о снисхождении, и величественный прокурор, не дослушав, продиктовал протокол ознакомления с делом.

Несколько лет спустя он сам был арестован и убит уголовниками на этапе, в столыпинском вагоне.

Глубокой ночью вас ведут по длинному коридору мимо железных дверей, поворот, другой коридор и лестница, огражденная сеткой, и опять коридоры. Яркий свет, тишину нарушают лишь звук ваших шагов и цоканье сапог провожатого. Кажется, что во всём огромном здании вы — единственная живая душа.

Остановились перед дверью с трехзначным номером, ключ вгрызается в замочную скважину, вас вталкивают внутрь. Перед вами зал спящих. Люди тесно лежат на двух помостах от двери до окна, посредине проход.

Перевод из спецкорпуса в общую камеру — важное событие, оно означает, что следствие закончено; осталось ждать, когда вас вызовут и объявят приговор. Много месяцев вы не видели никого, кроме следователей, надзирателей и двух или трех сокамерников, вы не знаете, что творится на белом свете и с трудом представляете себе, какое время года на дворе. Вы разглядываете публику. Вам двадцать один год, у вас превосходное настроение.

Утренняя поверка. Обитатели камеры, народ всех возрастов, наций и состояний, выстроились в два ряда вдоль нар. Надзиратель выкликает фамилии. Полагается выйти из ряда, назвать свое имя, отчество и год рождения. Рядом стоит подросток лет шестнадцати в щегольском пиджачке, француз с русским именем, которое он не умеет выговорить. После войны родителям-эмигрантам пришла в голову несчастная мысль вернуться на родину. Мальчику наша страна не понравилась, он решил уехать назад в Париж. Измена Родине.

Наискосок от меня делает шаг вперед могучий старик в седой щетине. Одет во что-то неописуемое: не то домашняя пижама, не то лыжный костюм тридцатых годов, на ногах тапочки. Говорит громкоподобным басом с местечковым акцентом.

Я начинаю привыкать к новому обществу. В камере шестьдесят душ. Мы находимся в одной из старинных, славных московских тюрем. О ней известно, что некогда она получила премию на международном конкурсе пенитенциарных учреждений. До революции в камере, как наша, содержалось человек пятнадцать, но с тех пор население страны значительно выросло. У окна помещается стол, единственная мебель, не считая нар, за столом сидит бывший посол Советского Союза в Великобритании. За скромное вознаграждение посол предсказывает будущее при помощи шариков из хлебного мякиша.

Если когда-нибудь будет создана Общая Теория Гадания, она должна будет стать отраслью науки о языке. Точность пророчества зависит от неточности языка, которым пользуется прорицатель, идет ли речь о толковании снов, прогнозе погоды или о судьбах нашей планеты в XXI столетии. Другими словами, гадательная терминология должна быть достаточно растяжимой, чтобы предусмотреть все, что угодно. Поистине достойно восхищения искусство камерного авгура, полнота информации, которую он выдавал (он остался жив и спустя много лет выпустил свои мемуары). Вы могли узнать, сколько вам влепят, долго ли еще остаётся торчать в тюрьме, далеко ли загонят. Последний вопрос представлял немалый интерес, так как Россия — государство весьма обширное. Жаль, что я не спросил у гадалея, когда околеет Сталин.

Можно проснуться от жизни, как пробуждаются от сна, и в самом деле время от времени как будто просыпаешься и протираешь глаза. Старость есть нечто неправдоподобное. Нужно потратить годы, чтобы удостовериться, что это правда, многим это так и не удается.

Страница из дневника Андре Жида:

«Оттого, что моя душа осталась юной, мне все время кажется, что мой возраст — это просто роль, которую я играю, а мои старческие немощи и невзгоды — суфлёр, и он поправляет меня шёпотом всякий раз, когда я отклоняюсь от роли. И тогда я снова, как послушный актёр, захожу в образ и даже испытываю определённую гордость оттого, что исправно играю свою роль. Куда проще было бы стать самим собой, вернуться в юность, — да только вот костюма подходящего нет».

«Ерунда, — сказал старик-Голиаф, поглядывая издали на посла, который, по-видимому, неплохо зарабатывал на своем новом поприще, — у этого бездаря нет ни тени фантазии. Типичный социалистический реализм. А мы живем в век сюрреализма. Запомните это, молодой человек...»

Он был художником Госета — Государственного Еврейского театра, более не существовавшего. Вслед за великим артистом Михоэлсом и второй звездой театра, Зускиным, настала очередь и моего соседа по нарам. Правда, он не был столь известен. Соответственно и размах его преступной деятельности был скромнее. Он обвинялся в антисоветской агитации, которая состояла в том, что однажды он

сказал, будто в стране с такими грязными сортирами построить социализм невозможно. Похоже, что он был прав. Во всяком случае, это обвинение представлялось более правдоподобным, чем злодеяния Зускина и Михоэлса; но у меня на этот счет есть своя теория, а именно, что мы все были виноваты независимо оттого, что мы делали или говорили. Мы были виноваты, так как не бывает безвинных там, где все следят друг за другом и все друг друга подозревают. Мы были виноваты, так как существовали органы, которые должны были нас вылавливать, кабинеты следователей, где мы должны были сознаваться в наших преступлениях, и лагеря, где нам предстояло строить лучезарное будущее. Кратко говоря, мы были виноваты самим фактом своего существования.

Я спросил: что такое сюрреализм?

«Наша жизнь, — ответил он. — Искусство должно шагать в ногу с жизнью. Гадание — тоже своего рода искусство. Но что он мне может сказать? Я и так все знаю заранее...»

Семья у него не было. Многочисленные спутницы жизни, многочисленные дети — все разлетелось, как разбитая вдребезги посуда. Арестовали его на улице, в центре города, среди бела дня: остановился автомобиль, его окликнули. Цепкие руки втащили его в машину, дверца захлопнулась, никто не обратил внимания. В Москве можно сесть на тротуар и умереть от тоски или от сердечного приступа — никто не заметит. Друзья прислали ему пижаму и пятьсот рублей, которые он проедал, получая продукты из тюремного ларька. По правилам тюрьмы, деньги заключенного хранились в кассе, можно было заказывать еду. Была даже библиотека.

Увидев меня с книжкой, старик полюбопытствовал, что я читаю. Сам он прочёл всё на свете. «Евреи — народ книги, — объяснил он. — Пока другие живут и наслаждаются жизнью, мы читаем. Поэтому для нас нет ничего нового под луной. Когда вы станете старше, вы поймёте, что я имею в виду».

Что стало со старым художником, куда он делся? Пережил ли он многодневный путь на край света в темной, до отказа набитой людьми клетке столыпинского вагона, разбой и террор уголовников, пересыльные тюрьмы, карантинные лагпункты? Вспоминая его философствования, я не нахожу их оригинальными. Видимо, он был склонен считать свою жизнь чем-то вроде парадигмы целого народа, которому приписывал свой собственный образ мыслей. Это бывает часто с интеллигентами. Быть может, он находил в этом утешение.

«Старость, молодость — какая разница... Мы уже рождаемся стариками. В возрасте, когда наши сверстники сидят на горшке, мы размышляем. Это оттого, что мы очень старый народ. Похоже, что мы зажились на этом свете...»

«Мы живем в истории, как другие живут в реальной действительности, мы шагаем спиной вперед, лицом к далекому прошлому, к ханаанским предкам. Все, что для других, — будущее, мы уже пережили».

Голос сотрясает пузырь молчания, но это не голоса живых. Незаметно для нас самих наступает двойное отчуждение от внешнего мира и от собственного измочаленного тела. Не только мир, но и собственную плоть начинаешь ощущать как нечто внешнее по отношению к тому, чем ты, собственно говоря, являешься. Тогда оказывается, что это «я», наша личность — всецело соткана из памяти.

Жил некогда человек, который хотел свою жизнь устроить по-божески и в ответ получил обещание, что Бог его не оставит. Под конец, достигнув преклонных лет, он спросил у Предвечного: «Можно ли удостовериться?» — «В чем», — спросили у него. «В том, — сказал человек, — что ты на самом деле прошагал рядом со мной весь мой путь». И ему приснился сон, это была пустыня, и действительно, рядом с его собственными следами на песке виднелись следы двух других ног. И следы спутника бок о бок с его следами уходили к горизонту. Как вдруг дорога пошла вверх, и следы от ног провожатого исчезли. Следы одинокого путешественника поднимались по крутому склону. Потом стали спускаться, и опять рядом появилась вторая пара следов. «Ты меня обманул! — вскричал старик. — Ты шел со мною, пока идти было легко. А когда путь становился труднее, когда надо было карабкаться вверх и я стал задыхаться, ты бросил меня на произвол судьбы, твоих следов больше не было рядом со мной».

И Голос ему ответил: «Это оттого, что я нёс тебя».

НОЧЬ РИМА

*Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
«Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был!»*

*Так! но, прощаясь с римской славой,
С капитолийской высоты,
Во всем величье видел ты
Закат звезды ее кровавой!..*

*Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали Всеблагие,
Как собеседника на пир;
Он их высоких зрелищ зритель...*

Тютчев

Не могу вспомнить, кому принадлежат вычитанные где-то слова: плох тот поэт, который не помышляет о том, что он рождён творить для веков. Я могу поздравить себя с тем, что свободен от этих забот. Тем не менее на краю жизни, когда уже нечего ждать и не на что надеяться, нет-нет да и просыпается мысль о потомках. Я не успел уйти вовремя; в России нужно умереть, чтобы о тебе вспомнили. Вспомнят ли обо мне? Найдут ли те, последние, что-нибудь достойное внимания в написанном мною? Традиция, достаточно сомнительная, обязывает писателя запечатлеть свою эпоху. Могу ли я рассчитывать на сочувственное внимание читателей к тому, что успел рассказать о своём времени? Такое предположение означало бы по меньшей мере веру в будущее. Но я не люблю своё время, никогда его не любил, и подозреваю, что безумная круговерть истории научила не доверять будущему и всё поколение моих сверстников. Назову его поколением выживших.

Блажен, кто посетил... Не правда ли, довольно забавная мысль — приложить, словно лекало, строки великого поэта к собст-

венной жизни. Да, я могу сказать, теперь уже окончательно захлопнув дверь перед будущим, что успел повидать сей мир в его минуты роковые. Считать ли себя счастливым? Отчего бы и нет? Я выжил. Судьба пощадила меня. Война обошла стороной. Война началась, когда я был подростком, и окончилась за несколько месяцев до того, как я достиг тогдашнего призывного возраста — семнадцати лет. В годы немецкой оккупации я избежал газовой камеры. Я не окошел в лагере. Был изгнан из отечества и сумел избавиться от участи, сходной с моей судьбой, своего сына.

Он их высоких зрелищ зритель... Почти весь уготованный мне срок посюстороннего существования уложился в промежуток между двумя глобальными войнами, которые в перспективе столетий предстанут перед историками как одна сплошная война, подобно тому как мы сейчас говорим о Тридцатилетней войне, длившейся всё же с перерывами. А что касается зрелищ — могу похвастаться тем, что стал свидетелем краха двух монстров, националсоциалистической Германии и коммунистического Советского Союза. Таковы были острые блюда, которыми, смеясь, сервировали свой пиршественный стол олимпийцы.

Закат звезды её кровавой. Мне досталось засвидетельствовать и это. Мой роман «После нас потоп» с эпиграфом из позднеримского поэта Рутилия Намациана, который прощался с Вечным городом, обливаюсь слезами, мой роман — панихида по рухнувшему советскому исчадию тысячелетней Российской империи, каким оно предстало глазам равнодушного писателя и дало основание уподобить его Древнему Риму последних веков. Наконец, мои лагерные повести, «Запах звёзд» и другие, я посвятил генеральному достижению нашей истории минувшего века — цивилизации тотального принудительного труда.

Вывод: хочешь не хочешь, от своего времени не ускользнёшь. Но я не дерзну назвать себя сыном времени, скорее я был его пасынком, и уже по этой причине не могу притязать на сочувствие потомков.

Сентябрь 2012

PRO DOMO SUA

EXSILIUM¹

Ответ журналу «Новый мир»

Вы предложили вашим зарубежным читателям рассказать о том, как им живется в эмиграции. Рассказать о нашей жизни — значит напомнить, что мы отправлялись в изгнание без надежды когда-либо снова увидеть страну, друзей и близких, но это значит также объяснить, почему же теперь, когда режим рухнул, большинство беглецов не возвращаются.

Несколько месяцев назад баварское телевидение показало репортаж о писателях — эмигрантах из стран бывшего Восточного блока, один из многих документальных фильмов на эту тему. Режиссер расспрашивал разных людей, всем был задан один и тот же вопрос: хочется ли вернуться? Фильм назывался «Die Türen sind verschlossen» («Двери закрыты»), и, собственно, это и был ответ. Известный русский писатель, периодически приезжающий в Россию, давал свое интервью на улице в Москве. Случайно мимо проходили две женщины. Одна из них, увидев камеру, стала кричать, что евреи убивают русских, а тут, дескать, телевидение берет интервью у одного из этих негодяев. Диктор перевел, несколько смягчив выражения. Но и это был своего рода ответ.

Я полагаю, что ответов может быть не меньше, чем объяснений, почему пришлось уехать.

* * *

Я живу в Федеративной Республике почти двенадцать лет. Я уже состарился. Можно предположить, что здесь я и окончу свои дни. Моя фамилия (я говорю о паспортной фамилии, а не о литературном псевдониме) имеет славянское окончание и сложный иудейский, латинский и германский корень; этимология хранит следы многовековых скитаний моих предков. И похоже, что круг замкнул-

¹ Изгнание (лат.).

ся. Сам я вырос в Москве и не испытываю потребности доказывать свою «подлинность». В одной статье Борхеса есть забавное рассуждение о верблюдах: в самой арабской из всех арабских книг — Коране — верблюды не упоминаются. Если бы священную книгу писал национально озабоченный автор, верблюды маршировали бы у него на каждой странице. Но ему не нужно было доказывать, что он араб; он и так был арабом. Я не вижу противоречия в том, что одновременно являюсь евреем и русским интеллигентом: это достаточно традиционное сочетание.

Мой отъезд с семьей из Советского Союза летом 1982 года был связан с обстоятельствами моей биографии, но на нем есть отблеск общей судьбы. Я бывший заключенный и годы юности провел в лагере. Моя литературная карьера была связана с самиздатом, и хотя мне принадлежали две выпущенные в Москве популярные книжки для школьников — о медицине и об Исааке Ньютоне (набор третьей книги, о философии врачевания, был рассыпан, когда в издательстве догадались, что я за птица), — я оставался нелегальным писателем. От этих времен сохранился мой псевдоним, придуманный редактором самиздатского журнала для конспирации. Секрет, само собой, был быстро разоблачен. Дело о журнале тянулось несколько лет, слежка, обыски, потеря рукописей, взлом квартиры, публикации за границей, аресты и отъезды друзей — вся эта банальная история, о которой сейчас скучно вспоминать, кончилась, как и следовало ожидать, тем, что пришлось выбирать: или — или. К этому времени диссидентство было разгромлено, эмиграция почти прекращена. Мне, однако, принесли необходимые документы на дом. И все же я не могу сказать, что единственной причиной, которая вынудила меня отряхнуть со стоп пыль отечества, было учреждение, оказавшееся, как мы теперь видим, бессмертным.

Люди, подобные мне, никогда не осмелятся бросить камень в Хрущева: не окажись он у власти, мы давно уже сгнили бы на полях захоронения. Вторая половина 50-х годов — это и было короткое время, когда я вышел на волю и даже смог поступить в провинциальный медицинский институт. И до и после мы были свидетелями гнуснейших времен. По крайней мере одно стало ясно: реформировать эту махину невозможно. Демонтировав систему принудительного труда — экономическую основу советского строя, — Хрущев нанес ему смертельный удар. И если режим, казавшийся отлитым из чугуна, в конце концов повалился, то при-

чиной было именно то, что служило для него высшим оправданием, на чем покоилось все вероучение, — экономика. Это была поистине чудовищная насмешка судьбы.

Вслед за потеплением — буквально по Леонтьеву — началось гниение. «Застой» — метафора неудачная во всех отношениях. 70-е годы были временем умственного движения, захватившего и людей старшего поколения, и студенческую молодежь. Я говорю сейчас не о политическом инакомыслии; новое движение, главным образом философское и религиозное, не было и восстанием против философии диалектического материализма по той простой причине, что философия эта не считалась достойным противником: это был мертвец, которого без лишних слов оставили в покое. Слишком очевидно было, что и наука и отвлеченная мысль ушли далеко вперед и в разные стороны; появились новые дисциплины, формировался новый язык, с Запада словно из серебристого тумана наплывали материи, для которых попросту не было места на архаической карте марксизма-ленинизма. Я мог бы назвать целую группу людей, которые персонифицировали это духовное брожение и заряжали его новыми, неслыханными идеями. Вместе с тем эпоха стремительно приобретала черты безвременья.

Что-то произошло с часовым механизмом: стрелки двигались все медленней и наконец остановились. В воздухе стоял густой запах старческой мочи. Было ощущение, что история прекратилась. Компания зловещих старцев на трибуне мавзолея была как бы вывеской страны. Она удостоверяла безнадежную дряхлость режима. Она служила моделью «руководства» на всех уровнях, образцом для всех учреждений и предприятий, включая научные институты, учебные заведения и редакции. Самые невинные начинания немедленно пресекались. Молодые писатели даже не пытались толкаться в официальную литературу. Все знали ей цену. Целые этажи общества были заняты призрачной деятельностью. Огромное множество «трудящихся» давно позабыло, что такое труд. Коррупция уже не была сорной травой или бурьяном, это были джунгли. Без блата вы не могли никуда сунуться. Без подкупа все останавливалось. Пустопорожней болтовней стали все заявления и постановления; политическое словоблудие побило все прежние рекорды. Газеты устали лгать самим себе. Успехи социалистической экономики, о которых все еще говорилось в докладах, были последней отчаянной попыткой инвалида отплясывать на протезах; самую возможность передвигаться следовало расценивать как успех, и было совершенно оче-

видно, что так называемая теневая экономика, или, проще говоря, круговая порука жуликов, необходима в этой стране, как костыли, которые не дают увечному свалиться окончательно. История не оставила советскому государству альтернатив. Спасти положение могла разве что реставрация кровавой диктатуры.

В сущности, то, о чем здесь говорится, было известно всем. Темному мужику в деревне было ясно, что государство и общество разлагаются.

Если это забыто, если теперь многим кажется, что крах, постигший нашу страну, — результат злонамеренной деятельности временщиков, а не возмездие, которое творит история, не знающая правых и виноватых, то это происходит лишь в силу понятной, хоть и абсурдной, ностальгии по прошлому.

* * *

На самом деле мы дышали азотом. В конце концов и внутренняя эмиграция — единственный способ сохранить достоинство — оказалась невозможной; не только наше собственное будущее, но и будущее наших детей было ампутировано; всякая деятельность потеряла смысл. За свою жизнь я испытал много иллюзий, от некоторых — например, от преклонения перед «народом» — меня освободил лагерь. Позднее я с увлечением занимался медициной, мотался по своему участку и благоустраивал свою маленькую сельскую больницу, лечил старых и малых, был и швец и жнец. Еще позже я заведовал отделением в Москве. Врачебная работа погрузила меня в океан человеческого горя, но давала какое-то ощущение смысла жизни. Все это тоже ушло в прошлое.

Оглядываясь, начинаешь верить в то, что твоя жизнь была каким-то образом predetermined. Ничего не значащее слово «судьба» наполняется смыслом, если не стараться уточнить этот смысл; так звезда исчезает, когда всматриваешься в нее, и снова мерцает, если смотреть рядом. То, что произошло, не могло не произойти; то, что со мной случилось, было итогом всей жизни, а не только заслугой вездесущего ведомства. Но без него я, наверное, никогда не собрался бы. Скажем спасибо этим крысам.

Наш отъезд из России напоминал катастрофу. Треснули гнилые доски — и мы как будто ухнули в выгребную яму. Такой случай был однажды в лагере. Человека с трудом вытащили. Опять же нет худа без добра. Должностные лица, от мелких сошек до грозных начальств, сделали все от них зависящее, чтобы убить у отъезжающих

последние остатки сожаления об отъезде. Оформление абсурдных документов — хорошо известная система замкнутых кругов: вы не можете получить справку А, не предъявив справку В, для получения которой требуется справка А. Виза представляет собой приказ покинуть страну до указанного срока, но получить визу на руки можно, лишь представив все справки и обойдя все инстанции. Поэтому на сборы остается четыре дня. Все бумаги отбираются совершенно так же, как после вашего отъезда истребляются все следы вашей жизни и деятельности в стране. Вас больше нет и никогда не было. Но прежде надо пройти состояние умершего при жизни. В одно мгновение над разоренным гнездом слетелось жадное жулье. В свою очередь государство приняло меры, чтобы обчистить беглецов до нитки. Да и как могло быть иначе? За два десятилетия эмиграции из бывшего Советского Союза это государство присвоило себе имущество и пенсии огромного количества семей, но богаче от этого не стало, подобно приснившимся фараону тощим коровам, которые пожрали тучных коров, но сами не потолстели.

Все это не вызывало ни малейших сожалений. Человек, покидавший СССР, хорошо понимал, что за этот подарок судьбы нужно платить. Очевидно, это понимали и власти. Внешне это выражалось в том, что вы должны были внести выкуп — внушительную сумму за отказ от гражданства. И, как уже сказано, осушить огромную, словно кубок большого орла, чашу унижений. Когда в лагере случались побег, пойманного возвращали с простреленными ногами, искусанного собаками и избитого до полусмерти; начальство рвало и метало. Что-то похожее по отношению к человеку, изгоняемому из страны, испытывали работники всех без исключения контор, куда надлежало явиться. Не следует думать, что там сидели особо подготовленные садисты. Это были обыкновенные советские люди, полагавшие, и не без оснований, что они имеют дело с изменником родины. Их усердие осталось для меня загадкой; быть может, к их патриотизму примешивалась тайная зависть. В аэропорту был произведен обыск с раздеванием догола, по правилам, которые я хорошо помнил со времен Внутренней тюрьмы и Бутырок. Снаружи за загородкой кучкой стояли друзья и, плача, махали нам руками.

* * *

И вот мы вышли, щурясь от солнца, в теплый летний день из советского самолета на аэродроме в Вене и побрели к зданию аэровокзала. Никто нас не остановил, никто не спрашивал никаких

документов. Конвейер подвез к нам полуразрушенные чемоданы. Куда податься? Уезжали мы с одним чувством: скорее вон — и чем дальше, тем лучше. Планов на дальнейшее не было. Моя жена и мой несовершеннолетний сын ждали решения от меня. Вдруг оказалось, что Советский Союз далеко, нет больше КГБ и всей этой гадости. Чувство свободы и бездомности — это нужно испытать, нужно глотнуть однажды этого дурманящего напитка. Описать его вкус невозможно.

Можно было на первый случай взвесить две или три возможности. В Израиле были друзья, слабая надежда работать в журнале, я довольно сносно знал иврит, наконец, это была единственная, как казалось, страна, где я мог бы не чувствовать себя эмигрантом. Мой сын, моя русская жена выражали желание ехать туда. Впоследствии я мог убедиться, что эту маленькую страну в самом деле нельзя сопоставить ни с какой другой. Но меня тянуло в Германию. Немецкий язык я знал с отроческих лет, вырос с немецкими книжками, с философами и поэтами. Мне хотелось, чтобы наш сын учился в Европе. Можно было бы обсудить и Францию, приют всех русских эмиграций, страну, о которой не зря было сказано: *chacun de nous a deux patries, la notre et la France* (у каждого из нас две родины: наша собственная — и Франция). Но времена, когда эта страна без разговоров оказывала гостеприимство всем политическим изгнанникам, прошли. Не имея представления о пограничной и всякой другой бюрократии, я решил, что съезжу в Западную Германию на короткое время, повидаясь с теологами, чьи труды я переводил для самиздата, и узнаю что и как. Полусознательно решение уже было принято. Старый товарищ, уехавший за два года до нас, подвез нас к баварской границе, я вылез из машины и, как говорят в таких случаях, сдался властям. В полицейском *Revier* (отделении) чиновник заполнил с моих слов анкету, после чего мы были помещены в деревенскую гостиницу за счет полиции. Короче говоря, мы остались в Германии.

Так как я не был заслуженным диссидентом или бывшим советским писателем, я не мог рассчитывать на торжественный прием. Прожив несколько недель в существовавшем тогда американском центре для беженцев из восточноевропейских стран, мы затем очутились в немецкой среде. Русское зарубежье третьего призыва не создало организаций взаимопомощи. Поддержку, столь необходимую каждому эмигранту в первые месяцы жизни на чужбине, нам

оказали немцы. Люди, ничем мне не обязанные, взяли на себя заботу о моей семье, приютили нас и снабдили необходимым, помогли с жильем и оформлением бумаг. Ничего подобного я никогда не встречал на родине.

Нужно было подумать о заработке, о продолжении учебы для сына. Спасением для русских эмигрантов (которых в те годы было очень мало) была 16-я статья Основного закона Федеративной Республики (и соответствующая ей статья 105 баварской конституции) о предоставлении убежища преследуемым по политическим мотивам. Специальная помощь оказывалась учащейся молодежи. Мой сын окончил Studienkolleg (курс подготовки к университету), а затем медицинский факультет Мюнхенского университета. Ему пришлось овладеть не только немецким, но и английским. Студентом и позднее врачом он работал в Южной Африке и Америке. Через семь лет после приезда мы превратились из «азилантов» (от слова Asyl — убежище) в немецких граждан. Уезжая из СССР, я был уверен, что не найду работу за границей. От медицины я отошел. Литература, из-за которой, собственно, и пришлось уехать, — не профессия. Товарищ по изгнанию, известный правозащитник, сумел добыть денег в Америке и предложил мне основать вместе с ним русский журнал. Предприятие не было коммерческим, мы получали зарплату; журнал, для которого в СССР понадобился бы обоз в 15 человек, делали два, затем три работника. Мы просуществовали восемь с половиной лет, после чего журнал закрылся из-за прекращения субсидий. Коллега отбыл в Россию, оставив мне и секретарю долги.

Еще два слова, чтобы покончить с темой «устройства». В устах каждого порядочного эмигранта слово «социализм» — ругательство, тем не менее нашим относительным благополучием мы обязаны немецкому рабочему и социалистическому (социал-демократическому) движению: именно оно добилось того, что со времен Бисмарка эта страна является социальным государством. Каждый работающий в Германии застрахован на случай болезни, безработицы и инвалидности, для чего производится три вида отчислений в половинном размере; другую половину выплачивает работодатель. Так как я не успел отработать необходимого минимума лет (и, следовательно, не успел накопить достаточную сумму взносов в пенсионный фонд), то, достигнув пенсионного возраста, я получаю очень маленькую пенсию. В России я работал с семнадцати лет, но эта страна, как известно, не выплачивает пособий своим бывшим гражданам. К счастью, мне выделил небольшое дополнение к пенсии фонд помощи деяте-

лям искусства и литературы при президентском совете в Бонне. Я подрабатываю тем, что пишу статьи для двух радиостанций и для немецкой прессы, езжу с литературными чтениями, лекциями или докладами, занимаюсь, как и в России, переводами. Само собой разумеется, что литература в собственном смысле слова дохода почти не приносит.

* * *

Значительно интересней вопрос, как чувствует себя за бугром выходец из бывшего Советского Союза. Ответить непросто — и потому, что все мы очень разные люди, и потому, что жизнь сложна и неописуема, и потому, что мне органически претят разговоры о родине, патриотизме, космополитизме, которые я слышал с молодых ногтей.

Человек, живущий в России, живет в России. Американец живет в Америке. Тот, кто проживает в Германии, живет в Европе. Поездки из страны в страну, возня с валютой, автомагистрали, скоростные поезда, пересекающие Европу во всех направлениях, австрийские, итальянские, швейцарские железнодорожные вагоны, газеты и журналы всех столиц, одинаково одетая молодежь, одни и те же вывески бензозаправочных станций, итальянские траттории, греческие таверны, турецкие забегаловки, китайские рестораны, бюро путешествий, где вам подберут самый дешевый маршрут и закажут номер в гостинице, — все это обычная жизнь, все это встречает вас на каждом шагу. Наследница и увеличенное подобие древней Эллады с ее крошечными городами-государствами, Европа, как и встарь, представляет собой разношерстное сообщество, и хотя след от удара топором, разрубившего континент, глубок и полон запекшейся крови, рана рано или поздно затянется; уже сейчас, приезжая в Прагу, вы почувствуете себя по-прежнему в Европе (и даже в старой Австро-Венгрии). Иначе, по-видимому, обстоит дело с барьером, отделившим Западную и Центральную Европу от России, но это другая тема.

Достаточно многолика и сама Германия с ее традицией федерализма, со следами исторически недавней раздробленности, и так же, как греки, вечно ссорившиеся между собой, никогда не забывали о своем единстве, как европейцы, вечные соперники, ощущают себя членами одной семьи, так и немецкие земли (Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, Саарская область, Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Саксония-Ангальт, просто Сак-

сония, Тюрингия, Бранденбург, Мекленбург — Передняя Померания, Шлезвиг-Гольштейн, города-земли Гамбург и Бремен) сохранили двойную самоидентификацию: каждая земля сама по себе и все — одно государство. Вместе с немецкоязычным населением Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна и некоторых других районов число европейцев, для которых немецкий является родным языком, превышает 90 миллионов. И все же, проехав сто или двести километров, вы не только замечаете, что изменился пейзаж, но и видите другую архитектуру, наталкиваетесь на другие обычаи, слышите другой диалект. Северному немцу не всегда легко понять южанина. Речь баварца отличается от диалекта жителей Кёльна не меньше, чем украинский язык от русского. Фризский и алеманский диалекты настолько далеки друг от друга и от Hochdeutsch, что их можно было бы считать отдельными языками, не говоря уж о «швицердютч», диалекте жителей немецкой Швейцарии: фильмы и репортажи из Швейцарии приходится снабжать немецкими субтитрами. Чуть ли не каждое бывшее ландграфство, герцогство или курфюршество говорит по-своему, и живущий в Германии иностранец вынужден, в сущности, осваивать два языка — литературный немецкий и местное наречие. Стоит упомянуть и о том, что Германия — срединное государство: за исключением России, у нее больше соседей, чем у любой другой страны в мире. Если, воткнув в Берлин ножку циркуля, провести на карте Европы окружность радиусом в две тысячи километров, то в нее впишется весь или почти весь континент; другими словами, Берлин — это географический центр Европы.

* * *

Говорить о национальном характере трудно, в особенности когда речь идет о большом народе, где всегда присутствует множество разнородных этнических элементов. Маленькие черноглазые женщины Верхней Баварии — вероятно, дальние потомки римских легионеров. Немцы из бывшей Средней, ныне Восточной, Германии по виду мало отличаются от славян. Долговязые светловолосые ребята с побережья — ни дать ни взять скандинавы. Немца не спутаешь ни с французом, ни тем более с итальянцем, но зато немцы могут походить на евреев, а может быть — кто знает? — и на бушменов. Говорить о характере народа трудно потому, что нужно постоянно преодолевать предрассудки и стереотипы. В сущности, национальный характер невозможно определить, скорее его можно почувствовать.

Немцы производят впечатление спокойных, внешне уравновешенных людей; немцы скорее скупы на проявление чувства, чем экспансивны, скорее стеснительны, чем откровенны, скорее нелюдимы, чем общительны, скорее мученики жизни, чем гедонисты. Немцы любят чистоту и опрятность, и их страна выглядит, как комната у хорошей хозяйки: пол вымыт, вещи на своих местах; улицы, дороги, луга, леса — все в порядке, размечено, обозначено, вы нигде не заблудитесь; но немцы могут быть и изумительно неряшливы, разболтанны, безвкусны. Немцы держат слово, что выгодно отличает их от россиян, и верны однажды принятому порядку; Тгеуе (верность) — традиционная и даже главная германская добродетель. Но, как сказал мудрец Ларошфуко, наши достоинства продолжают в наших пороках, и иметь дело с немецкой принципиальностью не всегда приятно. Немцы трудолюбивы, иногда сверх всякой меры, и, что еще важнее, умеют ценить высокую культуру труда и воспитывают ее в детях, тем не менее в стране сколько угодно лоботрясов и бездельников.

Национальный характер можно почувствовать на автостраде и за обеденным столом. Когда-то Вильгельм II произнес эффектную фразу: «Будущее Германии — на море!» Он ошибся: будущее оказалось в воздухе и на суше, на свистящих автострадах. И какой же немец не любит быстрой езды? Его ли душе... Дальше вы помните. Избалованные образцовыми дорогами и техническим совершенством своих машин, немцы ездят быстро, дерзко и весьма грубо. Если немцы склонны афишировать свою неприязнь ко всему отечественному и критикуют свой образ жизни, свою историю, свою страну жестче и безжалостней, чем кто бы то ни было за ее пределами, то этот комплекс самоуничижения, во всяком случае, не распространяется на автомобиль и автомобилизм; напротив, сверкающий автомобиль как будто компенсирует эти чувства, и за рулем гражданин Федеративной Республики чувствует себя почетным и привилегированным гражданином мира. Машина возвращает ему уверенность в себе. Он может забыть о том, что в Германии было изобретено книгопечатание, дифференциальное исчисление, открыты рентгеновские лучи и расщеплено ядро урана. Но он твердо помнит: автомобиль построен в Германии. Машина — его второе «я». Машина есть транспортная клетка его свободы...

Ровно в назначенный час, минута в минуту, автомобиль подъезжает к дому, с исключительным мастерством, змеиным маневром

водитель вклинивается в плотный ряд машин, заставивших улицу. Хлопают дверцы. Постарайтесь не опаздывать, этого требуют не только вежливость и пресловутая немецкая точность, но и практическая необходимость: хозяйка не хочет, чтобы блюда остыли. Гости переходят из гостиной в столовую. Гости стоят, ожидая, когда хозяйка укажет каждому его место за столом. Хозяева садятся на двух противоположных сторонах. Блюда по кругу передают друг другу. Хозяин разливает вино. Типичная немецкая кухня — это все знают — довольно пресная. Обед начинается с бульона с клецками или супа-пюре. Мясо и рыба обычно вареные, к ним полагается довольно скучный, хотя и разнообразный гарнир. Впрочем, в разных районах страны есть свои гастрономические пристрастия и свои названия кушаний. Потчевать гостей не принято; каждый берет себе столько, сколько хочет. Оставлять еду на тарелке не полагается. Обычай заканчивать обед сыром пришел из Франции; настоящий, то есть традиционный, немецкий обед завершается сладким блюдом: кремом или чем-нибудь в этом роде. Крепкие напитки если и употребляются, то после еды. Скванность окончательно исчезает, когда выпито положенное число бутылок божоле, золотистого мозельского или франконского, и разговор переходит на политику.

* * *

Как-то раз произошел забавный случай. В Мюнхене перед студентами университета выступал довольно именитый советский писатель. Он рассказывал о том, как писатели в СССР борются за восстановление храмов, разрушенных после революции. Желая дать понять слушателям, что это был за вандализм, он сказал: представьте себе (и показал на окна), что в этом прекрасном городе уничтожены все церкви.

Представить трудно. Между тем, о чем гость не подозревал, именно так обстояли дела в 1945 году, когда столица Виттельсбахов лежала в развалинах. И не только она. Возмездие, постигшее Германию в минувшей войне, было таково, что его можно сравнить разве только с катастрофой Тридцатилетней войны. Но тогда не было воздушных налетов. Геринг хвастал, что ни один самолет союзной авиации не проникнет в воздушное пространство рейха. К концу войны не уцелело ни одного сколько-нибудь крупного города. Гамбург, Берлин, Аахен, Эссен, Дортмунд, Дюссельдорф, Мюнстер, Майнц, Франкфурт, Кассель, Нюрнберг, Вюрцбург были разне-

сены в щепы. Дрезден погиб в одну ночь, тысяча двести гектаров руин осталось на месте красивейшего из европейских городов. Под обломками погибли, задохнулись в дыму пожаров 60 тысяч человек. Престарелый Гауптман видел зарево на небе с крыльца своего дома в Силезии.

Гуляя сегодня по старому Кёльну, вы едва ли поверите, что одна из последних военных сводок гласила: «Войска оставили поле развалин, некогда называвшееся городом Кёльном». Посреди этих развалин, словно огромная выщербленная и черная от копоти сосулька, стоял шестисотлетний собор.

Ряд обстоятельств привел к тому, что приблизительно с середины 60-х годов Западная Германия стала одним из трех экономических гигантов мира. Это значит, что общество развило невиданный динамизм.

Жизнь меняется очень быстро. Жизнь изменилась даже за те двенадцать лет, что я живу здесь. Вот две бросающиеся в глаза, хоть и совершенно различные приметы: компьютерная революция и превращение национального государства в полиэтническое общество, в страну иммигрантов. И однако традиционный уклад, отечество в бытовом и интимном смысле слова, то, что философ и семиотик Вилем Флюссер называл святилищем привычек, отнюдь не ушло в прошлое. Европейцам вообще значительно трудней поспеть за непрерывным кризисом традиций, за шумным и пестрым карнавалом перемен, чем американцам, за спиной у которых нет долгой истории. По сей день в Баварии живы реликты классического бюргерского и даже феодально-сословного общества. Можно добавить, что это единственная из немецких земель, где народный костюм — часть быта. Как встарь, облик Германии определяют маленькие города. (Деревень в русском смысле слова здесь нет.) С известной долей условности можно сказать, что эта самая высокоразвитая страна Европы — страна провинциальная.

Тот, кто живет в Германии, знает, что это страна лесов, гор, дождей и туманов, страна, постепенно спускающаяся от Альп к северному и балтийскому побережью, страна, где на юге бывает холодней, чем на севере, лунная страна, лишенная счастья принадлежать к миру Средиземноморья, страна людей, которых не вдруг поймешь, у которых мещански-трезвый, экономно-расчетливый образ жизни неожиданно сочетается с мечтательностью, самоуглубленностью, непредсказуемостью, страна романтических ландшафтов и страна музыки. Пение в хоре, игра на музыкальных инструментах есть не-

что обычное и обыденное, почти само собой разумеющееся, любовь к музыке воспитывается с детства, и знание классики, умение слушать серьезную музыку и наслаждаться музыкой — вовсе не привилегия интеллигентной элиты. При огромном числе концертных залов они никогда не пустуют. В Мюнхене на Королевской площади перед тысячной толпой устраиваются концерты на открытом воздухе. В любом городишке есть по крайней мере оркестр школьников. Музыка исполняется в церквах. Существует несчетное количество музыкальных ферейнов. Мне не раз приходилось бывать на домашних концертах, в них участвуют и любители и профессионалы; домашнее музицирование не смогли убить ни радио, ни телевидение, ни магнитофоны и компакт-диски. Не зря некоторые из знаменитых немецких романов похожи на музыкальные композиции. И если Францию и Россию принято считать литературными странами, то в немецкой культуре доминирует музыка.

Нужно прожить здесь много лет, чтобы начать — с трудом и понемногу — разбираться в здешней жизни. Не знаю, могу ли я сказать это о себе. Итак, не доверяйте рассказам людей, прокатившихся по европам, не верьте, когда вам говорят: теперь я там был и знаю что почем. Как человеку, читающему иноязычный текст, гостю трудно расставить правильные акценты. Двенадцать лет тому назад, очутившись в Германии, я испытывал чувство встречи с чем-то знакомым: вот знаменитый собор, вот часовня на холме под Тюбингеном (она была нарисована на роскошном томе Уланда, когда-то подаренном мне ко дню рождения, и я тотчас вспомнил эти стихи), вот лицо девушки в пригородном поезде, как две капли воды похожее на лицо наумбургской Уты, вот улица Шопенгауэра, вот могила Гёльдерлина, вот скала Лорелеи на излучине Рейна. Надписи, реплики прохожих, дорожные щиты с названиями прославленных городов. Это было приятно и волновало, как путешествие в призрачную юность. Это было ложное чувство. Очень скоро и достаточно грубо действительность напоминает эмигранту, что он не турист. И тогда он начинает понимать, что значит на самом деле жить в чужой стране и в пятьдесят лет начинать с нуля. Тем не менее мне понадобился не один год, чтобы отучиться смотреть на эту жизнь через литературные очки.

* * *

Поколение уехавших, к которому я принадлежу, не вправе считать свою судьбу чем-то исключительным. Sie ist die erste nicht, как

говорит Мефистофель («Она не первая»). Рядом с тремя послереволюционными русскими эмиграциями существуют или существовали и уже вошли в историю эмиграция из нацистской Германии, из франкистской Испании, рассеянные по миру колонии политических беженцев из Восточной Европы (если говорить лишь о выходцах из государств нашего континента). Наши братья по общей судьбе — это не только Бунин или Ходасевич, это также Томас Манн, Роберт Музиль, Герман Брох, Берт Брехт, Пауль Целан, это Чеслав Милош, и Милан Кундера, и Лешек Колаковский, и великое множество других, известных или неизвестных. Можно удивляться постоянству ситуаций, которые воспроизводятся в разные времена и в разных странах у людей с различной национальной и культурной идентификацией. Философ Эрнст Блох устроился в Америке мойщиком тарелок в ресторане, но был уволен с работы, так как не мог поспеть за другими посудомойками. Карл Вольфскель, поэт из кружка Стефана Георге, бежал от нацистов на седьмом десятке в Новую Зеландию, «уж сюда-то, — писал он, — они не доберутся». На его могиле в Окленде написано: «Exsul poeta» («Поэт-изгнанник»). Вальтер Беньямин пытался ускользнуть от гестапо в Пиренеи и покончил с собой на испанской границе, когда выяснилось, что его не впускают в страну. Это было в сентябре 1940 года. Случай поддается моделированию: достаточно представить себе, что было бы со всеми нами, если бы Советская Армия вместе с армией ГДР вторглась в Западную Германию. К чему это войско, между прочим, готовилось.

Но эмиграция — это не только кораблекрушение. Худшее, на мой взгляд, что ожидает беженца, — эмигрантская скорлупа, невидимое гетто, когда номинально живешь в чужой стране, а на самом деле остаешься там, дома. Такова печальная участь политизированной эмиграции из большой и отгороженной от мира страны, откуда вместе с родным языком и остатками скарба, с горделивым чувством верности отечеству перевезены националистическая затхлость, провинциальная спесь, боязнь мира и навязчивое стремление поучать мир. (Как часто мы убеждались в том, что пресловутая всемирная отзывчивость есть не более чем красивая фраза.) Между тем мир огромен и не может жить одними лишь российскими проблемами. Время идет, и люди стареют. И плесневеют идеи, и устаревают шедевры. Заключительный акт этой драмы начинается, когда бывший изгнанник принимает решение вернуться. Я ваш! — хочет он сказать. Но для оставшихся он тоже чужой.

Было бы наивно думать, что, утратив все, что привычно связано с представлением о родине, можно на другом конце жизни обрести в полном смысле слова новую родину. Но я спрашиваю себя, не изменилось ли значение слов настолько, что от прежнего смысла ничего не осталось. Эмиграция перерубила мою жизнь. Эмиграция неслышанно расширила доступный моему зрению горизонт. Эмиграция открыла для меня огромный и вольный мир. Я увидел города и континенты. Я не знаю мест волшебней Прованса и Тосканы, зрелища более захватывающего, чем Иудейская долина весной или Греческий архипелаг под крылом лайнера. Покидая Россию, я с ужасом думал о том, что окажусь в среде, где не говорят по-русски. Но писатель по своей природе существо маргинальное; писатель везде эмигрант и едва ли способен создать что-нибудь стоящее, барахтаясь в “гуще жизни”. Я не могу вернуться в страну, где я никому не нужен, где меня никто не ждет. Мое истинное отечество — это русский язык, и его у меня никто не отнимет.

Май 1994

ПИСАТЕЛЬ В ЯЗЫКЕ И ТРАДИЦИИ

Речь по случаю присуждения Русской премии (2009)

Приезжая в Москву, я слышу вокруг себя русскую речь, и она вызывает у меня двойственное чувство.

Это родной, материнский язык и в то же время не совсем родной.

Он кажется мне испорченным, но это живой, современный русский язык, и я должен признаться, что я на нём уже не говорю.

Никто, может быть, не относится к родному языку так ревниво, как писатель, ушедший в изгнание. Язык не портится, когда его хранят в холодильнике; эмиграция — это холодильник.

Проблема, однако, достаточно сложна: что значит сберечь язык, отстаивать его чистоту и неприкосновенность? Идея, не чуждая нам, как и нашим предшественникам, русским политическим эмигрантам 20-х и 30-х годов прошлого века. Их, как и нас, порой ужасал жаргон метрополии. Но язык, всякий язык, постоянно меняется, язык не может не меняться, — деградируя, одновременно развивается и на ходу меняет оттенки и знаки: то, что культурным людям сегодня кажется вульгарным, спустя одно-два поколения становится нормой. Борхес любил повторять: «Мы говорим на диалекте латинского языка». Грязный жаргон римского простонародья, язык гостей Тримальхиона, ломаная латынь провинций — предок современных высококультурных романских языков, а отнюдь не золотая латынь Цезаря и Цицерона.

И всё же, всё же... Мы не можем пересоздавать язык, который течёт мимо нас, как вечная и никому не подвластная река, между тем как мы сидим на берегу, удим рыбку или зачерпываем горстями, чтобы совершить омовение. Но ведь и твёрдый берег был когда-то текучей стихией; мы сидим на этой окаменелости

языка, голыми ступнями болтая в воде. Мы не можем по своей прихоти перекраивать язык. Но портить язык, плевать в этот поток мы можем, что и происходит каждодневно в эпоху газет и телевидения, в царстве журнализма. Остаётся лишь верить в постепенное, со временем, самоочищение языка, наподобие процесса самоочищения рек.

Награда, которой я удостоен, присуждается писателям, чьё призвание и утешение — беречь и пестовать русский язык как неотъемлемое достояние мировой культуры, и я горжусь тем, что причислен к ним. Я благодарю жюри и всех присутствующих.

ВЕТЕР ИЗГНАНИЯ

*Посвящается Юзу Алешковскому, другу и писателю,
который не принадлежит ни родине, ни чужбине,
а лишь самому себе и русской литературе*

I

С тех пор, как существует цивилизация, существует эмиграция, с тех пор, как существуют рубежи, существует зарубежная литература. Основоположником русского литературного рассеяния можно считать князя Андрея Курбского, но генеалогия изгнанной литературы много старше. Поистине у литературного эмигранта есть право гордиться древностью своей участи. Череда предков за его спиной уходит в невообразимую даль. На берегу Понта его тень греется у огня рядом с Назоном. Вместе с Данте в чужой Равенне не он ли испытывал злобную радость, заталкивая папу Бонифация в ад? Столетия мало что изменили в его судьбе. Что такое отечество? Место, где ты не будешь похоронен. Александр Герцен покоится на кладбище в Ницце за три тысячи вёрст от Москвы. Бежавший от нацистов немецкий поэт Карл Вольфскель писал из Новой Зеландии друзьям: «Сюда-то уж они не доберутся». Он лежит на окраине Окленда, под камнем с надписью *Exsul poeta*, «поэт-изгнанник». На могиле Иосифа Бродского, на острове-погосте Сан-Микеле в Венецианской лагуне написано только имя.

Ура, мы свободны!

«Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключённый, как больной. Темна твоя дорога, странник. Полынью пахнет хлеб чужой». Это реминисценция Данте, это у него сказано о горьком хлебе чужбины (*lo pane altrui*). Предполагается, что дома хлеб сладок. Как бы не так. Ахматова не могла признаться себе, что она эмигрант в собственном отечестве.

II

Слово *exsilium*, изгнание, вошедшее в новые языки, встречается у авторов I века и спустя два тысячелетия означает всё то же. Изгнать, значит прогнать насовсем, чтобы духу твоего не было. Изгнанный умирает для тех, кто остался и самим этим фактом как бы приложил руку к его изгнанию. Так было со всеми; и с нами, разумеется. Между тем мы не умерли. Прошли годы, кое-что изменилось, и о нас вспомнили на бывшей родине, чтобы торжественно объявить нам, что мы, беглецы и беженцы, принадлежим прошлому: граница стала проницаемой, эмиграция утратила свой резон, дорога «домой» открыта.

Но изгнание — это пожизненное клеймо, бывают такие неустраняемые стигматы. Изгнание, если угодно, — экзистенциальная категория. Можно объявить его недействительным, сделать его нерелевантным невозможно.

Византийская пословица гласит: когда волк состарился, он издаёт законы. Разве мы не византийцы? Мы слишком хорошо знаем эту страну. В новом обличье она кажется нам прежний оскал.

Мы жили в век полицейской цивилизации. Её памятники обступают каждого, кто приезжает в Москву; только ли памятники? Но даже если бы их больше не было в помине. Даже если бы гигантская опухоль в центре столицы была вырезана, если бы вместе с комплексом зданий тайной полиции была снесена вся многоэтажная хранилища коррупции, дикости, привычного измывательства и произвола, — возвращение оказалось бы для изгнанника новой эмиграцией. С него хватит одной.

III

Разумеется, это человек прошлого. Все часы остановились в тот день, когда он уехал. Родина, как лицо умершей женщины на фотографии, стоит перед его глазами, какой он видел её в последний раз. Он не в состоянии поверить, что на самом деле она жива, и снова замужем, и рождает детей, и даже чего-то достигла в жизни.

Всё его существо — сознаёт он это или нет — противится предположению, что «у них там» может выйти что-то путное. Не оттого что он кипит ненавистью к оставленной родине, отнюдь нет; но по-

тому, что он так устроен. Это не должно удивлять. Это можно было легко заметить у эмигрантов первого послереволюционного призыва: будущее, на которое они так упорно возлагали свои надежды, было не что иное, как прошлое. Они грезили о стране, которой на самом деле давно не было; а та страна, которая продолжалась, казалась им безнадёжной. Солдат, раненный в деле, считает его проигранным, сказано у Толстого. Эмиграция пожимает плечами, когда слышит об успехах отечества, не потому, что она желает ему зла, а потому, что она так устроена, потому что обременена памятью и живёт этой памятью.

С изгнанием ничего не поделаешь, изгнание — это отъезд навсегда. Билет в одну сторону, побег с концами. Вынырнуть ночью за бортом, вылезти из подкопа по ту сторону тына, вышек с прожекторами, штрафных полос и проволочных заграждений; уйти в небытие, в потусторонний мир, или, лучше сказать, уйти из потустороннего мира в широкий мир, из рабской зарешечённой страны — на волю.

IV

За эту удачу нужно было платить. В сущности, за неё надо было расплатиться всей прожитой жизнью. Государство, наградившее беженца пинком в зад, вместо того, чтобы расправиться с ним, как оно привыкло расправляться с каждым, в ком подозревало хотя бы тень несогласия, — не довольствовалось тем, что ограбило его до нитки, отняло все его права, его достоинство и достояние. Нужно было истребить его прошлое, зачеркнуть всё, что он сделал, выскоблить всякую память о нём. Отныне его имя никогда не будет произноситься. Всё, что он написал, подлежит изъятию. Его не только нет, его никогда не было.

Зато никуда не денется, никогда не пропадёт его пухлое дело с грифом «Хранить вечно». Зубастая пасть хранит память об ускользнувшей добыче. Авось когда-нибудь ещё удастся его сцапать.

Между тем изгнанник увозит, вместо имущества и «корней», нечто бесценное и неискоренимое. В камере для обысков в аэропорту Шереметьево-2, в последние минуты, его раздевают, как водится, догола, но самого главного не находят. Волчьи челюсти щёлкают, лова пустоту. Невидимая валюта, то неуловимое, что он захватил с собой, — это язык.

Язык! Неотчуждаемое богатство, крылья, которые вырастают у сброшенного со скалы, язык, не напрасно названный жилищем бытия. Язык возрождается в каждом из нас и переживёт всех нас, и через голову современников и правителей свяжет нас с традицией. Никто не относится к языку так ревниво, никто так не страдает от надругательства над языком, как эмигрант. Гейне назвал Библию портативным отечеством вечно скитающегося народа. Единственное и неистребимое отечество, которое изгнанник унёс с собой, — язык.

V

Но ведь там, где он бросил якорь, всё называется по-другому, и даже если ему не чужд язык приютившей его страны, он тотчас заметит, что и думают здесь по-другому. Его язык — так, по крайней мере, ему кажется — непереводим. Благословение писателя-эмигранта, родная речь, — это вместе с тем и его тюрьма. Не сразу доходит до него, что он притащил с собой свою собственную клетку. Любой язык представляет собой замкнутый контур мышления, но русский изгнанник затворён вдвойне, он прибыл из закрытой страны, из гигантской провинции; самая ткань его языка пропахла затхлостью и неволей.

Власть воспоминаний, привычки и повадки, привезённые с собой, мешают ему спокойно и с достоинством вступить в новый мир; то, что называется культурным шоком, есть психологический или скорее психопатологический комплекс растерянности, неуверенности, ущемлённого самолюбия и страха признаться самому себе, что ты не понимаешь, куда ты попал. Счастье обретения свободы, то необыкновенное, неслыханное счастье, от которого рвётся грудь и о котором не имеют представления те, кто остался, — обернулось разочарованием. Душевная несовместимость становится причиной смешных и печальных faux pas, спотыканий, осечек.

О них отчасти могут дать представление первые пробы пера на чужбине и даже обыкновенные письма родным. Отчёт новосёла о жизни в другой стране — документация недоразумений. Вопреки распространённому мнению, первые впечатления ошибочны. Девять десятых того, что было написано и поспешно опубликовано русскими беженцами вскоре после прибытия в Европу или Америку, подтверждают это. «Свежий глаз» наблюдает поверхность, ничего

не зная о том, что под ней, он не может отрешиться от стереотипов, от иллюзий и предубеждений, он не столько наблюдает, сколько ищет в увиденном подтверждение чему-то затверженному, когда-то услышанному, где-то вычитанному; свежий глаз на самом деле совсем не свежий и невольно искажает пропорции, преувеличивает значение второстепенного и побочного, не замечает главного.

VI

Знание языка не ограничивается умением понять, о чём говорят; скорее это умение понять то, о чём умалчивают. Настоящее знание языка — это знание субтекста жизни. Неумение понять окружающих, а ещё больше непонимание того, о чём они *не* говорят, что, разумеется, само собой, превращает новичка в инвалида. Сочувствуя ему, с ним невольно обходятся как с несмышленищем. Простой народ принимает его за слабоумного.

Но и самые скромные познания в языке — роскошь для подавляющего большинства русских эмигрантов, не исключая интеллигентов. О писателях нечего и говорить. Вот одно из следствий жизни в закрытой стране. Горе безъязыкому! Он как глухонемой среди шумной толпы, как зритель кино, где выключился звук. Что происходит? Действующие лица смеются, бранятся, жестикулируют. Он глядит на них, как потерпевший кораблекрушение — на островитян. Как письмо из клочков бумаги, он тщится сложить смысл из разрозненных, с трудом пойманных налету слов. Когда же мало помалу он овладевает туземным наречием, многое, о, сколь многое остаётся для него зашифрованным, невнятным, неизвестным; научившись кое-как читать текст жизни, он не знает контекста.

Но он — писатель и помнит о том, что искусство гораздо больше интересуется вытесненным, нежели разрешённым, скрытым, чем явным, подразумеваемым, чем произносимым. Он писатель и может писать только о том, что знает досконально. Это знание ему не приходится добывать. У него открытый счёт в банке памяти, и он может брать с него сколько захочет. Вот почему литература изгнанников обращена к прошлому, к тому, что оставили, как конники князя Игоря, за холмом.

VII

Эмигрант переполнен своим прошлым. Он должен его переварить. Условия самые подходящие: переваривание начинается, когда

процесс еды в собственном смысле закончен — когда перестают жить прежней жизнью. Забутгорная словесность чаще всего не ищет новых тем. И когда она «возвращается», то кажется многим на родине устарелой. При этом не замечают, что она создала и освоила нечто, может быть, более важное: новое зрение.

Люди, ослеплённые предрассудками или оболваненные пропагандой, думают, что изгнание обрекает пишущего на немощь. Власть, приговорившая литератора к остракизму, преуспела вдвойне, заткнув ему глотку на родине и выдворив его на чужбину. Теперь он окончательно задохнётся. Кому он там нужен? Вырванный из родной почвы, он повиснет в воздухе. Так ей кажется. И она радостно потирает руки. Свои грязные волосатые руки, где под ногтями засохла кровь.

Между тем ботанические метафоры более или менее ложны. Они были ложны и сто лет назад. Потому что литература — сама себе почва. Литература живёт не столько соками жизни, сколько воспоминаниями: память — её питательный гумус. Искусство бездомно и ночует в подвалах: в подземелье памяти.

Если труд и талант составляют две половины творчества, то память — его третья половина. Когда независимость влечёт за собой кару, когда писательство, не желающее служить кому бы то ни было, объявляется государственным преступлением, когда родина, а не чужбина приговаривает писателя к молчанию и ставит его перед выбором: изменить себе или «изменить родине», — тогда эмиграция предстаёт перед ним как единственная возможность отстоять своё достоинство. Тогда изгнание — единственный способ сохранить верность литературе. Эмигранту — и это тоже часть традиции — присуще непомерное самомнение. Он утверждает, что он «не в изгнании, а в послании». С неслыханной заносчивостью он повторяет слова, приписываемые другому изгнаннику — Томасу Манну: «*Wo ich bin, ist der deutsche Geist*».

Где я, думает он, там торжествует свободное слово, там русский язык и русская культура.

VIII

Он уверен, что настоящая литература не страдает от дистанции, наоборот, нуждается в дистанции — и во времени, и в пространстве. Литература жива не тем, что видит у себя за окошком, — в против-

ном случае она вянет, как только спускается вечер, и на другой день о ней уже никто не вспомнит, — но жива тем, что стоит перед мысленным взором писателя, на экране его мозга: это просто «осознанное» (воплощённое в слове) сознание. Литература питается не настоящим, а пережитым, она не что иное, как *praesens praeteriti*, сегодняшняя жизнь того, что уже миновало. Литература — дело медленное: дерево посреди кустарников публицистики. Литература, говорит он себе, является поздно и как бы издалека.

Мы не совершим открытие, указав на главный парадокс ускользнувшей, очнувшейся на другом берегу словесности.

Это — творчество подчас в самых неблагоприятных условиях, так что диву даёшься, как оно может вообще продолжаться. Самое существование эмигрантской литературы есть нонсенс. Нужно быть сумасшедшим, чтобы годами предаваться этому занятию, нужно обладать египетским терпением и фанатической верой в своё дело, чтобы всё ещё корпеть над своими бумагами, всё ещё писать — в безвестности и заброшенности, без читателей, без сочувственного круга, посреди всеобщей глухоты, в разрежённом пространстве. Никто вокруг не знает языка, на котором пишет изгнанник (*unus in hoc nemo est populo*, жалуется Овидий, ни одного человека среди этого народа, кто сказал бы словечко по-латыни!). Если его страна и возбуждает у окружающих некоторый интерес, то это интерес чаще всего политический, а не тот, который может удовлетворить художественная словесность; обыкновенно от такого автора ждут лишь подтверждений того, о чём уже сообщили газета и телевизор. Безнадёжная ситуация. И вместе с тем — вместе с тем это писательство, которому жизнь в другой стране предоставляет новый и неожиданный шанс.

IX

Выбрав удел политического беженца и отщепенца, писатель лишился всего. Чёрт возьми, тем лучше! Он одинок и свободен, как никто никогда не был свободен там, на его родине. Пускай он не решается описывать мир, в котором он оказался, который ему предстоит осваивать, может быть, всю оставшуюся жизнь. Зато он живёт в мире, который прибавляет к его внутреннему миру целое новое измерение, независимо от того, удалось ли в него вжиться. Нет, я не думаю, что век национальных литератур миновал, как миновал век на-

циональной музыки и национальной живописи. Но литература, увязшая в «национальном», обречена, это литература провинциальных углов и деревенских околиц. Жизнь на чужбине обрекает писателя на отшельничество, — что из того? Зато он видит мир. Ветер Атлантики треплет его волосы. Зато эта жизнь, огромная, необычайно сложная, несущаяся вперёд, оплодотворяет его воображение новым знанием, наделяет новым зрением, новым и неслыханным опытом. Об этом опыте не догадываются те, кто «остался». Недаром встречи с приезжими соотечественниками так часто оставляют у него чувство обиды с людьми, которым как будто не хватает одного глаза.

Расстояние имеет свои преимущества, о них хорошо знали классики. Гоголь в Риме, Тургенев в Париже, Достоевский, создавший в Дрездене едва ли не лучший из своих романов, — нужны ли ещё примеры? Взгляду из прекрасного далёка открывается доселе неведомый горизонт.

Х

Оставив злое отечество, писатель-эмигрант хранит ему верность в своих сочинениях, но не ностальгия, а память движет его пером. Да, он по-своему верен отечеству, только это такое отечество, которого уже нет. (Может быть, никогда и не было.) В этом, собственно, простое объяснение, почему эмигранты обыкновенно воспринимаются как «бывшие». Надтреснутые чашки, как выразился о немецких эмигрантах Эрих Носсак. Изгнанники производят впечатление инвалидов истории. Так оно и есть. Только подчас эти инвалиды шагают вперёд бодрее других. Во всяком случае, упреки в том, что они «оторвались», совершенно справедливы.

Действие «Улисса» приурочено к июньскому дню 1904 года, книга пишется во время первой Мировой войны. Величайший исторический катаклизм сотрясает Европу — а чудак корпит над сагой о временах, теперь уже чуть ли не допотопных. «Человек без свойств» создаётся в межвоенные годы и годы второй Мировой войны, а в огромном романе не наступила ещё и первая; действие происходит в государстве, которого давно нет на карте. «Доктор Фаустус» начат 23 мая 1943 г., бомбы сыплются на Германию, но роман и его герой, разговоры, споры, события — всё это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Ничего не осталось от старой России, о которой пишет Бунин, — пишет, как в забыты, ничего не видя вокруг.

Эмигрантская проза, как жена Лота, не в силах отвести взгляд от прошлого. Парадокс, однако, в том, что прошлое может оказаться долговечнее настоящего. У прошлого может быть будущее — настоящее же, как ему и положено, станет прошлым.

XI

Лозунг Джойса: *exile, silence, cunning*. В несколько вольном переводе — изгнание, молчание, мастерство. Превосходная программа, если есть на что жить. Автор «Улисса» сидит в Триесте по уши в долгах. Роберт Музиль в Швейцарии сочиняет воззвание о помощи: нечем платить за квартиру, не на что жить. Жалкая нищета российской «первой волны» — общеизвестный сюжет. Вопрос, который задаёт себе писатель-изгнанник, есть, собственно, вопрос, который рано или поздно встаёт перед каждым пишущим, только в нашем случае он приобретает драстический характер: кто его затащил на эту галерею? Почему, зачем и для кого он пишет? Вопрос, на который нет ответа.

*Ergo quod vivo durisque laboribus obsto,
Nec me sollicitae taedia lucis habent,
Gratia, Musa, tibi! nam tu solacia praebes,
Tu curae requies, tu medicina venis.
Tu dux et comes es...*¹

То, что делает проблематичным любое писательство и вдвойне сомнительным — писательство в изгнании, есть именно то, что делает его необходимым; воистину мы околели бы с тоски, когда бы не «муза». Чем бессмысленней и безнадежней литературное сочинительство, тем больше оно находит оснований в самом себе. И можно спросить — или это всё та же заносчивость отщепенцев? — можно поставить вопрос с ног на голову: не есть ли эмиграция идеальная модель творчества, идеальная ситуация для писателя?

¹ Итак, за то, что я жив, за то, что справляюсь с тяжкими невзгодами, с докучливой суетой каждого дня, за то, что не сдаюсь, — тебе спасибо, муза! Ты утешаешь меня, ты приходишь как отдохновение от забот, как целительница. Ты вожатый и спутник... — *Овидий*.

ХИ

Всевозможные эмигрантские исповеди оставляют впечатление тяжёлого невроза. Но это вовсе не общий удел. На самом деле эмиграция — это, знаете ли, большая удача. Это значит не петь в унисон, не шагать в ногу; не кланяться ни режиму, ни народу, не принадлежать никому. Хорошо быть ничьим. Что такое отечество? Место, где ты не будешь похоронен. Умерший в эмиграции публицист и поэт Илья Рубин писал:

Над нами небо — голубым горбом,
За нами память — соляным столбом,
Горит, объятый пламенем, Содом,
Наш нелюбимый, наш родимый дом.

Хорошо быть чужим. Умереть, зная, что «там» по тебе никто не заплачет. Дом сгорел, возвращаться некуда, разве только в тот вечный приют, где есть место для всех нас: в русскую литературу.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ЗА ОГНЕННУЮ РЕКУ

Теперь ты в тех садах за огненной рекой...

Вл. Ходасевич

Tief ist der Brunnen der Vergangenheit¹.

Th. Mann

Прошлое — это бездонный колодец, говорит Томас Манн, вычерпать его бессильна человеческая память. Прошлое, наше собственное прошлое, стоит за каждым из нас, и у каждого есть своя античность, своё Средневековье, своё Новое время. Этот колодец достаточно глубок, чтобы, склонившись над ним, почувствовать головокружение.

1

О своих предках я ничего не знаю. Известно только одно, что они были земледельцы и пастухи, после многих скитаний, потеряв свою землю, стада и богатства, они рассеялись по египетскому, греческому и романскому Средиземноморью, пережили Персидское царство и Халифат, расселились в Священной Римской империи. Гонимые отовсюду, подались на славянский восток. В конце концов, после третьего дележа Польши, они стали добычей хищного двуглавого орла. Тысячелетия приучили их глядеться в мёртвые воды колодца, называемого историей, и видеть там своё отражение. Так они прибыли в в новый Ханаан — Россию. Ум, не изверившийся в историческом разуме, нашёл бы такой финал провиденциальным.

2

Зовусь я Геннадий Моисеевич Файбусович. Моё паспортное имя Героним представляет собой гибрид греческого Иероним и древне-

¹ Прошлое — колодец глубины несказанной. Т. Манн, *перев. С. Анта.*

еврейского Грейнем — имени моего деда. Что касается псевдонима Борис Хазанов, его подарил мне ради конспирации редактор подпольного машинописного журнала; предполагалось, что тайная полиция не станет разыскивать реального носителя этого имени. Незвестный мне инженер Б. Хазанов не имел отношения к диссидентскому движению. Говорят, он уехал в Америку. Конспирация не помогла, псевдоним был разоблачён. С тех пор — дело происходило в 70-х годах — он украшает мои сочинения.

3

Первоначальные годы моей жизни прошли в обеих столицах России, под стук её двух сердец. Но ближайшие мои предки не были горожанами. Мой отец происходил из городка Новозыбков Брянской губернии в черте оседлости, зато родиной матери был настоящий город — белорусский Гомель. Я рождён и вырос в русском языке. Язык, — а не страна, чья глухонемая, каменная враждебность встречала и провожала меня всю жизнь, — моё единственное и неменяемое отечество. Смутно помню, как моя мама учила меня правильному произношению, например, как надо выговаривать звук «л», повторяя: ложка, лошадь, — а я говорил уошадь. Это было уже после того, как мы переехали в 1930 году в Москву из Ленинграда, где 27-летняя мама, пианистка, и 28-летний отец, служащий, жили на углу Невского проспекта и Фонтанки; там я провёл первые два года. Дома этого не существует, в него попал артиллерийский снаряд во время ленинградской блокады.

4

Итак, Москва... Выйдя из гостиницы на шумной и тесной, с детства памятной улице, где когда-то находилась церковь Покрова Богородицы, откуда и название улицы, я перешёл на другую сторону в толпе, едва успевшей пробиться сквозь лавину машин, изрыгающих газ и смерть. Далее, повернув налево, обогнул здание, где когда-то помещался рыбный магазин, славившийся своим аквариумом, и дошёл до всё ещё сохранившейся бульварной ограды. Это были Чистые Пруды, то есть, собственно, один пруд, где однажды пятилетним ребёнком, науськиваемый бесом приключений, я провалился под лёд. Чистопрудный бульвар, тот самый, где миниатюрные китайки с цветами в чёрных волосах продавали набитые опилками мячики на резинках — московский раскидай, знай-подкидывай-

кидай, бумажные вертушки и «уди-уди». Здесь соблазняли рубиново-красными петушками на палочках для облизывания. Здесь мороженщик в белом фартуке выгребал алюминиевой ложкой из запотевшего цилиндра сливочное мороженое, накладывал в форму и накрывал вафельным кружком с выдавленным именем покупателя, здесь величественный верблюд, ведомый погонщиком, шагал по кругу с двумя корзинами меж мохнатых горбов, из корзины, как грибы в лукошках, высовывались головы детей. Сильные руки подхватывали меня под мышки, выхватывали из корзины и ставили на землю. Отсюда, вспомнив и позабыв всё на свете, я поплёлся по ближним переулкам, некрополю детства, украдкой поглядывая на прохожих, словно восставших из могил.

5

Оставив бывший бульвар, я углубился в узкий и безлюдный, некогда казавшийся длиннющим Большой Харитоньевский переулок, опять-таки наименованный в честь малоазийского мученика Харитона, чья церковь, обречённая сносу, взлетела на воздух ещё на моей памяти. Так я достиг, сходя в пока ещё неглубокую шахту времени, Малого Харитоньевского и Фурманного. Тут, если двигаться по направлению к Садовому кольцу, два шага остаётся до ближайшей цели.

6

Юсуповский сад! Называть ли по-прежнему садом клочок земли, осенённый старыми клёнами, где мы подбирали жёлтые клеёчатые листья, прыгали на одной ножке по широким полуразрушенным ступеням парадной лестницы и взбирались на эспланаду перед диковинным, под шахматной кровлей, дворцом потомка татарских мурз? Но довольно — разбуженное время тянет к себе, тащит назад за собою, вдоль высокой, узорной, в чугунных листьях решётки сада за угол, — путь, которому мы плелись следом за Эрной Эдуардовной, строгой белокурой дамой в голубых букольниках, взявшись за руки, парами, болтая по-немецки, потому что по-русски разговаривать было запрещено.

7

Отсюда по Большому Козловскому, по правую руку (внимание!), поднимается, всплывает из мистического тумана четырёх —

или трёхэтажный дом № 3/2. Окна в кирпичном обрамлении напоминали юному филателисту почтовые марки с зубцами. Перед подъездом, на табуретке, на солнышке сидит лысый пергаментный дед Старый Сусел, муж жилички Раисы Григорьевны Козловской, светливой, вечно озабоченной женщины с лицом как мордочка грызуна, чему она обязана своим прозвищем Суслик. Супруги обитали в большой комнате на первом этаже, куда сперва мы вселились после переезда в Москву в 1932 году; помню я и эту комнату. Помню, как однажды моя мать выбежала в страхе, в одной рубашке, — она всегда лежала в постели — в коридор, когда я открыл дверь смуглой огненноглазой тётке в пёстрых юбках, с блестящими смоляными волосами, — считалось, что цыганки крадут детей.

8

Весной 34-го в Басманной больнице от болезни сердца умерла тридцати трёх лет от роду моя мама. От неё остались пианино и кипа нот. С тех пор она лежала в нише колумбария Старого Донского кладбища, за мраморной дощечкой с медальоном и надписью «...от скорбящих мужа и сына». Меня воспитывала, как Ходасевича, простая женщина, русская крестьянка Анастасия Крылова. Года через полтора-два после смерти матери папа обменял большую комнату на две поменьше в коммунальной квартире номер 9, в угловой части дома. Два наших окна — мимо них я сейчас прохожу — выходят в Козловский, третье, поменьше, заглядывает во двор, а подъезд, так называемое парадное, — это уже Боярский переулок, 2. Невдалеке течёт Мясницкая, после убийства Кирова переименованная в улицу Кирова, а на продолжении Боярского, мимо Красных Ворот грохочет Садовое кольцо, Давно уже в нашем городе нет ни тех садов, ни ворот. Зато появилась новооткрытая станция метро.

9

В комнатах были высокие потолки, широкие подоконники. Взобравшись с ногами на подоконник, я видел многое. Сквер напротив наших окон, рядом с особняком чехословацкого посольства, исчез, дощатый забор отгородил новостройку. Я знал грамоту с четырёх лет и читал надпись крупными буквами: XVI ОКТЯБРЬ. Это было строительство метрополитена — будущая станция Крас-

ные Ворота глубиной в тридцать пять, если не ошибаюсь, метров. Однажды я увидел, как лестница с рабочим. прислонённая к корпусу шахты, поехала, но, к счастью, остановилась, зацепившись за что-то. Видел, несколько лет спустя, на углу противоположного здания намокший от дождя плакат: Клим Ворошило в сером щлеме времён Гражданской войны, с винтовкой, на которую насажен ножевой штык, и нарком Ежов в фуражке с красной звездочкой и в ежовых рукавицах.

10

Флобер называет себя в одном письме вдовцом своей юности (*veuf de ma jeunesse*), а я бы мог сказать, оказавшись перед домом в Большом Козловском, что чувствую себя сиротой своего детства. Все эти места то и дело встречаются в моих сочинениях, не говоря уже о доме — он стал Валгаллой моей писательской мифологии. В его недрах, в перенаселённых коммунальных квартирах, на этажах и лестницах, во дворе и в переулке происходит действие в моих романах, повестях и рассказах. Во двор заходят бродячие музыканты и прорицатели, хулиганье приводит одноногого пса, собиратель съедобных отбросов, живое свидетельство растущего благосостояния — иначе не было бы отбросов — роется в мусорном ящике, здесь демонстрирует свою отвагу перед девочкой-одногодкой, кувыркаясь на перекладине, пожарной лестницы, счастливый соперник повествователя в романе «Взгляни на иероглиф», из ворот выбегает навстречу сновидцу в рассказе «Пардес» другая ровесница, на ступеньках чёрной лестницы ведёт с автором уклончивый разговор девочка татарка, детская любовь; дом бытийствует в дальней вечности воспоминаний вместе с толпой обитателей — людей и животных, которых он приютил.

11

Моя переводчица Аннелоре Ничке истолковала дом в романе «Нагльфар в океане времён» как трёхъярусную, наподобие средневековой, модель мира. Высоко под небом, на чердаке, прячется 13-летняя дочь убитого в Тридцать седьмом и, следовательно, никогда не существовавшего отца. В подвале, как в преисподней, обитает её еврейский дед — каббалист, между верхом и низом — этажи, там ютятся в затхлых полутёмных квартирах, карабкается по грязным лестницам человечество жильцов.

12

Дом подобен — таково, по-видимому, толкование автора — Нагльфару, кораблю-призраку из Младшей Эдды, построенному из ногтей мертвецов. Однажды он сорвётся с якоря, и наступит конец света. Это близящийся конец тридцатых годов, мёртвое время — промежуток между Большим террором и началом великой войны. Население дома затаилось в суеверном предчувствии новых событий, царствует мёртвая тишина, провал истории. Окончательно обесценилась революционная романтика, выцвели пурпурные, цвета жертвенной крови знамёна, износились идеалы, светлое будущее не состоялось. И только девочка-хулиганка (у которой был прототип), изнурённая физически и морально начинающимся созреванием, садистически-жестокая, наглая и отважная, всё ещё не умерший дух революции, возмущает тишину и хилый порядок, навстречу неосознанному ожиданию, когда грянет гром, развеется духота и всколыхнётся безжизненная жизнь — грядёт конец света, исландский Рагнарёк.

13

Труп лежит на асфальтированном дворе. Неизвестно, отчего сверзился с высоты Анаголий Бахтарев, пассажир корабля мертвецов, люмпен-интеллигент и крестьянский сын, неприкаянный красавец-пустоцвет, каких так часто встречаем мы на Руси: то ли он выпал из чердачного окна, поскользнувшись на покато́й крыше, то ли покончил с собой, не сумев овладеть отдавшейся ему влюблённой девочкой, то ли она сама столкнула его в пропасть. Сын страны и эпохи, воплощение всеобщего, бессилия и неустройства

14

А всё-таки до чего забавная история: московская география, некрополь эпохи, улицы и закоулки, по которым, пусть мысленно, я скитаюсь, — всё это — не что иное как моя литература. Блуждая по местам детства, как по музейным залам или аллеям погоста, я как будто листаю свои книги; люди, о которых я вспоминаю, пёстрая компания действующих лиц, не существуют, хоть я и слышу их голоса. Они воскресли в столбцах печатного текста. А вместе с тем я не могу себя разуверить в абсурдном убеждении, что и улицы, и дома, и дворы, и подъезды — были, были, всё это сооружено с целью стать материалом литературы, единственно ради того, чтобы

некий сочинитель историй заселил их, наполнил смехом, говором, кашлем стариков, плачем детей, женской перебранкой: не будь меня, ничего бы этого не существовало.

15

И вот я стою у подъезда в Боярском переулке, — собственно, это не подъезд, а обыкновенный вход, — перед ним ожидает автомобиль с тёмными стёклами и погасшими фарами, на дворе ночь, всё кругом спит, я схожу по ступеням, истоптанным столькими поколениями, двое в фуражках, ночной лейтенант и ещё некто, ведут меня под руки, но на самом деле это не я, а тот, кто говорит о себе: я, персонаж романа «Антивремя», потому что дело происходит не тогда, не в прошедшем, обыденном времени, где царит и распоряжается всем слепой безрассудный случай, а в летящем навстречу божественном антивремени предопределения и смысла.

И квартира № 9, где его, то есть меня, подняли с постели, не та квартира родителей, а другая, хоть и похожая на неё: в коридоре вторая дверь направо, в комнатке, увешанной старорежимными фотографиями, проживает старушка, бывшая дворянка Анна Яковлевна Тарнкаше, которая говорит с мальчиком по-французски, видит сны, не отличимые от яви, от навеки ушедшей действительности, да и живёт, по сути дела, в вечности, — это та самая, вчерашняя вечность, так называется другой роман. Сам же он, я и не я, из другого сочинения, живу за соседней дверью с отцом и похожей на монахиню домработницей Полиной. Ночь, весь дом погружён в небытие, только старый еврейский Бог, опекун и покровитель детства, сидит у входа, как у ворот Рима прокажённый нищий, это Мессия — кого он ждёт? Тебя.

Ночь. Спит уставшая за день Полина в своей комнатёнке за ситцевой занавеской и видит родную деревню, ночную реку и святого, который дарит ей лёгкую смерть в награду за то, что она перевезла его на другой берег.

Но довольно, удержимся от соблазна дальнейшего нисхождения. Сказано: *vita somnium breve*, жизнь есть краткий сон; счастлив тот, для кого сей сон называется литературой. Но в конце концов смысл и оправдание этих заметок, не правда ли, состояли в том, чтобы откопать в яме прошлого что-нибудь стоящее, — отчего бы не попробовать?

ОДИССЕЯ ПОЗНАНИЯ МИРА: МАЛЬЧИКИ

I

В жизни подростка бывает время, когда он испытывает тягу к универсализму: он хочет объять всё. Расставшись с античностью детства, он оставляет позади себя собственное Средневековье, и для него начинается Новое время — XVI век. Как доктор Фауст, он вперяется в магический знак Макрокосма и прозревает таинственную связь Знака и Означаемого. Авантюрист духа, в своём учёном одиночестве он грезит о пансофии — мечте своих предшественников об универсальном знании.

Он строит отважные проекты. Он должен прочесть все книги; он увлечён космологией и астрономией, хочет открыть новую планету, сочиняет научные трактаты, задумывает грандиозную поэму о судьбах человечества, чувствует себя современником всех эпох и гражданином мира. Он в самом деле одинок, у него нет товарищей, близкие его не понимают, он отстал от сверстников, успевших кое-что узнать о реальной жизни, между тем как сам он давно их перерос умственно и духовно. Не успев начать жить как все, он покинул свою среду, в сущности, убежал из своего времени.

II

Вот оно! Исчезнуть окончательно. В былые времена подростки убегали в Америку. Муза дальних странствий посетила и его. Его осенила блестящая мысль. Он подчищает метрическое свидетельство, чтобы прибавить себе лет — и бежать. Куда? От книг и философских грёз за дальние горизонты, в настоящую, манящую жизнь.

Иностраннный легион! Там, в зеленеющей африканской саванне, мы должны были оказаться в маршевом полку легиона. Ведь и я, — не сказать ли об этом прямо? — был когда-то этим подростком

и, отложив до времени учёные занятия, вознамерился записаться в знаменитую рать — «единственное подразделение французской армии, на трёхцветном знамени которого отсутствует слово «родина». Так говорилось в уставе легиона — головокружительные слова! Мне было четырнадцать лет. Приближались дни великих решений. Но пора остановиться — это было лишь вступление.

III

Хорошо помню другой день — дымно-белую морозную зиму за обледенелым окном пригородной электрички, проехавшие мимо щиты с названием остановки. Сойдя на платформу, я спустился, перешёл на другую сторону пути. Нахлобучил ушанку и двинулся, изрыгая пар, к новым многоэтажным корпусам научного городка, воздвигнутым посреди подмосковного захолустья, — примечательное знамение времени, тех дней, когда наука, особенно атомная физика, вошла в моду и содружество учёных предстало зрителям нашумевшего фильма «Девять дней одного года» как некая автономная республика свободной мысли; наукоград был одной из её столиц.

Я не имел отношения к этим новациям, паломничество было предпринято, когда, окончив медицинскую аспирантуру, защитив диссертацию, я остался без работы с дипломом кандидата наук. Положение осложняла моя государственная неполноценность, документированная неблагозвучной фамилией — принадлежностью к этнической группе, которую надлежало, согласно предписаниям власти, всемерно ограничивать. Научный городок считался очагом либерализма. Мне посоветовали навестить профессора X, набиравшего персонал для новой лаборатории. Отыскав здание с нужной цифрой и буквой, совершенно окоченевший, не чуя под собою залубневших ступней, я втиснулся в кабину лифта и достиг чуть ли не тридцатого этажа. Позвонил. Мой будущий шеф обитал в просторной, тёплой и уютной квартире.

Шефа не оказалось дома. Меня впустила и приняла от меня пальто женщина в домашнем фартуке, с полотенцем в руках, кухарка или горничная. Я что-то бормотал в своё оправдание. Я оказался в мире привилегий, где можно было проживать в многокомнатной квартире, получать продовольственные пайки, пользоваться услугами персонала и путешествовать за границу. Действительно, про-

фессор отбыл, как выяснилось, на конференцию по звёздным агломерациям. Какая лаборатория, и зачем ему врач? О таинственной конференции мне сообщил подросток, поспешно вышедший в коридор, где я переминался с ноги на ногу, живо представляя себе тяготы обратного пути. Экономка предложила мне погреться возле газовой плиты.

IV

Путешественник сидел в расстёгнутом пальто, без шапки, сняв ботинки, шевеля большими пальцами ног. И, собственно, на этом пора было закончиться визиту и отправиться восвояси несолоно хлебавши. Но тут мальчик, сын или внук, заглянул в кухню. Я спросил, что такое агломерация звёзд, и позавидовал ему, получив приглашение следовать за ним: никогда в жизни у меня не было своей комнаты. Мой вопрос, однако, повысил мои акции, во мне увидели достойного слушателя и собеседника. Разговор продолжался в келье доктора Фауста. Там стоял, вместо пульта, письменный стол резного дерева, не было готического она и пюпитра с толстой, в телячьей коже, с застёжками Библии, которую Гёте поручает перевести Фаусту. Ей-богу, я бы не удивился, увидев её. А ещё там висели карта полушарий Земли, карта астрального неба, таблицы и чертежи, выполненные рукой 11-летнего хозяина, над столом портрет средневекового немца в жабо. Это был Иоганн Кеплер.

Для начала мы обсудили космогоническую гипотезу Канта — Лапласа (о которой, к счастью, я слышал во времена моего отрочества), астрономию сменила палеонтология, мальчик поделился со мной своими соображениями касательно важного вопроса, почему гигантские ящеры исчезли с лица Земли. Множество общих тем дали нам почувствовать родственную душу друг в друге. Я сидел в вагоне и уже не жалел о неудавшейся поездке, не думал о своей жизни, о будущем, не сулившей ничего хорошего, и профессоре X, которого, кстати, я так и не видел больше никогда. Мне стало ясно, что всё моё путешествие стоило совершить ради одной этой встречи.

V

К сожалению, нет у меня под рукой замечательной, некогда прочитанной взахлёб книги Уэлса. «Машина времени». Сегодня,

вспоминая некоторые приключения моей жизни, я прихожу к мысли — отнюдь не оригинальной, — что машина времени, та, которая даёт возможность видеть, как эпохи сменяют друг друга, путешествовать без билета из прошлого в будущее и наоборот, — существует на самом деле и помещается в моей черепной коробке; имя ей — память.

Итак, махнём рукой на хронологию, а заодно и на географию: случай, о котором пойдёт речь, произошёл весьма давно и довольно далеко, в первые, деревенские времена моей медицинской практики. Подвода остановилась перед крыльцом общего отделения; в белом халате, засучивая на ходу рукава, я взошёл в комнатку, которая служила у нас приёмным покоем. Здесь находились все трое: пациент, «фершалка», то есть фельдшерица, которая привезла мальчика из своего медпункта, вёрст за двадцать отсюда, и бородатый возничий. Пациент лежал укрытый на топчане; я узнал кто он и что случилось. Одиннадцать лет, родителей нет: мать умерла, отец спился; ребенок живёт в избе у бабушки. Упал с дерева на острые колья огорода.

Я пощупал пульс, откинул одеяло, приоткрыл, соблюдая максимальную осторожность, повязку и увидел страшное. Мальчик закричал, я пытался с ним заговорить... Слабая усмешка исказила его черты. Он умолк, устремив на врача неподвижные оловянно-голубые глаза. Ресницы опустились на нежные, как у девочки, щёки, он задремал... Я повернулся к бабушке. Старик, заросший бородицей до глаз, выглядывал из неё, как волк из кустарника. Волк плакал. Я провёл рукой по светлым волосам ребёнка. Он никак не реагировал. Процессия двинулась по коридору общего отделения мимо палатных дверей и сидевших вдоль стены больных в серых казённых халатах, я шагал с носилками впереди, сзади попевали, держа носилки, фельшерица и дежурная сестра. В конце коридора находилась перевязочная. Переложили мальчика на стол. Надев стерильную маску, облив руки спиртом, я убрал затвердевшую от крови повязку. Он лежал, зажмурившись под слепящей лампой, стиснув зубы, и, очевидно, напрягал все силы, чтобы не заплакать. Две женщины склонились над ним. Он молчал — от перенесённых страданий или от стыда, ещё более мучительного, и не шевельнулся, не издал ни единого стога во всё время процедуры. Хирург зашил рану.

Я сорвал с лица марлевую повязку и вышел из перевязочной; старик приблизился ко мне. «Я чего хотел спросить», — промолвил он робко...

«Да», — сказал я.

«Чего спросить. Будет он способный ай нет?»

Я сказал:

«Он порвал мошонку. Яички целы».

Моя больничка располагала собственным транспортом. Старый, помнивший войну фургон с красными крестами на замазанных мелом окнах, качаясь, подъехал к крыльцу. Я уселся спереди, рядом с шофёром. Сестра вынесла две подушки и положила мне на колени. Пациент вздрогнул, когда шприц с болеутоляющим снадобьем еще раз вонзился ему в бедро, и отвернулся. Он искал глазами дедушку. Старик вскарабкался в машину. Водитель нажал на газ. Мотор заурчал и отсалютовал выстрелами из выхлопа. Мы отправились в путь за пятьдесят километров в центральную районную больницу в город по мощёному тракту, построенному уездной земской управой в 1895 году. Ребёнок сидел у меня на коленях — и молчал...

2012

ПАРИЖ И ВСЁ НА СВЕТЕ

I

...Итак, я поселился «на Холме», à la Butte, как здесь говорят; когда вы бредёте от бульвара Клиши вверх по улице Лепик, мимо мясных, овощных, рыбных лавок, мимо выставки сыров, киоска с газетами всего мира, кондитерских, кафе, китайских ресторанчиков, по узкому тротуару, где теснится народ, но никто никого не толкает, где играют, сидя на корточках, дети, где какая-нибудь девушка вам улыбнётся, не думая о вас, где торчат такие же бездельники, как вы, где звучит стремительная речь, где журчит смех, — и дальше по улице дез-Аббесс, мимо кафе «Дюрер», мимо какого-то русского ресторана, мимо книжного магазина, где вам зачем-то понадобился «Le Disciple» забытого Поля Бурже и вы лавируете между стопками книг на полу, и вниз по дез-Аббесс, и снова вверх, и поворачиваете к Трём братьям, попадаете на маленькую площадь, к дому-пристанцу поэтов, художников и актёров со смешным названием Bateau-Lavoir, что можно перевести как Корабль-умывальный или Мостки для полоскания белья, — кто тут только не побывал, здесь ошивались Ван Донген, Хуан Гри, Модильяни и толстая муза Аполлинера Мари Лорансен, Пикассо писал здесь «Авиньонских барышень», — когда вы снова каким-то образом оказываетесь на улице Лепик, которая кружила следом за вами, и опять вверх, и опять вниз, — то кажется, что вы, как землемер К. до замка графа Вествест, никогда не доберётесь до Холма в собственном смысле, хоть и видите его над домами то там, то здесь, в перспективе тесной улочки, за купами деревьев, — и вот, наконец, остановка: крутая, с многими маршами лестница. Минут двадцать займёт последнее восхождение. Или вы можете встать в очередь перед фуникулёром. Или подойти вплотную по верхним улочкам Монмартра. Теперь она вся перед вами: полуроманская, полувизантийская, с белыми, круглыми, как сосцы, продолговатыми башнями-

куполами церковь Святого Сердца, Sacré-Coeur. С крыши портала два всадника, король Людовик Святой с крестом и Жанна д'Арк с поднятым мечом, взирают на весь Париж.

II

О Париже сказано всё, как о любви — всё, что можно сказать; и в Париж приезжаешь, как будто возвращаешься к старой любви. Даже тот, кто окажется здесь впервые, почувствует, что он уже был здесь когда-то. В других городах ощущаешь себя пришельцем, гостем, паломником, туристом; в Копенгагене, волшебном городе, чувствуешь себя туристом; во Флоренции чувствуешь себя гостем. В Венецию приезжаешь, чтобы увидеть Пьяцетту в вечерней мгле, зыбкие воды и тусклые отблески дальних огней, и почти невидимую в темноте громаду Святой Марии Спасения по ту сторону Большого канала, проплыть, отдавая дань ритуалу, по ночным водам в чёрной лакированной гондоле, вспомнить всё, что было читано, слышано, увидено на экране, — и остаться гостем. В Чикаго, с его downtown, чья красота и величие превосходят воображение европейца, с огромным, как море, озером Мичиган, с молниями автострад, уносящихся к бесконечно далёкому горизонту за сплошными, во всю стену стёклами ночного затемнённого кафе на девяносто шестом этаже небоскрёба Хенкок, — говорят, оттуда видно четыре штата, — в Чикаго, хоть ты и бываешь там чаще, чем в Москве, остаёшься чужестранцем. И, покидая Венецию, покидая Чикаго, думаешь: когда-нибудь приеду снова. Простившись с Парижем, тотчас начинаешь скучать. Тосковать — по чему? Невозможно сказать. Да всё по тому же: по мрачной башне Сен-Жермен-де-Пре на перекрестке искусств и литературы, *carrefour des lettres et des arts*, как кто-то назвал его, — с недавних пор здесь красуется табличка: «Площадь Сартра и Симонны де Бовуар», славная чета сживала в кафе Флор, в двух шагах отсюда, — по вовсе не знаменитому маленькому кафе напротив старого дома на углу улиц Бюси и св. Григория Турского, где я прожил однажды шесть счастливых дней, куда заворачиваю каждый раз, каждый год. По набережным Левого берега, по шкафам, лоткам и стендам букинистов — кто только не рылся в них, — по Мосту искусств и Новому мосту, который на самом деле самый старый, ему без малого четыре века. В Париже мы все жили ещё прежде, чем там оказались. Что это: свойство парижского воздуха или заслуга французской литературы?

III

Париж не меняется — по крайней мере, так утверждает молва, — и не потому ли, что этот город, как никакой другой, наделён способностью принять тебя как своего. Не зря он был назван столицей девятнадцатого века, и, в самом деле, можно лишь удивляться тому, что всё в этом городе существует по сей день: и крутые крыши с мансардами, и дома без лифтов, и скрипучие лестницы, и окна до пола, наполовину забранные снаружи узорными решётками. Дешёвое барахло, вываленное из магазинов прямо под ноги прохожим, розы, попрошайки, старики на скамейках — всё как встарь, город давно смирился со своей ролью быть ночлежкой великих теней, огромным словарём цитат, и всё так же течёт Сена под мостом Мирабо, с которого некогда смотрел на воду поэт, дивясь тому, что всё ещё жив, и высоко вдали непременно Монмартр с сахарной головой Святого Сердца. Я прекрасно понимаю, что и то, о чём я говорю, — повторение сказанного тысячу раз.

Ах, поздно мы проторили сюда дорожку. В Париже нужно жить в юности. В Париж нужно приехать, чтобы сделать его органом своей души, а не только частью наскоро усвоенной культуры; нужно сделать так, чтобы всегда, как память о собственной жизни, стояли перед глазами эти мосты над рекой в солнечном тумане, эти дворцы и площади одна другой краше: Старый Париж — город архитектурных ансамблей, куда ни повернешь, повсюду эти изумительно продуманные, стройные, разумные и прихотливые свидетельства градостроительного гения, которые примиряют тебя с историей, заставляют верить, что труд поколений не пропадает даром.

В одном стихотворении Арагона говорится, что птицы, летящие в Африку из Северной Атлантики, опускаются, как на протянутую руку, на территорию Франции. Очертания страны напоминают ладонь. Франция открыта двум морям. О двух этнических фондах, образовавших нацию, кельтском и романском, писал Андре Зигфрид ещё каких-нибудь полвека назад. Сравните портрет нормандца Флобера — короткая шея, широкое мясистое лицо и вислые усы старого галла — с физиономией узколицега аскета с впалыми щеками, уроженца Бордо Франсуа Мориака, вы увидите два характерных французских типа. Но сегодня, глядя на толпу в парижском метро, где каждый четвёртый — выходец или сын выходцев из стран бывшего Французского Союза, потомок и представитель чёрного человечества, для которого не существовало Греции, Рима, Средневеко-

вья, Ренессанса, Нового времени, Революции, думаешь о том, что к двум фундаментам нужно добавить третий, африканский, что здесь происходит рождение новой цивилизации, о которой сегодня мы ничего не можем сказать, и городу предстоит разродиться ею и выдержать ее натиск.

IV

Бродить по городу, сидеть в парках, заглядывать «в вертепы чудные музеев» — после обеда. Зато с утра, проглотив завтрак (довольно скверный в сравнении с немецкими, австрийскими или заокеанскими гостиницами), мы поднимаемся к себе в номер, мы вперяемся в молочный экран. Не начать ли нам, братие, трудных повестей...

Увы, начинали не раз. Роберт Музиль жаловался, что у него в чернильнице асфальт вместо чернил, а в другом письме сравнивал себя с человеком, который пытается зашнуровать футбольный мяч размером больше, чем он сам, — а мячик меж тем всё раздувается. Нужно отдать себе внятный отчёт, в чём состоит задание. О чём мы, собственно, собираемся поведать миру? Похоже, что записыванье мыслей о романе — суррогат самого романа. Графоманский зуд, порождённый страхом перед пустыней экрана.

Написать о том, как некто собрался писать грандиозный роман-панораму своего времени, вместо этого он пишет о том, как этот роман не удаётся. Ибо время ненавидит таких, как он. Написать роман о писателе-отщепенце.

Написать роман о сером, неинтересном человеке без имени, без биографии, без профессии, без семьи, о человеке, которого только так и можно назвать: *некто*. О субъекте, чья бесцветность оправдана лишь тем, что ему выпало стать свидетелем эпохи, враждебной всякому своеобразию, и когда, наконец, он взялся за дело, уселся за компьютер, — он остаётся тем же, кем был: песчинкой в песочных часах. Нет, мы не призваны на пир всеблагих, мы не зрители высоких зрелищ, куда там, — мутный вихрь увлёк нас за собой, скажем спасибо родине, что удалось унести ноги, возблагодарим судьбу и злодейское государство за то, что они оставили нас в живых.

V

Говорят, роман умер. Умер как литературный жанр, опустился на дно, как Атлантида. Это утешает. Значит, дело не только в не-

удачливом сочинителе. Это даже не новость: покойник умирал не раз. Осип Манделъштам толковал о крушении человеческих биографий в эпоху великих социальных потрясений, что означало, по его мнению, крах европейского романа — «законченного в себе повествования о судьбе одного лица». Натали Саррот (спустя тридцать лет) объясняла, что персонажи классической прозы, пресловутые характеры, — это фикции: реальная человеческая личность неуловима, непредсказуема; судьба вымышленных героев, сюжет, интрига — всё это изнашивается до дыр; роман, каким мы его знали со времён поздней античности, изжил себя. «Вот почему, когда писатель задумывает рассказать какую-нибудь историю и представляет себе, с какой издёвкой взглянет на это читатель, — им овладевают сомнения, рука не поднимается, — нет, он решительно не в силах».

De te fabula narratur — сказано о нас с тобой, приятель.

И, однако, погребение не состоялось, и с тех пор панихиду по роману справляли ещё много раз.

Роман возрождается, как Феникс, в новом оперении, чтобы умереть в очередной раз. Роман умирает всякий раз после того, как появляется реформатор романа. Манделъштам объявил роман «Жан-Кристоф» последним произведением этого жанра; но Ромен Роллан не был новатором. Зато после Пруста стало в самом деле казаться, что писать романы больше невозможно. Андре Жид в «Фальшивомонетчиках» вновь поставил дальнейшее существование романа под сомнение. Вирджиния Вульф («Миссис Деллоуэй») ещё раз заставила серьёзно задуматься о жизнеспособности романного сочинительства. Автор «Улисса» подвёл под романом окончательную черту. Кафка сызнова закрыл роман. Музиль, оставшись в лабиринте один на один со своим романом-Минотавром, пал в единоборстве, но успел нанести роману смертельный удар.

Король умер — да здравствует король!

VI

Эпоха ставит сочинителя перед вызовом, а сочинитель дрожащим голосом бросает вызов «эпохе». Я подумал, что заметки «по поводу», может быть, столкнут с места мою работу. Писать о том, что проза не вытанцовывается, роман не даётся? Но ведь это означает, что где-то в неведомых далях его персонажи всё-таки живы и машут руками — то ли прощаются, то ли зовут к себе.

Отсюда, между прочим, вытекает, что роман в лучшем случае может состоять лишь из фрагментов. Что такое фрагмент (от *frango*, ломаю)? Обломок чего-то; нечто начатое и брошенное. Но вот появилась эстетика фрагмента, стилистика фрагмента, наконец, филология и даже философия фрагмента.

Это эпоха фрагментарного сочинительства. Это какие-то недописатели, они всё не дописывают. Мерное, последовательное повествование — достояние других времён, когда герой романа был субъектом исторического процесса. Сейчас он только объект истории.

Век миновал, «наш» век, — не хотели бы мы, недобитые жертвы, принадлежать этому гнусному веку! Но что было, то было, и мнится, время подбить итог. Найти общий знаменатель, соединить диагоналями события, как соединяют линиями звёзды на карте неба. Пусть в действительности светила удалены друг от друга на огромные расстояния — для наблюдателя это созвездие, нечто целое. Скажут, что получается круг, называемый *petitio principii*: задавшись вопросом о характере эпохи, мы тем самым уже исходим из представления о целостной эпохе. Между тем ещё предстоит собрать её по кусочкам, как скелет ископаемого ящера, и Бог знает, получится ли что-нибудь путное из разрозненных обломков.

Самые разные события происходят в одно время, под общим знаком, но лишь годы спустя осеняет мысль о тайной перекличке, о взаимозависимости; эта зависимость кажется объективным фактом. На самом деле она представляет собой умозрительный конструкт. Но ведь именно так пишется летопись времени. Так скрепляются проволокой фрагменты черепных костей, кусочки рёбер и позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Выглядел ли он таким на самом деле?

VII

От памяти никуда не денешься. Гипертрофия памяти — старческий недуг наподобие гипертрофии предстательной железы. Молодость побеждает агрессию памяти, молодость, собственно, и есть победа над памятью, забвение — механизм защиты; мы молоды, покуда способны забывать. Но незаметно, неотвратимо наши окна покрываются копотью воспоминаний. Отложения памяти, как известь, накапливаются в мозгу. Старение — потеря способности забывать. Вот что это такое. Бессонница воспомина-

ний. Сидение без сна перед домашним экраном, на котором проплывают очертания материков под мурлыканье космической музыки. На самом деле перед глазами проплывают годы. Мы умираем, раздавленные этим бременем.

Но прежде мы успеваем заметить, что историей правит случай. Словно великий Романист раздумывал, какой сюжетный ход ему избрать, и в конце концов хватался за что попало.

В каждом сюжете скрывается неисчислимое множество вариантов, и каждая страница, как и всякий день жизни, — перекрёсток многих дорог. Куда направиться? Почему отдано предпочтение этому варианту, а не другому? Невозможно отделаться от мысли, что самыми важными поворотами жизни мы обязаны случайности, и не то же ли совершается в истории? Рим (говорит Паскаль) постигла бы иная судьба, будь у царицы Клеопатры нос на полдюйма длиннее. Что мешало военному губернатору Иудеи вздёрнуть на позорный столб уголовного преступника Варавву, а Иисуса помиловать? Последующие века выглядели бы по-иному.

Стрелочник перевёл стрелку, и поезд послушно свернул на другой путь, и вот уже другой пейзаж бежит за окошком, другие станции, другие земли. Тот, кто, подобно историку, смотрит назад, видит много рельсовых путей, все они сходятся к одному единственному пути; но для того, кто смотрит вперёд, веер дорог не сужается, а раздвигается. Лишь одна из многих возможностей будет реализована. Однако и прошлое когда-то было будущим. Всякая история есть всего лишь осуществившийся вариант. Подчас вероятность случиться тому, что не случилось, была ничуть не меньше того, что случилось. Так в старости женщина с сожалением вспоминает о претендентах на её руку, которым она отказала. Вместо этого вышла за какого-то сморчка. Так шахматист раздумывает над проигранной партией, вновь расставляет фигуры и переигрывает игру.

«Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай...»

VIII

Гигантская тень нависла над русской литературой: тень Льва Толстого. Несчастливая уверенность в том, что жизнь нации бесконечно важнее, чем жизнь и участь отдельного человека, настолько велика, что побуждает сочинять народно-исторические эпопеи до сих пор.

Замысел кажется величественным, вдохновляет, окрыляет, а как дошло дело до исполнения... Медуза переливалась красками радуги, пока плыла в воде, стоит её выловить — комок бесцветной слизи.

Произведение, сказал Беньямин, — это посмертная маска замысла. (Das Werk ist die Totenmaske der Konzeption).

Странно, что никто (по-видимому) не задумался всерьёз, отчего потерпела фиаско эпопея самого знаменитого прозаика наших дней. Замысел был пограндиозней «Войны и мира». Ответ как будто лежит на ладони: идеолог пожрал художника; писателя погребла лавина документального материала; приёмы письма и гротескный слог сделали прозу неудобочитаемой; оставаясь в веригах устарелой поэтики, романист спасовал перед областью действительности, запредельной его жизненному опыту. К этому можно добавить несколько частных неудач и прежде всего неумение создавать женские образы, пробный камень всякого беллетриста. Всё это так. И всё же коренная причина лежит глубже. Фатальной ошибкой была презумпция архаического жанра. Проект всеохватного эпоса, в котором судьба и поступки действующих лиц, будь то царь или крестьянин, купец или революционер, должны выглядеть как отражение истории, был заведомо обречён. Хочешь не хочешь, а роль персонажей становится функциональной. Им незачем оставаться живыми людьми, жить собственной жизнью: они кого-то — или что-то — «представляют». От этой патриотической или антипатриотической роли — злополучной иллюстративности — им некуда деться. Многоосная музейная колесница с паровым котлом, неприспособленная для современных дорог и скоростей, ползла еле-еле и, наконец, стала. В который раз пришлось убедиться, что время монструозных эпопей прошло совершенно так же, как «умчался век эпических поэм».

IX

В третьей главе «Улисса» Стивен Дедалус произносит фразу, которую, должно быть, не раз повторял его создатель: «История — это кошмар, от которого я пытаюсь очнуться». Говорят, Джойс, узнав о начале Мировой войны, сказал: а как же мой роман?

Снова задаёшь себе вопрос, возможно ли связать то, что никак не связывается, найти волшебное уравнение литературы, соединить два времени, историческое и человеческое. Мы оказались в ситуа-

ции тотального отчуждения человека от истории. Никогда прежде зловещие призраки Политики, Нации, Державы, Славного Прошлого и как они там ещё называются — не вмешивались так беспардонно в жизнь каждого человека, не норовили сесть с ним за обеденный стол и улечься в его постель. Никогда человеческие ценности не были до такой степени девальвированы, никогда стоимость человеческой жизни не падала так низко. И, может быть, литература — единственное, что у нас осталось на обломках веры в исторический разум, литература, которая всё ещё отстаивает суверенность личности, литература, последний бастион человечности. Может быть, поэтому роман и остался в живых.

Х

Итак, я приземлился в CDG. Аббревиатура, означающая: Шарль де Голль. Огромный аэропорт раскинулся на северо-востоке от города. До Монмартра не так уж далеко. Миновали ворота Ла-Шапель, свернули с бульвара маршала Нея к авеню Клиши, подъехали к устью сбегающей вниз узкой мощёной улочки, таксист извлекает багаж из багажника. Пятнадцать шагов вверх по улице Толозе, пешком, чемодан на колёсиках, компьютер в сумке через плечо.

Просят извинения: только что съехал прежний постоялец, в номере ещё не прибрано. Выйдем на улицу в рассуждении закусить где-нибудь рядом. Весенний день, будничная суета, и чувство внезапного счастья от знакомого запаха дрянной кухни из подвальных окон соседнего дома. Счастья вернуться в Париж.

БУКВЫ

*Речь, произнесённая в Гейдельберге при получении премии *Literatur im Exil* имени Хильды Домин*

От одного старого сидельца я слышал, что Бутырская тюрьма в двадцатых годах получила премию на международном конкурсе пенитенциарных учреждений за образцово поставленное коммунальное хозяйство. Сейчас тюрьма пришла в упадок. Железные лестницы, железные воротники на окнах проржавели, в коридорах валится с потолка штукатурка. В камерах грязь. На ремонт нет денег. И можно понять ностальгические чувства, с которыми старые надзиратели, если они ещё живы, вспоминают золотой век благополучия и порядка. Можно представить себе, как они говорят: а люди? Какие люди у нас сидели! Не то что нынешняя сволота.

В моё время порядок сохранялся. Тишина, цоканье сапог. Шествие с надзирателем по галерее вдоль ограждённого сеткой лестничного пролёта, гуськом, впереди дежурный по камере торжественно несёт парашу. Никакой связи с внешним миром, ни радио, ни газет; самое существование застенка окутано тайной. Но зато тюрьма располагала превосходной библиотекой. Непостижимым образом в абсурдном мире следователей, ночных допросов, карцеров, фантастических «дел» и заочных судилищ сохранялись реликты старомодной добросовестности. Раз в две недели в камеру входил библиотекарь. Арестанты могли заказывать книги по своему выбору.

Из обширного ассортимента наказаний, какие могло предложить своим обитателям это учреждение, худшим было лишение права пользоваться библиотекой. К счастью, следователи прибегали к нему нечасто. Возможно, они не могли оценить его действенность, так как сами книг не читали. Нетрудно предположить, что в эпоху расцвета тайной полиции, в те послевоенные годы, когда страна испытывала особенно острую нехватку тюремной площади, когда спецкорпус, воздвигнутый ещё при наркоме Ежове, был битком на-

бит студентами, врачами, профессорами, евреями и тому подобной публикой, библиотека не могла пожаловаться на недостаток читателей. Бывало так, что заказанного автора не оказывалось на месте. Библиотекарь приносил что-нибудь выбранное наугад им самим. Это могли быть совершенно необыкновенные сочинения, диковинные раритеты, о которых никто никогда не слыхал. Попадались даже, о ужас, произведения врагов народа. Имена, выскобленные из учебников литературы, писатели, одного упоминания о которых было достаточно, чтобы загреметь туда, где обретались мы, и — получить возможность их прочесть. Тюремная библиотека пополнялась за счёт литературы, изъятой при обысках и конфискованной у владельцев. Книги отправлялись в узилище следом за теми, кто их написал.

Дожив до двадцати одного года, я не удосужился прочесть многого. Я не читал «Братьев Карамазовых». Теперь их принесли в камеру, два тома издания 1922 года, перепечатка с дореволюционных матриц. Старомодная печать, старорежимная орфография. Архаические окончания прилагательных. Буквы, вышедшие из употребления.

С тех пор утекло много воды. Достоевский перестал быть полузапретным автором. Но для меня он остался тюремным писателем. Он остался там, в старых изданиях, потому что в новых я не умею читать его с былым увлечением. Новый шрифт и современное правописание высушили каким-то образом эту прозу, уничтожили её аромат. Перелитое в новые меха, вино лишилось букета. Я убедился, что печать заключает в себе часть художественного очарования книги. Печать хранит нечто от её содержания — я думаю, это заметили многие. Я утверждаю, что орфография и набор составляют особое измерение текста, новый рисунок букв слегка меняет его смысл. Отпечатанный современным шрифтом, классический роман странно и невозвратно оскудевает. Совершенно так же, как женщина, остриженная по последней моде, одетая не так, как при первой встрече, неожиданно теряет всю свою прелесть, таинственность и даже ум.

В Туре, в Северо-Западной Франции, над входом в скрипторий монастыря св. Мартина начертан латинский гексаметр: *Est opus egregium sacros iam scribere libros*. Славен труд переписчика священных книг.

«Переписанное вами, братья, и вас делает в некотором отношении бессмертными... Ибо святые книги, помимо того, что они

святы, суть постоянное напоминание о тех, кто их переписал», — говорит в сочинении гуманиста XV века Иоанна Тритемия «Похвала переписчикам».

Быть может, 42-строчная Библия Гутенберга, оттиснутая на станке с подвижными литерами, не вызвала восторга у первых читателей. Можно предположить, что они испытали такое же чувство, как некогда учёные александрийцы третьего века, впервые увидевшие пергаментный фолиант вместо папирусного свитка. Старый текст в новом оформлении неуловимо исказился.

Я люблю письменность. Я люблю типографские литеры. С отроческих лет меня зачаровывала фрактура, так называемый готический шрифт, я разглядывал твёрдые тиснёные переплёты и титульные листы немецких книг, любовался таинственной красотой изогнутых заглавных букв с локонами, и с тех пор «Фауст» для меня немислим, невозможен вне готического шрифта. В новом облачении пресной, будничной латиницы доктор и его спутник стали выглядеть словно разгримированные актёры. Всё, что пленяло воображение, манило и завораживало, как знак Макрокосма, в который вперяется Фауст, сидя под сводами своей кельи, предчувствие тайны, предвестие истины — всё пропало! Трезвость печати уничтожила мистику текста.

Я любил с детства изобретать алфавит, исписывал бумагу сочетаниями невиданных букв, придумывал надстрочные знаки и аббревиатуры, воображая, что в этих письменах прячется некий эзотерический смысл, и мне казалось, что письмо предшествует информации: не смысл сообщения зашифрован в знаках алфавита, но сами знаки порождают ещё неведомый смысл. Не правда ли, отсюда только один шаг до веры в магическую власть букв, до обожествления графики.

Из трактата *Sefer Jezira* (Книга творения), который в некоторых рукописях носит название «Буквы отца нашего Авраама», отчего и приписывался прародителю Аврааму, хотя на самом деле был сочинён в середине первого тысячелетия нашей эры, — из этого трактата можно узнать, что Бог создал мир тридцатью двумя путями мудрости из двадцати двух букв священного алфавита.

Из трёх букв сотворены стихии: воздух, огонь и вода. Из семи других букв возникли семь небес, семь планет, семь дней недели и семь отверстий в голове человека. Остальные двенадцать букв положили начало 12 знакам зодиака, 12 месяцам года и 12 главным членам и органам человеческого тела.

«(Бог) измыслил их... и сотворил через них всё сущее, а равно и всё, чему надлежит быть созданным». Буквы — элементы не только всего, что существует реально, но и того, что существует потенциально. Подобно тому, как в алфавите скрыто всё многообразие текстов, включая те, что ещё не написаны, — в нём предопределено всё творение. Алфавит — это программа мира. Ибо творение не есть однократный акт. Творение продолжается вечно. И вот, дабы приобщиться к акту творения, нужно сделать последний шаг: «взойти к Нему», как сказано в XXIV главе Книги Исход, — облечься в четырёхбуквенное Имя божества.

Французский писатель, нобелевский лауреат Эли Визел рассказывает легенду об основателе хасидизма, «господине благого Имени» — Баал Шем Тов, — который решил воспользоваться своей властью, чтобы ускорить пришествие Мессии. Но наверху сочли, что время для этого не пришло, чаша страданий всё ещё не переполнилась. За своё нетерпение Баал Шем был наказан.

Он очутился на необитаемом острове, вдвоём с учеником. Когда ученик стал просить учителя произнести заклинание, чтобы вернуться, оказалось, что рабби поражён амнезией: он забыл все формулы и слова. Я тебя учил, сказал он, ты должен помнить. Но ученик тоже забыл всё, чему научился от мастера, — всё, кроме одной единственной, первой буквы алфавита — алеф. А я, сказал учитель, помню вторую — бет. Давай вспоминать дальше. И они напрягли свою память, двинулись, как два слепца, держась друг за друга, по тропе воспоминаний, и припомнили одну за другой все двадцать две буквы. Сами собой из букв составились слова, из слов сложилась волшебная фраза, магическое заклинание, и Баал Шем вместе с учеником возвратился домой. Мессия не пришёл, но зато они могли снова мечтать и спорить о нём.

Из фраз и слов, из знаков алфавита построен мир нашей памяти, и буквы на камне, под которым я буду лежать, обозначат нечто большее, нежели чье-то имя, вырезанное на нем.

ДУХ И ВОЗДУХ ИСТОРИИ

Послесловие к повести «Третье время»

«Der Sand, der durch die Uhr der Zeit läuft, ist aus unserer Asche gemacht» (Песок, что сыплется в часах времени, сотворён из нашего пепла). Фраза, с которой Фридрих Зибург начинает свою книгу о Наполеоне, могла бы стать вторым эпитафием к повести, где вымышленный сюжет вставлен в раму детских воспоминаний.

Лишь дух истории, продолжает Зибург, утоляет горечь сознания, что всё в этом мире идёт прахом.

Эра исторического оптимизма захлебнулась, и вера в будущее превратилась в исповедание прошлого. История — его священная книга. Вера в прошлое заменила надежду на будущее: вера в спасительную силу истории, будто бы способной всё разъяснить, примирить и оправдать. Вот то, что мне непонятно и чуждо.

Подмена — вот о чём идёт речь; под «историей» подразумевается не то, что было, а то, что об этом написано. Смысл истории, как смысл мира, внеположный миру, лежит вне истории. Смысл истории есть артефакт.

Насколько я помню, полубезумный Ченцов, персонаж моей повести, существовавший на самом деле, говорил что-то другое, может быть, вовсе никогда не упоминал о трёх временах. Как бы то ни было, я нахожу в разглагольствованьях моего героя крупницу правды. Да, мы на самом деле посетили мир в его минуты роковые; мы были тем прахом, человеческой пылью, которая спрессовалась в сыпучее содержимое песочных часов. Мы видели историю, не ту, о которой написано, но ту, которая *была*, видели воочию, как солдат видит перед собой медленно вращающиеся гусеницы танка.

2005

ЖАБРЫ И ЛЁГКИЕ ЯЗЫКА

Между Чистыми прудами и Садовым кольцом, в переулке, хранящем запах старой Москвы, какой она была в начале нашего невероятно длинного века, стоит диковинное полувосточное сооружение, в котором гений архитектора спорит с безвкусицей взбалмошного заказчика; до времён нашего детства дожила легенда о том, что потомок татарских мурз проиграл свой дворец в карты. Должно быть, это было уже после того, как князь убил святого старца Распутина. Вскоре начались известные события, новый владелец палат бежал вслед за старым. Дворец остался. Несколько старых клёнов простёрли свои ветки над переулком, и каждый год расточительная осень устилает жёлтыми клеёнчатыми листьями тротуар и лужайку за чугунной оградой.

Мир ребёнка не тесней, а просторнее мира взрослых; вопреки известной теории, мы живём в сужающейся вселенной; в день паломничества к местам детства, в одно ужасное утро, находишь сморщенный и замшелый город, лабиринт тесных улочек там, где некогда жилось так привольно. Жалкий дворик за чугунным узором ограды назывался в те времена Юсуповским садом. Там бродили, шурша листьями, ковырялись в земле и прыгали на одной ножке вверх по широкой каменной лестнице, и когда возвращались парами, держась за руки, шествие возглавляла высокая белокурая дама по имени Эрнэ Эдуардовна, обладавшая отличным слухом. Время от времени она оглядывалась, и тот, кто всё ещё болтал с соседом порусски, знал, что его ждут неприятности.

В большой комнате у Эрнэ Эдуардовны, за круглым столом пили чай из больших чашек и роняли на скатерть куски бутерброда, рисовали цветными карандашами что кому вздумается и по очереди излагали содержание рисунка на языке, который странным образом не давался только одному мальчику, — это был сын Эрнэ Эдуардовны. Года через два настало время идти в школу, и гулянья в саду

прекратились; немецкий язык быстро испарился, осталась память о лёгком дыхании незвонкой гортанной речи; этот язык не был казнью, в отличие от игры на скрипке, мучеником которой я был пять лет, но и со скрипкой было покончено, когда призрак туберкулёза посеял панику в сердцах моих родителей, побудив их сослать меня в лесную школу. Между тем на западе клубились тучи, близость большой войны не была тайной, и всё же война разразилась в день, когда её никто не ждал. На улицах гремела музыка. В первые недели, может быть, в первые дни Эрна Эдуардовна исчезла, пропал без вести Эрик, самый стойкий патриот русского языка среди всех детей группы, ибо он так и не научился немецкому. То, что он был сыном не только тевтонской матери, но и еврейского отца, к тому времени умершего всё от того же туберкулёза, не спасло Эрика от пожизненного изгнания; много позже из тёмных слухов узнали, что оба были вывезены в Казахстан.

Дела шли всё хуже, мой отец, записавшийся добровольцем в народное ополчение, отправился на фронт, где это скороспелое войско вместе с регулярной армией угодило в огромный котёл между Вязмой и Смоленском. Немало времени протекло, прежде чем мы получили известие от отца: он был одним из немногих, кому удалось выйти из окружения. Никто не знал о том, что красноармейцы миллионами сдаются в плен, и можно было только догадываться, что немцы уже совсем близко.

Мне было четырнадцать лет, и мы жили за тысячу километров от нашего дома, переулка и Юсуповского дворца, когда под влиянием внезапной идеи, не имевшей ничего общего с войной, — при том, что фронт придвинулся к Сталинграду, — я надумал учить заново этот язык, написал письмо в Москву на заочные курсы и получил первое задание. Я ходил в сельскую школу, где тоже учили немецкий, не хуже и лучше, чем во всех школах, и довольно быстро обогнал своих одноклассников; учитель, литовский еврей, в молодости бывавший в Европе, приглашал меня к себе домой и говорил со мной на священном языке Клопштока и Гёте. Ко времени, когда мы вернулись в Москву, я сносно читал по-немецки и мог бы, вероятно, более или менее прилично объясняться, если бы мне разрешили войти во двор поблизости от почтамта, где работали пленные. Парень постарше меня, вернувшийся с фронта и работавший, как и я, сортировщиком на почтамте, называл меня Генрихом по причине, которую я не могу припомнить. Наступило изумительное время,

война кончилась. Никто никогда не поймёт, что значили эти слова. В булочных продавцы наклеивали на газетный лист крошечные квадратики хлебных карточек, а букинистические магазины ломились от награбленных книг. Я выпросил у приятеля почитать «Фауста», пожухлый томик, изданный в Штутгарте в начале века, и с тех пор никогда его не возвращал. С ним я шатался по городу и, засыпая, запихивал его под подушку. В единственной на всю столицу маленькой библиотеке иностранной литературы, которую посещали интеллигентные старушки, читательницы французских романов, я взял «Книгу песен» Гейне и вернулся с ней через девять месяцев. Библиотекарша показала пальцем на соседнюю комнату, где мне надлежало уплатить астрономический штраф. Я вышел в другую дверь и сбежал — разумеется, вместе с книгой. Осенью я поступил в университет и блеснул перед профессором античной литературы тем, что продекламировал знаменитое начало Пролога на небесах, где говорится о пифагоровой музыке сфер. А ко дню рождения дядя преподнёс мне двухтомный трактат Шопенгауэра «Мир как воля и представление» в синих переплётках с сербряным тиснением.

Я забыл язык, ибо это была уже не та немецкая речь, на которой мы беспечно болтали за столом у Эрны Эдуардовны и от которой осталось лишь лёгкое дуновение. Это был не тот язык, что рождается заново с каждым ребёнком, когда он начинает лепетать, язык, в котором звук и образ, мысль и движения губ невозможно разъединить, потому что они представляют собой изначально целое и кажется странным, что вещи могут называться иначе и желание может выразить себя посредством других фонем. Язык живёт нераздельно во всех своих проявлениях, как тело со своими конечностями, язык пронизывает наше существо до той неуловимой границы, где действительность превращается в сон, дневной мир соприкасается с ночным; язык просачивается в бессознательное, и более того, мы вправе сказать, что язык преформирует нашу психику, ибо он существует до своих собственных проявлений, до членораздельной речи, до артикуляции, до мыслеизъявления и рефлексии. Язык — это ровесник души. Или, если угодно, — её царственный супруг.

И вот в этот брачный союз, не терпящий посторонних, вторгается соблазнитель, и на ваших глазах, на глазах испуганной и замороженной души происходит что-то вроде дуэли на шпагах, совершается адюльтер. Кажется, что немецкий язык наделён качеством аг-

рессии и совращения: мужиковатый Дон-Жуан в окружении славянок, достаточно неотёсанный, чтобы предварительно получить отпор на западе от Марианны, но тем более удачливый, когда он имеет дело с душой русского языка.

Мужская природа немецкого языка проявляет себя в жёсткости его конструкций, в строгом порядке слов, этом наказании для новичка, в архитектурной грамматике, которая обходится сравнительно небольшим числом исключений и примиряет иностранца с его горькой участью. Мужская напористость этого языка сконцентрирована в его энергоносителях — бесконечно богатых и многообразных частицах, которыми обрастает глагол, но которые могут вести самостоятельное существование, ползать по фразе, сцепляться, разъединяться, становиться наречиями, могут звучать как приказы и заменять целые предложения. Ни в одном известном мне языке нет подобного арсенала частиц, с поразительной точностью выражающих направление движения, частиц, как бы оснащающих фразу остриём и язык — крыльями. Но этот язык, умеющий быть грозно-лаконичным, язык коротких команд и сгустков энергии, машет своими крыльями, ползая по земле; воистину непостижим подвиг германских поэтов, сумевших поднять в воздух эту махину.

Мужская тяжеловесность немецкого языка проявляет себя в громоздких глагольных формах, в торжественном поезде инфинитивов, следующих, как за локомотивом, после модального глагола или глагола в сослагательном наклонении; мужское тяжелодумие языка выражается в хитроумном словообразовании, бесконечно расширяющем лексику, в пристрастии к длинным, как макароны, словам, над которыми посмеивался Марк Твен; это тяжелодумие сказывается и в неколебимой серьёзности его юмора, и в той особой, неподражаемой обстоятельности, которая делает этот язык почти не способным к эллиптическому построению фразы. Перевод русской речи на немецкий язык напоминает танец легконогой красавицы с неуклюжим полковником, который топчет сапогами и трясёт большой головой, в то время как она порхает вокруг него. Пересказанный по-немецки, русский текст удлинняется на одну пятую, на одну четверть. Мужская дисциплина немецкого языка, столь непохожая на капризно-текучую женственность русского, требует грубой словесной материи, тяжеловесных языковых масс, чтобы ворочать ими и умирять их. И, наконец, мужской дар абстракции, средневековый реализм, вошедший в плоть языка и рас-

творённый в его лимфе, почти безграничная способность к субстантивации всех языковых элементов, всё ещё не законченное, всё ещё продолжающееся сотворение новых и новых отвлечённых понятий, в котором немецкий язык приглашает участвовать и вас, — так же хорошо известны, как и злоупотребление этими дарами; нет нужды распространяться о них.

Но до тех пор, пока вас не окунули с головой в эту вязкую стихию, пока чужой язык не залил ваши лёгкие, до тех пор, пока он не посягает на ваш ум, вашу душу, ваш пол, ваши сны, ваши обмолвки, — отношение к нему сохраняет музейную благоговейность: так созерцают природный заповедник, который не может грозить стихийным бедствием. Так язык остаётся заповедным, покуда это язык кристаллизованной культуры. По крайней мере таково ощущение человека, знавшего за свою жизнь считанное число живых носителей языка: тот, кто вырос в наглухо законопаченной стране, только и мог общаться с миром священных надгробий. Настал день, когда я вылез из самолёта, увидел немецкие надписи над входом в аэровокзал — и это было всё равно как если бы они были начертаны на древней умершей латыни. Как если бы мы очутились в Риме Вергилия! Конвейер подтащил к нам три полуразрушенных чемодана, постыдное имущество беглецов, кругом кучки людей переговаривались, не обращая на нас никакого внимания.

Это была *aurea latinitas*, золотая латынь! Или хотя бы серебряная. Это был немецкий язык, иератическая речь, невозможная в быту, недопустимая для профанного употребления, и, однако, она звучала здесь как нечто принадлежащее всем, не имеющее ценности, словно воздух; немецкая речь, которую живая небрежность произношения, беззаботная фонетика, народный акцент делали почти неузнаваемой.

Итак, планеты выстроились в два ряда, и начало жизни повторилось полвека спустя. В два ряда, взявшись за руки, полагалось шагать за Эрной Эдуардовной, но один мальчик сгинул в Средней Азии, а для другого лёгкая речь детства стала языком изгнания. Будем откровенны, это надменный язык; и он не признаёт никаких заслуг. Ветхий старец, учивший меня другой премудрости, — мы сидели в его каморке под самой крышей старого дома на Преображенке, на мне был бархатный берет, опустошённый молью, и учитель говорил, что запрет читать Пятикнижие с непокрытой головой есть всего лишь модернистское нововведение, ему не

более тысячи лет, — старик этот рассказывал о неслыханном оскорблении, нанесённом его брату. Тринадцать поколений их рода подарили своему народу тридцать учёных знатоков Талмуда и священного языка. На девятом десятке жизни рабби прибыл в Иерусалим, вышел на улицу и задал вопрос босому мальчишке, на что тот презрительно отвечивал: «Сава (дедушка), ты плохо говоришь на иврите!» Итак, приготовьтесь заранее к унижениям, которым подвергнется в этой стране ваша учёность.

Эмиграция начинается, когда мираж небесного Иерусалима исчезает в сутолоке земного Иерусалима, когда сопляк поправляет ваши глагольные формы, когда филология поднимает руки перед жизнью. Эмиграция — это жизнь в стихии другого языка, который обступает тебя со всех сторон, грозит штрафом за незаконный проезд, зовёт к телефону, талдычит в светящемся экране, языка, который высовывает язык и смеётся над тобой в маске неудобопонятного диалекта, чтобы вдруг, сорвав личину, показать, что это — он, всё тот же, чужой и не совсем чужой, свой и не свой; языка, который зовёт к себе, в неверные объятя, между тем как родная речь, старая и преданная жена, смотрит на тебя с укоризной и пожимает плечами. Эмиграция, плаванье в океане, всё дальше от берега, так что мало помалу покрываешься серебристой чешуёй, с залитыми водой лёгкими, с незаметно выросшими жабрами; эмиграция, превращение в земноводное, которое в состоянии ещё двигаться по земле, но уже мечтает о том, как бы скорей окупнуться в воду...

PRO DOMO SUA¹

(О себе и своих сочинениях)

1

Мадемуазель, я собирался говорить буквально ни о чём — что придёт в голову: о погоде, о том, что мне нечего сказать, — согласитесь, это ведь так увлекательно, говорить о том, что тебе не о чем говорить. Совершенно так же, как писать о том, почему не удаётся писать.

Проснуться во тьме.

На часах начало шестого. Я сажусь, спустив ноги с моего ложа, и думаю — о чём? Требуется сколько-то времени, чтобы вынырнуть из безвременья в земное время. Я влачусь по квартире. Холодный душ, способ реанимации. Сознание возвращается ко мне. Я впадаю в панику. Кофе всё ещё не готов, а время тем временем уходит. Брезжит рассвет. Время уходит, а сочинитель всё ещё ополаскивает посуду после завтрака. Жизнь коротка! Наконец, я у цели, я зажигаю лампу и включаю аппарат для записывания снов. *Плывём. Куда ж нам плыть...*

Пустынный экран изображает водную гладь или, что то же, пустыню мозга. Но ценность этой минуты — в том, что ты целиком принадлежишь самому себе. Обрести себя — значить обрести дистанцию. Лишь владея собой, можно научиться отделять себя от самого себя; иначе никакой литературы не получится.

Вечером одолевает тупая тоска, вечером всё написанное не стоит выеденного яйца. *Que diable allait-il faire dans cette galère? Какого чёрта понесло его на эту галеру?* Знаменитая строчка Мольера из «Проделок Скапена». (И, между прочим, эпитафия к «*Betrachtungen eines Unpolitischen*» Томаса Манна.) Ухлопать

¹ В свою защиту (*лат.*). Записи разных лет.

жизнь на абсурдное занятие — чего ради?.. Другое дело утро, дрожь нетерпения, как перед минутой любви. Утром морок рассеивается, происходит странная метаморфоза — объяснить её может разве что физиология. Говоришь себе: дело обстоит как раз наоборот! Твоя работа — это и есть обретение смысла в пустыне абсурда. Какие слова!

Тема не хуже всякой другой. Апология литературного одиночества — назовём её так. Если не можем преодолеть собственную немощь, попытаемся её «объективировать». Поднимем гордое знамя неудачи над нашей башней из синтетической слоновой кости.

А вы не знали, что существует синтетическая слоновая кость? Я, например, слышал о том, что предпринимались попытки имплантировать слонам искусственные бивни вместо природных. Итак, пусть это будет флаг поражения — но не сдачи.

Chère demoiselle... Нет, я не оговорился. Мне необходим собеседник; вернее сказать, мне нужна слушательница. Не то чтобы я хотел поплакаться на женской груди. Писателю жаловаться на свою участь в литературе — всё равно что метеорологу сетовать на плохую погоду. Но мне необходимо Ваше молчаливое присутствие. Итак, я обращаюсь к Вам, мадемуазель.

2

Я понятия не имею, кто Вы: русская, немка, еврейка, француженка? Какого Вы роста? Хорошо ли сложены? О, не подумайте, что я воображаю Вас в роли моей подружки. Всё же мне было бы жаль, если бы Вы оказались бесплотной тенью. Как Вы догадались, я сочинитель. Я вызвал Вас к жизни, и вот — Вы существуете. Светает — и Вы прошли за моим окном. Вы живёте своей жизнью. Вы окутаны тайной, хотя и находитесь где-то поблизости. Скажу больше: Вы, мадемуазель, во всём Вашем женском естестве, — Вы, может быть, не что иное как моё второе «я». И я рисуюсь перед Вами, как если бы рисовался перед самим собой; собственно, оттого Вы и стали женщиной, чтобы мне было перед кем рисоваться. Я кокетлив, как все сочинители, — Вы это уже заметили.

Ах, я знаю, что Вы скажете. Игры с самим собой, бирюльки. А всё для того, чтобы заглушить невыразимую тоску жизни. Допускаю, что так оно и есть; *na und* (ну и что)?

3

Как бы то ни было, Вам придётся запастись терпением. Ведь я собираюсь говорить о том, что Вас, пожалуй, не так уж и занимает. Начнём хотя бы с уже надоевших ламентаций по поводу того, что никто ничего не читает.

Ещё лет сорок лет назад нам объяснили: Автор умер. Теология литературы завершается самоубийственной констатацией: *Gott ist tot*. Если флюберовский автор мог быть уподоблен демиургу, логично было ожидать, что его постигнет эта судьба.

Автор исчезает в своём произведении, превращаясь в голос, неизвестно кому принадлежащий, — пусть так; теперь кажется, что мы знали об этом и без Ролана Барта. Что нас, однако, обескуражило, так это не столько пропажа отправителя, сколько исчезновение получателя. Писательство и его «продукт» превратились в *poste restante*, письмо до востребования, и вот это письмо лежит на почте, и никто за ним не приходит. Некому придти: вслед за Автором испустил дух и Читатель.

И снова, дорогая, — ведь я чувствую, что Вы не только молчаливая слушательница, но и безмолвный оппонент, — Вы снова хотите сказать: зелен виноград! Писателю любо думать, что он слишком хорош для этой публики.

Одно из двух: либо ты плохой писатель, либо читатели в самом деле не доросли до тебя. Но дело в том, что критерий качества устанавливаешь не ты и не читатель, — его устанавливает рынок.

Ты пишешь слишком сложно, у читателей не хватает терпения разгадывать твои ребусы. Да и к чему? Рынок ориентирован на вкусы и потребности потребителя, которые сам же он и воспитывает. Литературу пожрал кольпортаж. Литературу вытеснил телевизор. Мы всё это знаем. О чём, однако, мы лишь теперь догадываемся, так это то, что исчезновение читателя опрокинуло всю социологию литературы. Долой социологию! Так ей и надо.

Каков поп, таков и приход; но мы-то, если продолжать эту диатрибу на языке пословиц, мы — сами с усами. Великое открытие, мадемуазель!

4

А вот Вы мне скажите. Вы-то сами — любите ли Вы литературу? И если это действительно так, не кажется ли Вам, в самом де-

ле, что весь смысл, всё оправдание безумного человекоядного века, который только что остался у нас позади, — в том, чтобы о нём написала литература?

Видите ли, моё отношение к литературе — в некотором роле платоновское. Я представляю себе художественную словесность как некое бессмертное сверхбытие, которое существовало до нас и переживёт всех нас, и диктует нам, не считаясь с нашей волей, свою волю.

Светаёт. Апрель. Мысль написать об этом оттого, вероятно, и явилась, что на дворе весна. Написать, не думая о литературе, как всё было. А как было? Вот тут-то и подстерегает коварство твоего ремесла.

Писателю надоело быть писателем, он хочет вернуться к тому, кем он является на самом деле — просто человеком как все.

Вообразите хозяйку на званом вечере — нарядно одетую, тщательно причёсанную. Проводив гостей, усталая и возбуждённая, она сбрасывает платье, в домашнем халате, опускается в кресло перед зеркалом, чтобы стереть макияж. Ей приятно остаться наедине с собой. Не надо улыбаться, кокетничать, развлекать гостей. Но она отвыкла быть самой собою.

5

Среди многих профессий, которые мне приходилось осваивать, была профессия журнального издателя. Среди многих великолепных замыслов, которые я не осуществил, были два капитальные сочинения: «Записки разгневанного редактора» и «Записки растроганного автора». Но мне всегда казалось, — от этого взгляда я не отказываюсь до сих пор, — что литературный журнал есть некий сверхавтор. Рано или поздно он начинает распоряжаться и писателями, и редакторами; сам решает, что плохо, что хорошо, превращается в организм, наделённый собственным независимым слухом и зрением, живущий собственной жизнью, и, может быть, это и есть идеальный журнал. Можно подыскать другие сравнения, например, с кораблём, который качается на волнах переменчивой судьбы, то и дело рискует сесть на мель или разбиться о скалы... Но воздержимся от таких метафор. В юбилейные дни полагается сказать что-нибудь хорошее, что-нибудь ободряющее.

На банкете по случаю славного столько-то-летия нужен тост с добрым пауптствием. Что бы такое изобрести? Я хочу пожелать

журналу, чтобы в нём появился Критик. О сочинителях можно не беспокоиться, они найдутся. Сочинители не любят критиков. И в то же время каждый мечтает о Критике, как мечтают о женщине, которая тебя «поймёт». Писатель грезит о Критике с большой буквы. О Критике, который любил бы литературу, а не себя в литературе, который много знает, но не превращает свои статьи в выставку эрудиции, о таком Критике, который был бы абсолютно неподкупен, не боялся оскорбить литературных генералов, развенчать ложных кумиров и хотя бы раз в месяц (разве это так много?) откапывал новые таланты. О Критике, который не обслуживает литературу, но формирует литературный процесс и определяет лицо журнала. Ибо если журнал — это в самом деле целостный организм, то Критик — его душа.

6

Meine Zeit, речь 75-летнего Томаса Манна, произнесённая 21 мая 1950 года, на переломе столетия, которое для нас теперь то же, что для Манна — девятнадцатый век. Как Манн до поздней старости признавал себя сыном минувшего века, так люди моего поколения не могут не видеть в себе детей и питомцев века предшествующего. Но наше отношение к прошлому иное. По крайней мере, о себе я с уверенностью могу сказать, что взираю на этот только что догоревший XX век, а вернее сказать, на Историю, — совершенно иначе. Жизнь Т. Манна регулярно и закономерно вплетена в движущуюся панораму исторических событий, свидетелем которых он был; он видит себя полномочным представителем своего времени и более того, субъектом Истории. Не знаю, вправе ли я говорить от имени моих сверстников, от имени «поколения», но думаю, что для человека, которому удалось выбраться из-под колёс какого-то чудовищного агрегата, желание очнуться от кошмара истории (как говорит герой Джойса) более чем естественно; комплекс жертвы присущ не мне одному.

Часы моей жизни пошли в январе 1928 года в тогдашнем Ленинграде; вскоре родители переехали в Москву, где и прошло моё детство. Мой отец был государственным служащим средней руки, мать окончила Петроградскую консерваторию и готовилась стать профессиональной пианисткой. Мои родители, вся тогдашняя родня, как и все мои предки, были евреи, в семье говорили по-русски, идиш, язык старых родственников, я стал кое-как понимать лишь

после того, как научился в детстве немецкому. Моя мать была больна и умерла молодой женщиной, я был воспитан моим отцом и домработницей, простой русской крестьянкой, которая меня любила и которую я помню всю мою долгую жизнь.

7

Несколько лет подряд меня увлекала мысль о синтетическом романе, о книге, которая «подвела бы итог» этому столетию и соединила личную и глубоко интимную жизнь человека, жизнь в самом себе, — с историческим временем («мёртвым временем народов» — Гёльдерлин); по разным причинам этот проект оказался несуществим. Нечто иное — это синтетическая проза, под которой я подразумеваю прозу, воспроизводящую (или эксплуатирующую) свойство человеческого сознания пребывать одновременно в разных временах и местах.

(См. «Реквием по ненаписанному роману».)

8

К роману — если это роман — «Взгляни на иероглиф». Вы можете не поверить, если я скажу, что человек, о котором здесь идёт речь, существует или существовал на самом деле. Читатель вправе предположить два крайних случая: 1) рассказ является автобиографическим, 2) рассказ выдуман от начала до конца. Важно другое — оно, собственно, и составляет тему этого сочинения. Назовём её так: деспотизм памяти. Человек, посетивший родные места после многих лет отсутствия, сознаёт он это или нет, остаётся во власти воспоминаний. Образы прошлого — энграмма родины — впечатаны в его сознание, пропитали его язык, проникли в его сны, вытравить их невозможно. Разумеется, он слышал о переменах; как всякий нормальный турист, он хотел бы взглянуть на них своими глазами. Как всякий мыслящий человек, он готов оценить их «объективно». Но всё новое, что он видит, представляется ему всего лишь подновлённым старым. Наспех сколоченными кулисами, задача которых — заслонить прошлое. Незачем обсуждать, насколько отвечает это впечатление тому, что имеется на самом деле. В пространстве повествования этот вопрос не ставится. К тому же никто не знает, что происходит на самом деле.

Память, как сказано в одном месте, ревнива. Прошлое вечно, настоящее зыбко, образ прошлого принимает из него лишь то,

что служит для него подтверждением, и на каждом шагу путешественник узнаёт город своей юности. Город убеждает его в том, что он ничего не забыл. Память владеет единственной и безраздельной истиной.

Несчастье в том, что он мученик памяти. От многого знания, говорится в Писании, много печали. Он ходит и вспоминает. Но воспоминания запрещены в городе, который полон решимости начать новую, новую, новую — хотя бы и неприглядную — жизнь. Память гнетёт путешественника, как старость. Память — это и есть старость.

И он хочет расстрелять свою память.

9

Повесть «Плюсквамперфект и другие времена». Мне кажется, там есть своя особая мелодия, существенная не только для нынешнего времени. Я понимаю: её выщелушивание огрубляет замысел. Впрочем, она остаётся более или менее затушёванной, так что о ней стоит сказать отдельно. Эта музыкальная тема — присутствие дьявола. Не то чтобы доцент и, по-видимому, полунемец Гартман — сам дьявол; скорее этот персонаж — частная, приспособленная к условиям места и времени репрезентация дьявольского, inferнального начала. Всё, о чём он вещает, красуясь перед девицами и в конце концов влюбляясь в одну из них, с тем чтобы её в конце концов умыкнуть, все его софизмы вплоть до центрального тезиса о том, что существует только то, что можно описать человеческим языком, Бога описать невозможно, следовательно, его нет, а вот князя тьмы описать можно, и так далее, и тому подобное, — всё это — словоизвержения дьявола. Это его аргументация.

Нечего и говорить о том, что это амплуа допускает и такие, в реальной действительности маловероятные повороты, как то, что он неожиданно появляется в мундире майора госбезопасности — не следователя: бери выше, — и разыгрывает перед арестантом странную игру, говоря, что смысл всего происходящего с молодым человеком — единственно в том, чтобы впоследствии, через много лет, описать всё это.

Другая тема, тоже музыкальной природы (и из тех, которые меня всегда занимали), — юношеская, почти инфантильная любовь, противостоящая дьявольскому времени и его репрезентатору, обречённая развенчанию и краху.

Должен сказать, что такие домыслы и толкования вовсе не приходили мне в голову, когда я принимался за сочинение этой повести, но стали вырисовываться по мере того, как я продвигался вперёд, возвращался к старому, снова пытался двигаться; и, может быть, они вовсе не обязательны. Вполне отдаю себе отчёт в том, что они покажутся слишком сложными для читателя (если вообще найдутся читатели). Но что делать?

10

16 янв. 2009. Сегодня мне 81 год. Проснулся в шесть, долго лежал, пытаюсь заснуть. Рассвело: бесснежный пасмурный день, туман. Слабый мороз. Несколько телефонных звонков. Всё моё будущее превратилось в прошлое. Второй год без Лоры. Жизнь стала похожей на шахматную партию, которую продолжают после того, как поставлен мат. Фигуры передвигаются, а короля нет.

Я всё ещё пытаюсь писать и почти с ужасом думаю о том, что будет, когда моё воображение исчерпает себя окончательно.

12. февр. 09. Волшебный день, за ночь напало снега, солнце слабо просвечивает сквозь облака, тут бы и прошвырнуться на лыжах, но лыжи давно куда-то подевались, и Лоры нет больше — как мы ходили на лыжах по глубокому снегу, на лесной поляне близ нашей больницы в Есеновичах, как скользили, брели вечерами по заснеженным просекам огромного лесного парка между Neuperlach и Grünwald'ом, как катались в Южном Тироле, в Доломитах, в виду пылающего на солнце Сада Роз.

Мы потомки русской литературы, слабые, немощные, но потомки, и теперь можно только недоумевать, как я дожил до таких лет: я в том возрасте, когда Пушкин давно уже лежит в могиле, я старше Тургенева, старше Достоевского, вдвое старше Чехова, один только Толстой постарше меня, да и то лишь на какой-нибудь год.

11

Она выходит из спальни — я вожусь с чем-то на кухне, раскладываю продукты, привезённые с рынка, — она идёт мне навстречу, бедная, без парика, с безволосой головой, исхудавшая.

Она всё время спрашивала: ты меня любишь? Почему ты ничего не говоришь? А я молчу, потому что это слишком важно.

Был такой случай: я поехал на Viktualienmarkt, приезжаю домой и вижу, что она в полном изнеможении от домашних дел, задыхается, а я просил её не работать. И я сказал, ляпнул: «Ты делаешь мне назло». И вдруг она разрыдалась, чего никогда с ней не было за всё время болезни, она вообще никогда не плакала, не жаловалась никогда в самые трудные времена. Заболев, держалась с исключительным мужеством. И я понял, как важно было для неё убедить себя и меня, что она всё ещё стоит на ногах, всё ещё сопротивляется и может что-то делать. У меня даже не было мысли, что не пройдёт и месяца, как я сам буду её оплакивать. Она уже сильно исхудала и двигалась с трудом, и я гладил её бедную стриженую голову, и всё это то и дело встаёт перед глазами, и я не прощу себе никогда этой дурацкой, бестактной, жестокой реплики.

12

Янв. 2009. Первая неделя декабря 2007, её последний день дома. Утром приехала Густава Эвердинг (вдова Авг. Эвердинга, чей сын сделал мой карандашный портрет во время съёмок фильма в Hochschule für Filmkunst und Fernsehen), приехала попрощаться перед туристической поездкой. Я принёс из погреба шампанское.

Накануне доктор Völk, пытался что-то сделать; не удалось. Отъезд в больницу Harlaching, Эйтан Финкельштейн. В спешке я опрокинул бутылку с яблочным соком, замываю пол в спальне. По дороге спор, каким ехать маршрутом. Въехали на территорию больницы не с той стороны, я веду Лору мимо корпусов, она еле передвигается. Долгое ожидание в приёмном отделении, наконец в Station. Грубая, но, как выясняется, заботливая санитарка. Через два-три дня визит Густавы и Frau Dr. Krieg, заведующей паллиативным отделением (по её приглашению я там побывал, недавно организованное, уютное, с прекрасным обслуживанием отделение для безнадежных пациентов).

Перевод — везут на каталке по подземному переходу. Как и до этого, отдельная палата. Всё время отгоняешь от себя страшную мысль. Илюша прилетел на два дня. Она под капельницей с морфинным препаратом. Возвращаясь, застряли в лифте.

На другое утро я провожаю сына до станции S-Bahn Engelschalking, оттуда он уезжает в аэропорт. В больнице. Фрау доктор Криг. Долгий тихий разговор. Я слышу, как на вопрос врача она отвечает,

что не хочет жить. Хочет только дотянуть до моего дня рождения. Она дремлет. Я возвращаюсь домой, вечером разговор по телефону, она спокойна, чувствует себя неплохо, собирается спать. Утром я приду, как всегда. В этот вечер очередной абонементный симфонический концерт в Гастайге. Freude Gräfin von Rechberg, старый друг, справляется о Лоре.

Утром звонок из больницы, дежурная сестра: «Ihre Frau ist gestorben».

И вот она лежит в могиле на Восточном кладбище, под камнем, который я ей поставил, с православным крестом и звездой Давида, с камушками по еврейскому обычаю, лежит уже целый год, от неё почти ничего уже не осталось, и она видит сны.

13

16 янв 2009, 81 год. Происхождение.

О нём мало что известно. Моя мать, Розалия Павловна (Пинхусовна) Файбусович, урождённая Рубинштейн, родилась в Гомеле 14 января 1901 года, умерла (ревмокардит, декомпенсированный порок сердца — вероятно, митральный стеноз, и недостаточность кровообращения) 6 апреля 1934 года в возрасте 33 лет. Отец, Моисей Григорьевич Файбусович, родился в Новозыбкове 15 января 1900 года, умер 5 ноября 1971 г. от эритремии, осложнившейся тромбозом мезентериальных сосудов).

Я родился в Ленинграде 16 января 1928 г. Моё паспортное, практически никогда не употребляемое имя «Героним» представляет собой гибрид древнееврейского Грейнем и греческого Иероним.

Новозыбков, бывший уездный город Брянской губ., известный как слобода с конца XVII, ставший городом в начале XIX столетия, был населён старообрядцами и евреями (входил в черту оседлости). Мой отец происходил из бедной семьи. Его отец, мой дед Грейнем, был ремесленник (картузник?), считался выдающимся знатоком Закона. Я унаследовал от него рыжую бороду и книжность. Он умер сорока с небольшим лет от рака пищевода, оставив семью без средств. В этой семье было пятеро детей: Исаак, Елена, Моисей, Фаина и ещё одна девочка, умершая подростком. О бабушке ничего не известно.

Мой дядя Исаак Григорьевич приехал вместе с моим отцом в Петроград в начале 20-х годов, много лет, до своей болезни и смерти

в 70-х годах (пережив на несколько лет моего отца) был служащим в системе Центросоюза. Моя тётка, старшая сестра моего отца Елена Григорьевна не была замужем, в 30-х гг. жила в Москве вместе с моим отцом и мною, в моём воспитании участия не принимала, после женитьбы моего отца в 1939 г. на Фаине Моисеевне Новиковой (сестре жены Исаака Григорьевича и вдове расстрелянного в 1937 г. «врага народа») переехала в Ленинград, пережила блокаду, умерла в 60-х гг. Многие годы работала машинисткой в разных учреждениях. Другая тётка Фаина Григорьевна Пастернак вышла замуж в Пермь (тогдашний Молотов) и прожила там всю жизнь; умерла не ранее 60-х годов.

Мой отец Моисей Григорьевич (1900—1971) окончил коммерческое училище в Новозыбкове, подростком репетировал соучеников. В Петрограде поступил в Технологический институт, но не окончил его из-за отсутствия средств. В 1930 году переехал с семьёй (моя мать и я) в Москву. В начале войны записался добровольцем в так называемое народное ополчение, почти полностью погибшее, зимой 1941 г. выбрался из окружения и вернулся в Москву. Он был служащим (плановиком) в системе народного комиссариата путей сообщения, позднее — в управлении городского пассажирского автотранспорта. Не был членом партии, не сделал карьеры.

Моя мать Розалия Павловна (1901—1934) была пианисткой, окончила петроградскую консерваторию; по-видимому, происходила из более состоятельной семьи, чем мой отец. О её родителях мне ничего не известно. Смутно помню полную старуху в длинном платье, седую с тёмными глазами, которую мы посетили (или посещали) с моим отцом после смерти матери.

Если верить Шопенгауэру, ребёнок наследует характер от отца, способности — от матери. В моём случае это подтверждается. Судя по детским фотографиям, я был больше похож на свою мать, чем на отца. На мою мать был похож в детстве и мой сын.

В 1939 г. мой отец женился на Фаине Моисеевне Новиковой, вдове арестованного в тридцать седьмом году и погибшего человека, обвинённого в том, что в 20-х годах он «примкнул к троцкистской оппозиции». Она приехала к нам из Ленинграда, и у меня появился четырёхлетний сводный брат Толя (Анатолий Моисеевич Файбусович), усыновлённый моим отцом.

Ярким человеком среди моей родни была Елизавета Мироновна Левенталь, двоюродная сестра моего отца, пианистка и препода-

ватель музыки. Её муж, дядя Яша, был высокообразованным человеком; заболел шизофренией. Два сына; младший стал художником-постановщиком Большого театра.

14

Моя жена Лора Викторовна родилась в Казани 4 марта 1938, умерла в Мюнхене 18 декабря 2007 года. Её бабушка по имени Эльза была немкой, уроженкой городка Мариямполь (юго-запад нынешней Литвы), вышла замуж за русского унтер-офицера Лебедева, с которым, по-видимому, переселилась в Вышний Волочёк Тверской губернии. В начале войны была депортирована в Казахстан, где и умерла. Отец моей жены, Виктор Александрович Лебедев (в детстве говоривший по-немецки) родился в Вышнем Волочке. Был инженером-строителем, участником войны в звании капитана. После тяжёлого ранения вернулся с фронта инвалидом (ампутация левого бедра), пытался поселиться с семьёй в Крыму, но возвратился в родные места и окончательно поселился в Калинин (Тверь); как все инвалиды войны, оказался почти без средств, зарабатывал уличной продажей домашних пирожков, стоя на костылях, с лотком. Позже руководил строительными работами и получил квартиру в одном из домов, возведённых немецкими военнопленными на проспекте Чайковского. После инсульта правосторонняя гемиплегия и потеря речи; я помню его лишь сидящим в инвалидном кресле-каталке. Он умер от повторного нарушения мозгового кровообращения в 1964 г., пятидесяти с небольшим лет от роду, незадолго до рождения внука — моего сына Ильи. Мать моей жены — Антонина Васильевна Лебедева, урождённая Барсукова; семья имела угро-финские (карельские) корни. А.В. родилась и выросла в Вышнем Волочке, была бухгалтером, умерла весной 1982 г. от инфаркта миокарда, ей было за 60.

15

Григорий Наумович Новиков (Гера) был мой родственник степени, которую я не могу определить: его мать, Ревекка Израилевна Новикова, приходилась тёткой моему отцу. Она была дочерью гомельского раввина, против воли отца уехала юной девушкой учиться в Варшаву, раввин лишил её средств, но она сумела окончить ме-

дицинский факультет, стала врачом-стоматологом; вплоть до её смерти в 1958 (?) году рядом с подъездом дома на Остоженке, тогдашней Метростроевской, где она жила, висела её вывеска. Одна из комнат трёхкомнатной квартиры была отведена под кабинет. К этому времени она была состоятельной женщиной, опекала всех родственников, была человеком весьма твёрдого характера, порой с чертами самодурства.

Её муж, которого я не помню, отец Геры, был журналистом, кажется, даже работал в «Правде»; весной 1938 года был арестован. Жене сообщили, что он получил 10 лет без права переписки, по видимому, она не знала (или не хотела знать), что это означает; позже ей отвечали на многочисленные заявления и запросы, что он отсидел свой срок, вернуться не может, где-то работает, чуть ли не обзавёлся новой семьёй. Война закончилась, она всё ещё ждала его и умерла в уверенности, что он жив. Во времена перестройки, в то короткое время, когда родственникам разрешалось заглянуть в следственное дело (но не оперативное!), сын узнал, что отец был расстрелян тогда же, в 1938 г.

От него осталась дома странным образом не реквизированная, богатая библиотека. В предпоследний год войны, когда я вернулся из эвакуации и работал рабочим-сортировщиком на Газетно-журнальном почтамте на улице Кирова, Гера давал мне читать дореволюционного Леонида Андреева в издании А.Ф. Маркса, «Путешествие на край ночи» Селина с предисловием Бухарина, первое издание «Визы времени» Эренбурга (Гера был его почитателем и, возможно, не без влияния Эренбурга всю жизнь грезил Францией и обожал французскую литературу) и разные другие редкие книжки из отцовской библиотеки. Читал мне свои рассказы, этюды и переводы французских поэтов.

Гера был старше меня на семь лет; тогда это воспринималось как значительная разница лет. Он был студентом МЭИ (Московского энергетического института) и вместе с институтом был эвакуирован на Урал, в город Лениногорск, иначе Риддер. Мы, то есть я, мой сводный брат и моя мачеха, находились в Татарской АССР, на Каме. Однажды, это было году в 43-м, я получил от Геры письмо, где он писал, что «не прочь затеять со мной литературную переписку», и для начала предложил тему: что я думаю о писателе Илье Эренбурге. Я с восторгом схватился за эту идею, но вынужден был ответить, что ничего не думаю об Эренбурге, так как этого писателя не читал.

Переписка, однако, затеялась и, думаю, имела для меня очень большое значение. Я услышал от Геры имена мне доселе неизвестные или малоизвестные: Барбе д'Оревилли, Вилье де Лиль Адан, Эрнест Ренан и множество других; однажды он прислал мне большое письмо, посвящённое Эмилю Верхарну, где были отрывки в переводах Брюсова и Г.Н. Новикова. Все письма утащили эти крысы во время обыска в ночь ареста.

Приезжая из Мюнхена в Москву, я посещал Геру, теперь он жил уже не на Остоженке, а в Выхине у чёрта на рогах. Жена его умерла, с двумя дочерьми (одна из них жила вместе с ним) отношения были натянуты, он обедал в столовой, жаловался на одиночество. Был пенсионером после многих лет преподавания в электротехническом техникуме, где его любили. Он сохранил прежнюю любовь к собирательству: хранил мои письма (и собственные рукописи), вёл дневник погоды, коллекционировал репродукции западных художников, карандаши, Бог знает что. О его смерти я узнал от младшей дочери Аллы, все его бумаги остались в письменном столе, в комнатке, которую он занимал. С тех пор я потерял связь с его дочерью, для меня было ясно, что бумаги отца и его занятия её не интересовали.

16

1 мая 2009. Я лёг спать и заснул, и проснулся оттого, что кто-то коснулся одеяла у моих ног; я вскочил с криком (как мне казалось): что? что?.. По другую сторону, перед кроватью, где прежде спала Лора, она стояла в домашнем халате. Я старался разглядеть её и, наконец, увидел, что там никого нет. Лёг, но не мог уснуть и спустя некоторое время принял снотворное.

ОКНА. КНИГА НИ ДЛЯ КОГО

(набросок)

Madame! ich habe Sie belogen. Ich bin nicht der Graf von Ganges.

Heine. «Ideen. Das Buch Le Grand»¹

Мадемуазель! Некий молодой человек записал в начале позапрошлого века: «Первый поцелуй — начало философии». Шопенгауэр не читал Новалиса. Но во втором томе трактата «Мир как воля и представление», в главе 44, «Метафизика половой любви», он спрашивает, отчего философы обошли вниманием этот феномен, и возвещает о своём открытии: любовь мужчины и женщины, какой бы возвышенной она ни казалась, порождена заботой о продолжении рода. Нашёл топор под лавкой.

Мировая воля, основа всех вещей, зовёт к жизни всё новые существа; и будущий ребёнок пробуждается из небытия уже в ту минуту, когда влюблённые впервые встречаются глазами друг с другом. Стремление существа ещё не живущего, но уже пробудившегося из первоисточника всех существований — жажда вступить в бытие — породила страстное чувство друг к другу будущих родителей. Томящееся небытие стучится в мир.

Я охотно поставил бы это в эпиграф к моему рассказу, если бы не облако скандальной славы, до сих пор витающее над сорок четвёртой главой; впрочем, то, что невозможно доказать, нельзя и опровергнуть. Я предпочёл бы говорить о судьбе. Что такое судьба? Нам кажется, что мы это знаем или, по крайней мере, чувствуем, но, пытаясь объяснить, вязнем в словах. Итак, не стану вас больше утомлять туманными рассуждениями и учёными цитатами.

*

Проснувшись в крошечной тьме, я спускаю ноги с моего ложа, сижу. Сколько-то времени требуется, чтобы вынырнуть из безвременья в земное время.

¹ Сударыня, я обманул Вас. Я не граф Гангский. (Гейне. «Идеи. Книга Легран».)

На часах половина шестого. Я скитаюсь по комнатам. Неохотно брезжит рассвет. Кофе всё ещё не готов, а тем временем время уходит. Жизнь коротка! Жизнь уносится мимо, а ваш поклонник всё ещё ополаскивает посуду после завтрака. Но вот, наконец, мы у цели: я зажигаю лампу и включаю аппарат для записывания снов. Вам захотелось, чтобы я рассказал «что-нибудь этакое». Что же именно?

Милая барышня, я всего лишь сочинитель и готов даже вас принять за литературный персонаж. Я понятия не имею, кто вы: русская, немка, еврейка? Какого вы роста? Хорошо ли сложены? Вы окутаны тайной, несмотря на то, что находитесь поблизости. Скажу больше: вы, быть может, в некотором смысле моё другое «я». Моё неизвестное, безымянное, прячущееся за портьерой, скользнувшее за окнами «я».

*

Однажды я присутствовал на сессии районного совета, полуфантастического учреждения, куда я был избран, так как состоял в почётной должности главного врача сельской участковой больницы; дело было при царе Горохе. Выступали депутаты, доклад о борьбе с преступностью сделал местный прокурор. В древнерусском городке, каких немало сохранилось в северо-западных областях нашего отечества, в магазинах по известным обстоятельствам не было ничего, кроме несъедобных консервов. Зато существовал мясокомбинат, поставлявший свою продукцию для начальства обеих столиц. Рабочие воровали колбасу; мы, патетически воскликнул прокурор, этот гнойник вскроем.

Далее с сообщением о столь же неосуществимой задаче выступила передовая колхозница. Её рассказ напоминал историю с конюшнями элидского царя Авгия, о котором Гомер упоминает в XI песне «Илиады». Уже издав себя, приближаясь к владениям Авгия, Геракл почувствовал смрад, Двор тонул в дерьме. Герой придумал оригинальный способ санации.

Докладчица говорила о коровниках колхоза имени Ильича. Они тоже не чистились много лет. Скот, подобно кобылицам Авгия, стоял по брюхо в навозе. К несчастью, поблизости не было реки, да и народ не слышал о греческой мифологии. Подумали, почесали в затылках и нашли решение — махнуть рукой на загаженные хлева и воздвигнуть новые, в рассуждении, что на сколько-то лет их хватит; а там посмотрим. Но к чему я это рассказываю?

*

А вот к чему: видите ли, я фаталист. Ничто в жизни, уверяю вас, не проходит даром. На второй год учёбы в институте студенческий отряд отправился на целину. Принцип грязных коровников (назовём его так) был положен в основу грандиозного государственного проекта. Не то чтобы в европейской части страны не хватало пахотной земли, но уж очень всё было запущено. Чем пытаться всё это разгрести, вновь и вновь латать вконец прохудившееся сельское хозяйство, не лучше ли на новых землях начать всё с начала. И вот эшелоны товарных вагонов со студентами, солдатами, школьниками старших классов, колонны грузовиков и тракторов двинулись в дальний путь, в казахские степи. Город Акмолинск, мало похожий на то, что вы и я называем городом, был переименован в Целиноград. Государственный энтузиазм, вечно озабоченный поиском новых фантомов, обрёл свежую пищу.

Вначале дело как будто пошло. Груды зерна, просыпанного из кузовов машин, несущихся к элеваторам, выросли вдоль импровизированных дорог, на окаменевшей глине, и степные орлы, сидящие на пригорках, с изумлением взирали на эти гонки. Но спустя два-три года хлеб перестал родиться, пыльные бури развеяли тонкий плодоносящий слой. Впрочем, это было позже, а речь у нас о другом.

Мадемуазель, замечали ли вы, что многое в этой жизни совершается по законам литературы? Вопрос в том, кто этот автор, сочинивший нас. Лукавый, всегда себе на уме романист обманывает нас, уводит в сторону, сбивает с толькo мнимыми случайностями; оттого нам кажется, будто всё происходило само собой. Таков секрет искусства: персонажи существуют как бы сами по себе, живут собственной жизнью — а между тем всё подстроено. Судьба (назовём так этого Автора) шагает в маске, прячется за углом, украдкой заглядывает в окно, неслышным шагом прокладывает свой путь.

Нечего и говорить о том, что ни о чём таком ваш слуга не догадывался, ведь тайнопись жизни может быть расшифрована лишь *post factum*. Судьба есть понятие ретроспективное. Судьба, не правда ли, только тогда и оказывается судьбой, когда всё завершилось. Но когда всё это началось?

*

Сойдя с поезда, я перешёл через пути по эстакаде, отыскал адресное бюро. Город был разрушен дважды: при отступлении

наших войск и в уличных боях при возвращении; из окна трамвая приезжий видел пустыри на месте сгоревших кварталов, но центр был восстановлен. Круглая главная площадь, откуда тремя лучами расходятся магистральные улицы — таков был проект архитектора Карла Ивановича Росси, отменивший древнее прошлое княжеской столицы, соперницы алчной Москвы. Медицинский институт только что переехал из Ленинграда. Импо-зантное здание выходило покоем на одну из центральных улиц. Когда-то здесь помещалась гимназия, а в недавние времена — известное учреждение, подобие трехъярусной вселенной Данте: наверху рай таинственных вершителей судеб, апартаменты начальств; средний этаж — чистилище, кабинеты следователей; в подвалах — камеры погибших душ и боксы-отстойники для вновь преставившихся.

Нет, какая всё-таки ирония судьбы! Открою вам страшную тайну: я не граф Гангский. Я бывший сиделец. Трёх месяцев не прошло, как меня выпустили. Теперь в одном из бывших кабинетов, в первом этаже, сидела барышня из приёмной комиссии, принимала документы.

Был прекрасный майский день, выйдя из института, я увидел ограду городского сада. В счастливом одиночестве — вокруг ни души — я сижу на скамье, с улицы доносятся звонки трамваев. В конце аллеи, ведущей от ворот, посреди клумбы, — выкрашенный серебряной краской, с поднятой рукой, алебастровый монумент отбывшего в иной мир, но всё ещё не развенчанного Вождя. Я читаю письмо с зашифрованным обратным адресом.

Письмо было из лагеря. Старый приятель, вдвое старше меня, украинский немец Брайткрайц, так он произносил свою фамилию, просил прислать ему книги. Я не уставал дивиться причудливой судьбе. Трёх месяцев не прошло!.. Какое это счастье, мадемуазель, сидеть на скамье в безлюдном парке, в незнакомом городе; никто не гонит на работу, никто не запретит мне двинуться на вокзал, ехать в Клин, где разрешено прописаться, и уже начали отрастать волосы на моей наголо остриженной голове, и вместо ватного бушлата, вислых штанов, вместо почернелых портянок и буро-жёлтых, на грубых подшивках, расширяющихся книзу валенок на мне обыкновенная, лёгкая и роскошная гражданская одежда, обыкновенные носки и ботинки.

Были нешуточные основания сомневаться, выйдет ли что-нибудь из этой авантюры. Во-первых, мой волчий билет — паспорт с особой отметкой. Во-вторых, забытые школьные предметы. Четыре вступительных экзамена. Положим, написать сочинение не составляет труда. Иностранный язык — не проблема. Зато химия и физика... Я рьяно взялся за дело. Зубрил, посещал лекции для абитуриентов. Лекции происходили в разных местах, в том числе в московском Планетарии на Садовой-Кудринской.

Тут, между прочим, случился малозначительный эпизод, один из тех обходных манёвров, к которым прибегает Сочинитель. Расскажу о нём вкратце. Я стоял в очереди перед кассой, подошла пара и стала за мной. Кавалер был невзрачный юнец, лицо без речей. Девушка — прелестное белокурое существо с нежным подбородком, наивными губами, с обдуманно растрёпанной причёской. Она командовала своим одноклассником.

Я купил билеты для себя и для них. После лекции дошли втроем до угла площади Восстания. Барышня помахала рукой надоевшему поклоннику; он растерянно смотрел нам вслед.

Она была готова идти пешком, беспечно болтая, до Смоленской площади, и ещё дальше, и в конце концов мы оказались перед её домом, вошли в подъезд, и была сделана попытка обняться. Мне казалось, я чувствовал зов, исходящий от её тела. Ещё два-три встречи, и мы поднимемся по лестнице, войдём в квартиру: умышленно выбран час, когда родителей нет дома. Тишина, июльский полдень, пятна солнечного света на полу и широкий диван. Тут, однако, Автор (о котором уже говорилось) сказал себе: баста. Судьба сулила иное. Это значило — в переводе с метафизического языка на обыденный, — что мне «не до этого».

У меня не было времени продолжать знакомство, я не имел права посягать на её неопытность, меня томили другие заботы. Я вообще был человек без прав, лицо без определённых занятий, выходец из подземного царства теней. От таких надо держаться подальше. Любой милиционер мог меня остановить и потребовать документы. И тотчас, увидев пометку в моей новенькой книжечке, пахнувшей скверным клеем, опознать во мне паспортного инвалида. «Пройдёмте». — «Куда? зачем?..» — «Там разберутся».

Мадемуазель, вы не знаете нашу страну и не помните ту эпоху.

*

Я был мертвецом среди живых, в моём пиджачке и свежееотглаженных брюках, оставшихся у родителей от далёких времён, я был заgrimирован под живого и двигался, и говорил, словно был живым человеком, и старался не вставлять в свою речь слов подземного языка, и моё имя значилось на доске объявлений в списке принятых, и я бродил по незнакомому городу в поисках жилья, и надеялся, что меня здесь пропишут.

Время было либеральное. Но известное дело: кто однажды отведал тюремной баланды — будет жрать её снова! Не могло же вечно длиться то, что в ту пору называлось оттепелью. Хоть бы удалось проучиться, думал я, два-три года. А там, попав снова в лагерь, я не окажусь, как в первый раз, голым среди волков. Смогу быть лепилой, то есть «лекарским помощником», и не загремлю на общие работы.

Между тем нужно было до начала занятий поехать в колхоз убирать картошку, и вот однажды, сидя на поле в компании мальчиков и девочек, я заметил на просёлке издали шагающую синюю фуражку. Можете мне поверить: я струсил. Испытал панический страх, какого никогда не переживал в заключении. Бежать, спастись — куда?.. Милиционер дошёл до межи и свернул в сторону.

*

Был один знакомый, он вернулся из санатория, где подружился с директором Дома учителя в городе, куда меня привела судьба. И несколько дней я ночевал в этом Доме, в физкультурном зале. В огромных пустых окнах вспыхивала и гасла кроваво-красная уличная репклама. Утром я выходил из подъезда, сворачивал на главную улицу и шёл на лекции в институт. Но было совестно злоупотреблять добротой директора, и через несколько дней я перебрался в гостиницу, где не обратили внимания на отметку в паспорте, а может быть, не знали, что она означает. Я воспользовался этим эпизодом в одном из моих романов, который вы, к счастью, не читали.

Время от времени мне напоминали, что нужно сдать паспорт на прописку. Я возвращался в гостиницу поздними вечерами, надеясь незаметно проскользнуть мимо регистратуры. Голос дежурной остановил меня. «Вам повестка». Вызов в милицию. Сердце моё оборвалось, стало ясно: попытка начать жизнь заново, экзамене-

ны, которые я сдал на все пятёрки, счастливое зачисление в студенты — всё пошло прахом. Приказ покинуть город в течение двадцати четырёх часов. Я поплёлся в отделение.

Знаете ли вы это чувство человека, который останавливается перед мрачной контролёршей в мундире с лычками погон, с неотъемлемым бюстом и животом, перетянутыми ремнём с португеей, протягивает повестку, кажет свой ненадёжный паспорт, бредёт, как потерянный, по тусклому коридору мимо дверей с табличками, усаживается перед начальственным кабинетом и ждёт, ждёт. Мимо меня маршировали милицейские чины, поскрипывали сапоги. Кого-то вели, прочно держа за локоть. Но судьба была себе на уме. Первый вопрос был, знаю ли я такого-то. Оказалось, меня вызвали в качестве свидетеля. Сосед по номеру в гостинице, уехавший накануне, увёл казённую простыню.

*

Вы прошли за окном, отчего бы вам не заглянуть в мою берлогу? Я вас романтизирую, для меня вы — мечтательная барышня с тонкой талией, с наивно-испытующим взором, как у Амалии, кузины Гейне, — а на поверку, того и гляди, окажется, что вы сама трезвость. Внешность девушки обманчива или, лучше сказать, разоблачает её, нужно лишь приглядеться. И вообще мы живём в другом веке. Ничто так не меняет психологию и тактику молодой женщины, как её наряд; а мы живём в век нарочитого безобразия женской одежды.

Я морочу вам голову, разглагольствуя о Сочинителе, о Замысле, о том, что тропинки в чащобах жизни извилисты, но стрелка компаса всегда указывает в одну сторону. Есть два вида причин, учил Стагирит, *causae efficientes*, приводящие в действие механизм бытия, и *causae finales* — те, что ведут к цели. Существует задание.

Но, возразят мне, угадать судьбу, уловить её неслышную поступь — не значит ли расколдовать жизнь, преступить некий закон, хуже того: спугнуть судьбу, разрушить её нежную тайну? Мадемуазель, если я заранее уведомляю вас о Сочинителе, если посвящаю вас *ante factum* в эту тайну, то потому, что читаю повесть моей жизни дважды, от начала к концу и с конца к началу. Должен ли я развить эту мысль — любимую мысль о двух векторах времени?..

*

Я предстал перед высоким собранием, я возвращаюсь назад, это было собеседование — словечко тех лет — перед началом семестра, с новоиспечёнными студентами. За столом сидел декан факультета, перед ним стопка личных дел, вокруг, в креслах и на диване — члены педагогического совета, если я правильно называю этот синклит. А я — надо ли повторять? — я был тот, кто ещё недавно таскал лагерный бушлат и ушанку рыбьего меха, топал на рассвете, с пропуском бесконвойного, из зоны на станцию Пóбeж, самую северную остановку отсутствующей на картах железной дороги, тот, кто расчищал от снега рельсовые пути, заправлял керосином фонари стрелок, колол дрова и топил печи в здании полустанка, — комендант станции, так называлась эта должность; я оброс лагерной шерстью, и мне было 27 лет.

Меня уважительно спросили (взрослый человек, не школьник), кем я работал до института, ожидая услышать, что я фельдшер, теперь хочу стать врачом, что-нибудь в этом роде.

Вместо этого я сказал: «Я был в заключении».

Воцарилось недоброе молчание. И я догадался — трудно поверить! — что моих бумаг никто не читал. Барышня из приёмной комиссии наскоро перелистала документы — школьный аттестат, автобиография, справка о состоянии здоровья, справка с места жительства, что там ещё, всё на месте, — и сложила в папку. Никто не заглянул в злосчастную биографию, где, опасаясь наказания за сокрытие факта, я написал всё как есть. И не оттого ли, что никто это не читал, мне не чинили препятствий на вступительных экзаменах?

Кто-то, это был завкафедрой неорганической химии, заметил, что-де надо бы проверить документы.

Документы! Магическое слово, зловещий пароль.

На что декан, святая душа, возразил: «Но ведь у него есть паспорт».

Стало быть, уже проверили.

*

Проснувшись в шестом часу, я сажусь, спустив ноги с кровати, и думаю — о чём?.. Я влачусь по квартире. Холодный душ, кофе. Я впадаю в панику. Время уходит! Искусство вещь долгая, а жизнь коротка. Но, кажется, я уже говорил, что ничего не собираюсь придумывать. Загорается экран, похожий на блёклые небеса, на пустынную даль, на водную гладь. Пльвём. Куда ж нам плыть?

Мадемуазель! Я приближаюсь к финалу, ради которого всё и затеяно. Приняв мудрое решение бросить загаженные коровники и построить новые, труженики колхоза имени Ильича продемонстрировали то, что учёные экономисты именуют экстенсивным способом ведения хозяйства. Постановив распахать целину вместо бесплодного ковырянья на старых землях, правительство прибегло к тому же методу.

Закончилась двухмесячная экспедиция в азиатские степи, наступила осень, и уже не в товарных вагонах, а в пассажирском поезде, оставив позади полстраны, бравые целинники воротились во свояси. В городском театре, на той же главной улице, проложенной по чертежам Росси, где располагался медицинский институт, был устроен торжественный вечер. Я опоздывал. Случилась авария на линии, пустые трамваи стояли вдоль всей улицы. Пока я добирался с окраины, где находилось моё жильё, доклад был уже закончен, отхлопаны здравицы, вручены почётные грамоты. Начался концерт. Партер был заполнен доотказа. Я поднялся на балкон, туда тоже набился народ. Я углядел свободное местечко. Рядом сидела девушка, и первое, что я увидел, были её сияющие глаза.

*

Раз в году, в Судный день, решается участь каждого, утверждается, кому отойти и кому явиться на свет в предстоящем году, кому быть богатым, кому бедным, кого будут помнить, а кто будет забыт. Еврейское предание должно быть исправлено. Кто с кем встретится и свяжет с ним свою жизнь — об этом Тот, кто придумал фабулу нашей жизни, успел позаботиться много раньше, решение вынесено давно. Но путь к намеченной цели извилист.

С самого начала, вы могли это заметить, Сочинитель прикидывался реалистом. Данный литературный метод предписывает не вмешиваться в происходящее. Изображать жизнь так, словно она предоставлена самой себе, словно люди действуют по собственному разумению или неразумию и всё в мире происходит так как оно происходит. Мадемуазель, — это художественная иллюзия. Уверю вас, всё было подстроено.

И то, что кто-то надоумил меня попытаться стать снова студентом. И то, что институт переехал из Ленинграда в другой город, именно тот, где жила девушка, сидевшая на балконе. И то, что я вы-

держал приёмные экзамены. И то, что на собеседовании декан за меня заступился. Мы должны быть благодарны правителю страны за то, что ему втемяшилось в голову распахать степь, — если бы не гротескная компания освоения целины, мы бы не встретились.

Судьба отключила ток на трамвайной линии, чтобы я опоздал к началу концерта и поднялся на балкон. Всё, всё было искусно подстроено, цепь мнимых случайностей обрела своё оправдание и смысл. Всё — ради того, чтобы двое встретились и принадлежали друг другу всю жизнь.

*

Она повернула ко мне насмешливый взгляд. Знала ли она о том, что в этот миг происходит самое важное событие в нашей жизни. Мы обменялись фразами, которые ровно ничего не означали. Романист не любит пафос. Это были пустяки. Это было лёгкое, естественное, как дыхание, кокетство и та рвущаяся наружу радость жизни, которой я был начисто лишён. Ей исполнилось восемнадцать лет, она не подозревала, с кем имеет дело. Внизу на сцене прибывший из Москвы певец исполнял арию Ленского.

И вот я сижу, спустив ноги с моего ложа, между сном и бодрствованием, и мне представляется туманное жёлтое солнце, застывшее над бескрайней равниной, там и сям сидят с закрытыми глазами, опустив голову, незачатые дети, и приходит момент, когда два человека в первый раз видят друг друга, и дитя, чьё имя — любовь — поднимает голову, пробуждаясь от предвечного сна.

КУХНЯ ЧАРОДЕЯ

Ответ на запрос Майнцкого университета

Вы разрешили мне писать по-русски. Как я работаю?

Прежде я писал пером, сперва без всякого плана, затем перепечатывал на машинке. Мне казалось, что таким способом я отстраиваюсь от рукописного, слишком связанного с личностью автора текста и даже с его телесностью: машинопись нейтрализует текст, даёт возможность увидеть его со стороны как бы чужими глазами. С появлением компьютера эта технология изменилась, я стал сразу делать наброски на компьютере. Но и теперь, принимаясь за что-либо новое, иногда пишу пером. Писание от руки расковывает. В любом случае, однако, я не поклонник самопроизвольного писания, хоть и пытался когда-то в юности использовать этот метод, считал его своим открытием, не зная о том, что автоматическое письмо давно изобретено сюрреалистами.

Произведение может зародиться внезапно, без всякого повода, при слушании музыки (которая вообще мне очень помогает в моей работе), при чтении чего-нибудь постороннего. О некоторых своих романах и рассказах я могу точно сказать, что́ было первой искрой. Замысел начинает клубиться в мозгу и выглядит увлекательней, заманчивей, чем когда принимаешься, наконец, за дело. Всё что при этом получается, выглядит тяжёлой неудачей и скукой. Есть замечательная фраза Вальтера Беньямина: *Das Werk ist die Totenmaske der Konzeption* (Произведение — это посмертная маска замысла).

Эту скуку нужно каким-то образом развеять. Как уже сказано, я пользуюсь теперь преимущественно компьютером. Печатаю написанные страницы, чтобы потом к ним вернуться. В молодости я мог заниматься сочинительством в любой обстановке. Теперь не то. У меня нет своего кабинета, но мне нужна тишина. Больше всего меня раздражает пошлая музыка. Я пишу утром — чем раньше начать,

тем лучше — и до обеда, лучше всего в дождливую погоду, в снегопад. Во второй половине дня пишу письма, статьи, что-нибудь более лёгкое. Вечером настроение портится, всё, чем я занимался, выглядит ненужным, неудачным, бездарным; единственная надежда — утром, может быть, удастся обрести бодрость.

Я не составляю планов, набрасываю лишь, чтобы не забыть, отдельные мысли или сюжетные направления. Я замечал, что легче начинать и продолжать, когда видишь конечный пункт пути, то есть приблизительно знаешь, чем всё кончится. С годами я стал уделять больше внимания сюжету, «истории» в собственном смысле. Проза — это рассказывание историй. Но теперь мне всё чаще приходится начинать что-нибудь, не имея абсолютно никакого представления, куда всё приведёт и чем кончится.

Я придаю очень большое значение языку, ритму и звучанию фразы, помногу раз переделываю свои пассажи и особенно зачины — и никогда не забываю совет Флобера читать свою прозу вслух (я читаю её шепотом). Я стараюсь находить не только слова с абсолютно точным, нужным мне значением, но и с необходимым числом слогов, с нужным ударением. Больше всего в произведениях современных писателей угнетает меня болтливость, многословие — наследственный недуг русской литературы. Но писать лаконично, как написаны «Повести Белкина», так же трудно, как вести добродетельную жизнь.

Любое сочинение, самое безумное, должно быть оснащено убедительными реалиями. Нужно уметь пускать пыль в глаза. У читателя не должно быть никаких сомнений относительно компетентности автора в той области жизни, культуры, профессиональных занятий, с которой имеют дело его герои. Это тоже один из уроков, преподанных классиками. Один старый бильярдист говорил мне: когда читаешь «Записки маркёра», то кажется, что Толстой всю свою жизнь только и делал, что играл на бильярде

Я постоянно пользуюсь справочной литературой, выискиваю нужную терминологию, разглядываю географические карты и планы городов. Для романа «Антивремя» я изучал астрологию, для «Нагльфара» — каббалу. И, конечно, приходится то и дело заглядывать в толковый словарь русского языка, словарь синонимов и проч. Художественные (или претендующие на художественность) произведения я пишу только по-русски.

Самое тяжкое и неприятное — написать «рыбу», то есть набросать первоначальный, сколько-нибудь связный текст. Всё равно что прокладывать лыжню по глубокому снегу. Этот пробный текст ужасен, неопрятен, нелеп. Но над ним можно работать, от него можно отталкиваться, след проложен — это уже легче. Я сочиняю такие наброски на отдельных листках до тех пор, пока не накопится сколько-то страниц и почувствуешь, что выдохся — дальше двигаться нет сил. Тогда я возвращаюсь к началу, чтобы взять разбег.

Трудно сдвинуться с места, столкнуть воз. Хемингуэй дал хороший совет: не вычерпывать воду из колодца до дна, заканчивать работу сегодня на том месте, где нетрудно будет продолжать завтра. Съезжать с горки, а не брать подъём. И так продолжается до тех пор, пока не наступит желанный перелом — пока в воображении не возникнет некое целостное представление о времени и месте действия — мир романа.

Жан-Луи Барро писал о том, как рождается спектакль. Словно готовят майонез, — взбивают, взбивают, ничего не получается — и вдруг наступает момент, когда составные части больше не расслаиваются. Майонез готов.

Нечего и говорить о том, что мир романа отнюдь не копирует действительность. Но никто нам не запрещает совершать плагиат у действительности. Пишешь или, по крайней мере, начинаешь писать о чём-то тебе знакомом — хорошо знакомом. (Позже, почувствовав себя уверенней, можно будет с помощью фантазии, а также минимума эрудиции, разрешить себе вторгнуться в незнакомые области). Опираешься на жизненный опыт, вспоминаешь живых людей, видишь обстановку, чувствуешь запахи. Короче говоря, помнишь прошлое до мельчайших подробностей. Так я помню своё детство. Но восстановление неотделимо от химического процесса, пышно именуемого творчеством, и этот процесс денатурирует былую действительность, как кислота денатурирует белок. И вот, по мере продвижения вперёд, возникает удивительное чувство, что действительность — это фантом. Начинаешь поддаваться чему-то вроде самогипноза. Подлинной реальностью становится мир романа. Теперь ты можешь его обживать. Необязательно всё описывать, важно всё хорошо себе представлять. Совсем не надо всё объяснять. Обойтись минимумом самых необходимых и ненавязчивых пояснений. (Для этого можно, например, как в пьесах, использовать диалог). Нужно пропускать промежуточные звенья. У читателя должно

возникнуть ощущение, что ты гораздо больше знаешь о людях и эпохе, чем сообщаешь. Читатель должен сам о многом догадываться. Нужно оставить ему простор для собственного домысливания, для фантазии.

Мало помалу действующие лица приобретают известную автономность, если не просто свободу действий. Во всяком случае, приходится считаться с их манерой вести себя, с их повадками и капризами. Шахматист ведёт игру, переставляет фигуры, но фигуры на доске ведут себя по собственным правилам. Писатель распоряжается своей прозой, а проза распоряжается писателем.

С лучшими пожеланиями,

Ваш *Борис Хазанов*.

НЕМЕЦКИЙ ЭПИЛОГ: НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

(Из старых записей)

*Сон, который не истолкован,
подобен письму, которое не прочли.*

Талмуд

Перед рассветом я вижу одно и то же: большой серый город. Улицы блестят от дождя, потом начинает валить снег, народ толпится на остановке, автобус подходит, расплёскивая лужи, люди висят на подножках, и я среди них. Всё как прежде. Я дома. Нужно куда-то поехать, срочно кого-то повидать, позвонить по телефону, сообщить, что я вернулся. Нужно привести в порядок бумаги, которые остались в комнате. Я мечусь по городу. Дела идут всё хуже. За мной следят, ходят за мной по пятам. Ради этого мне и разрешили приехать: чтобы собрать недостающие материалы по моему делу. Я чувствую, что подвожу людей. А люди думают, что подводят меня.

В эту минуту я начинаю просыпаться и вспоминаю, что я неуязвим. Как я мог об этом забыть? Сон продолжается, но я уже ни о чём не беспокоюсь. Никто об этом не подозревает, но я-то знаю, что в кармане у меня иностранный паспорт. Это такое же чувство, как будто в вагон вошли с двух сторон контролёры — а у меня в кармане билет! И никто со мной ничего не сделает. Можно даже поиграть, притвориться, что потерял билет, увидеть жадный блеск в глазах у хищника. И медленно, не спеша, растягивая удовольствие, вынуть книжечку с геральдическим орлом. Счастливо оставаться. Я больше не гражданин этой страны. Хотя я приехал домой, в Москву, никакого дома у меня, слава Богу, нет.

Если правда, что сны представляют собой некие послания, то это письмо прислали мне вы, оно приходит уже не первый раз, и каждый раз я возвращаю его нераспечатанным. Я отклоняю все

приглашения в будущее. Сны ничего не пророчат. Нет, такой сон, если уж пытаться его разгадать, скорее предупреждает о том, что притаившаяся на дне сознания мысль абсурдна, что надежда бессмысленна. Надежда? Но ведь, как говорится, ты этого хотел, Жорж Данден.

Да ещё с каких пор. Должно быть, я всегда был плохим патриотом. С юности меня томил тоскливый зов: уехать. Точно мой костный мозг стenal по какому-то другому, экзотическому солнцу. Блудливая музыка юга, гитары и мандолины будили во мне злую тоску, *taedium patriae*¹ — так можно было её назвать. Не то чтобы я стремился в какую-то определённую страну, нет, я совсем не хотел сменить родину. Я хотел избавиться от всякой родины. Я мечтал жить без уз национальности, без паспорта, без отечества. Вместо этого я жил в стране, где патриотизм был бессрочной пожизненной повинностью, в государстве, к которому я был привязан десятками нитей, верёвок, цепей и цепещ. Много лет, всю жизнь меня не оставляло сознание несчастья, которое случилось со мной, со всеми нами, и последствия которого уже невозможно исправить; несчастье это заключалось в том, что мы родились в этой стране. Где надо было родиться? Ответ выглядел нелепо, но это был единственный ответ: *нигде*. То есть всё равно где, но только не тут.

И вот удивительным образом эта грёза стала сбываться. С опозданием на целую жизнь и примерно так, как сбылось желание получить сто фунтов стерлингов, заказанное волшебной обезьяньей лапе в известном рассказе Уильяма Джекобса. Как-то незаметно одно обстоятельство стало цепляться за другое, внутренние причины приняли вид внешних и «объективных», и вскоре оказалось, что все мы стоим, держась друг за друга, над обрывом; когда стало ясно, что отъезд нависает, уезжать расхотелось, но уже земля начала осыпаться, покатались камни... Наконец, обезьянья лапа, высунувшись из мундира, подала знак — и это произошло. И дивное, ласкающее слух слово: *апатрид*, *бесподданный*, стоит в моих бумагах. Ибо вовсе без паспорта обойтись не удалось; но это уже не тот паспорт, который глупый поэт вытаскивал из широких штанин. Хорошо стать чужим. Восхитительно — быть ничьим.

Неизвестно, конечно, защитил бы меня такой документ в нашей бывшей стране, но в конце концов дело не в этом. В неотвязном сне, который долго преследовал меня, была только одна абсолютно

¹ отращение к отечеству (*лат.*).

фантастическая деталь: возвращение. И в этом вся суть. В конце концов мало ли здесь, рядом с нами, людей, покинувших родину? В Тюбингене какой-то старик в автобусе спросил меня: откуда я? И, получив ответ, сочувственно вздохнул: «Мой сын тоже эмигрировал». — «Куда?» — «В Мюнхен, — сказал он, — туда же, куда и вы».

Быть может, субъективно разница была не так уж велика. В детстве, уехав из Москвы в Сокольники, я был несчастнее всех эмигрантов на свете. И всё же — надо ли говорить об этом? — разница между нами не сводилась к тому, что беженец из Вюртемберга, покинув родные пенаты, провёл в вагоне два часа, а вашему слуге предстояло покрыть расстояние в две тысячи километров. Разница была даже не в том, что ему не надо было переучиваться, привыкать к чужому языку, денежной системе, бюрократии, к другому климату, к новому образу жизни, тогда как я был похож на человека, который продал имение, с кулём денег приехал в другую страну — а там они стоят не больше, чем бумага для сортира, и это же относится ко всей поклаже; весь опыт жизни бесполезен, всё, что накоплено за пятьдесят лет, чем гордились и утешались, всё это, словно вышедшее из моды тряпье, надо сложить в сундук и обзаводиться, неизвестно на какие средства, новым гардеробом. Нет, главная разница всё-таки состояла не в этом, — а в том, что, в отличие от швабского изгнанника, я ни при каких обстоятельствах не мог вернуться.

*

Сегодня последнее воскресенье лета, тихий сияющий день. Должно быть, такая же погода стоит теперь и у вас. Даже число на календаре то же самое. Странно звучат эти слова: «у вас». «В ваших краях...». Смена местоимений — вот к чему свёлся опыт этих лет, итог смены мест и «имений». В здешних краях Россию могут напомнить лишь пожелтевшие поляны, с которых местные труженики полей уже успели — без помпы, без «битвы за урожай» — убрать злаки. Вот, думал я, если бы ничего не было, никого бегства, а просто ночью во сне джинн перенёс бы меня сюда, — догадался бы я, что кругом другая страна? По каким признакам? Опушка леса ничем не отличается от тамошних. Та же трава, такая же крапива у края дороги. Подорожник, кукушкины слёзки. Это напоминало игру в отгадывание языка, на котором написан текст. Многие буквы совпадают. Из букв складываются слова, вернее, то, что должно быть словами. Ибо смысла не получается. Это другая письменность. И как только начинаешь это понимать, как только спохватываешься, всё

меняется, и даже знакомые буквы становятся чужими. Ибо они принадлежат к другому алфавиту. Даже небо, если всмотреться, выглядит чуть-чуть иначе, словно количественный состав газов, входящих в воздух, здесь иной. Словно у старика, который бредёт навстречу, разговаривая с собакой. Иначе устроено горло. Всё то же, и всё другое. И слава Богу.

Мы не уехали, как уезжают нормальные люди — пожалав руку друзьям, обещая приезжать в гости, приглашая к себе. Нас выгнали. Или, что в данном случае одно и то же, выпустили. Выпустили! Вот слово, вошедшее я обиходный язык, обозначив нечто само собой разумеющееся, слово, которое не требует пояснений. Выпускают из клетки, из тюрьмы. В отличие от беглецов 1920 года, мы были счастливыми эмигрантами. В Европу, в Израиль, в Америку, в Австралию — какая разница? Мы уезжали не на чужбину, а на свободу. *Heimweh is beter dan Holland*, как сказал какой-то соотечественник Мультатули, лучше уж ностальгия, чем Голландия. Лучше подохнуть от тоски по родине, чем подохнуть на родине.

Родина и свобода — две вещи несовместные. Прыгнуть в лодку, оттолкнуться... и будьте здоровы. Однако эта метафора, как все метафоры, коварна. Она соблазняет возможностью обойтись без размышлений, а на самом деле узурпирует мысль, она навязывает говорящему собственную логику и договаривает до конца то, чего он вроде бы и не имел в виду. Метафора моря подразумевает берег, оставленный берег: отеческую сушу. «Ага, — скажете вы, — тут-то он и выдал себя». Что же, если угодно, считайте, что вы получили ещё одно письмо от Улисса, снесаемого тоской. В прошлом году он прислал открытку с видом на дворец царя Алкиноя. Потом со Сциллой и Харибдой. Только в отличие от настоящего Улисса он плывёт не домой, а в обратном направлении.

Ибо мы, политические эмигранты из страны победившего нас социализма, — мы не просто уехали. Уехав, мы перестали существовать. Нет никакой русской словесности за рубежом, мы — фантом. Нас сконструировали «спецслужбы». Нас выдумала буржуазная пропаганда. С нами случилось то же, что когда-то происходило с арестованными, увезёнными ночью в чёрных автомобилях, расстрелянными в подвалах, бесследно сгинувшими в лагерях: нас не только нет, но и *никогда не было*. Был такой случай: году в пятьдесят втором до нас дошёл номер московского партийно-просветительного журнала «Новое время». В разделе «Против де-

зинформации и клеветы» была напечатана статья, разоблачавшая очередную вылазку буржуазной пропаганды: какой-то журналист на Западе, выполняя волю своих хозяев, тиснул сенсационное сообщение о том, что в районе станции Сухобезводное будто бы расположено крупный концентрационный лагерь с населением в 70 тысяч человек.

Читая эту статью, мы, сидевшие в этом лагере, испытывали род патриотической гордости, напоминающей гордость провинциалов, узнавших о том, что их заплесневелый городишко помянула столичная печать; опровержение нас нисколько не удивило: ведь мы отлично знали, что все мы вместе с начальством и охраной попросту выдуманы, изобретены врагами мира и социализма. Мы знали, что наше существование, существование миллионов заключённых во всех концах огромной страны, и отнюдь не только на её глухих окраинах, — утка, пущенная продажными борзописцами из западных газет, что мы — призраки, что нас нет, не было и не может быть.

Теперь это повторилось. Кто такой Икс? Не было никакого икса, такой буквы в алфавите не существует. А значит, и все слова, все вывески, все фразы, где затесалась эта буква, подлежат исправлению. Меня не существовало, поэтому всё, что я, допустим, написал, изъято из библиотек, всё, что я сделал, никогда не делалось, больные, которых я лечил, вылечены не мною, люди, которых поселили в моей квартире, в той самой квартире, где мы с вами когда-то сидели и философствовали о жизни и смерти, — люди эти понятия не имеют о том, кто тут жил до них. Это даже не политика, это логика. Всякое упоминание о нас недопустимо по той простой причине, что нас не было. Мы, так сказать, ликвидированы дважды. Выбрав свободу, мы изменили родине, — это логично, выбирай что-нибудь одно. Но наказать нас за измену невозможно, так как нас не было. Невозможно и бессмысленно обсуждать вслух проблемы эмиграции, какие проблемы, если не было никакой эмиграции.

*

Но я-то знаю, что вы меня помните. Для вас я тот самый путешественник в страну, откуда не возвращаются, о котором говорит принц Гамлет. Тот, о котором ещё не забыли, но никогда уже не думают в настоящем времени. Пока что я обретаюсь в имперфекте, завтра отодвинусь ещё дальше — в плюсквамперфект. Но если в самом деле существует потусторонний мир, его обитатели, надо ду-

мать, считают потусторонней нашу земную жизнь. И я ловлю себя на том, что думаю о вас как о мёртвых. Нет, я не хочу сказать, что там, в России, всё кончено. Солдат, раненный в бою, думает, что проиграно всё сражение, эту фразу Толстого не мешало бы помнить оказавшимся по ту сторону холма, всем, кто успокаивает себя мыслью, что всё честное и талантливое в стране так или иначе элиминировано, задавлено, упрятано за решётку или — уже не в стране. Однако что верно, то верно: *отсюда* отечество представляется загробным царством, в котором остановилось время. Или по крайней мере страной, где вязкость времени, величина, которую когда-нибудь научатся измерять с помощью приборов, во много раз выше, чем в Европе.словно на какой-нибудь бесконечно далёкой, обледенелой планете, там тянется один бесконечный год, пока здесь, на тёплом и влажном Западе, несутся времена, сменяются годы и десятилетия. Это простое сравнение, может быть, и заключает в себе разгадку того, почему гигантское допотопное государство, казалось бы, исчерпавшее возможности дальнейшего развития, государство с ампутированным будущим, — почему оно всё ещё существует, продолжает существовать, не желая меняться, почему его тупоумные властители изо всех сил делают вид, что ничего не случилось, уверенные, что впереди у них — тысячелетнее царство. Почему? Да потому что самые незначительные перемены для этого государства гибельны. Огромная туша может позволить себе лишь медленные, тщательно рассчитанные движения. Упав, она не поднимется. Надо ли желать, чтобы она переставляла ноги быстрее? Никто, кажется, не даёт права на это надеяться. Ничто не заставляет этого опасаться.

Что же делать? Бесспорно, отъезд — это капитуляция. Толпа вольнопущенников, разбежавшихся по свету, которую объединяет лишь чувство потери, да великий неповоротливый язык, привезённый с собою, как куль, с которым некуда деться, да ещё кошмар возвращения, — вот что представляет собой наше «мы», вот те, кто якобы не в изгнании, а в «послании». Представлять можно только самого себя, быть самим собой. Тогда и вы не умерли, и мы не побеждены. Обнимаю вас...

*

Если когда-нибудь голос свыше спросит меня, как он спрашивает каждого: «Где ты был, Адам?» — я отвечу: собирал малину. Вёл за рога по лесным тропинкам двухколёсного друга. Медленно крутил педали вдоль тихих опрятных городков, мимо церквей, похожих

издали на остро заточенные карандаши, мимо бензоколонок с развевающимися флагами, мимо кукольной богородицы в золотой короне на крошечной головке, с ребёнком на руках, — и думал о странной судьбе, которая привела меня в эту страну.

«Как вам удалось?..». Вопрос, который предполагает как нечто само собой разумеющееся, что у каждого нормального человека найдётся достаточно причин мечтать о бегстве из Советского Союза; загвоздка лишь в том, как это осуществить. И в конце концов уже не имеет значения, что же всё-таки заставило человека уехать оттуда, где не только деревья, но и люди говорят на родном языке, не важно, какая метла вымела его прочь из города, чьи улицы, переулки, сумрачные двory, тёмные лестницы суть не что иное, как густо исписанные страницы толстой растрёпанной книги, которая называется его жизнью.

Давным-давно, во времена моего детства, в нашем старом кинотеатре на Чистых Прудах шёл фильм «Граница на замке». Крылатое слово тех лет. Публика радостно хлопала доблестным пограничникам, — тогда было принято аплодировать в кино, — и никому из сидящих в зале под дымным лучом не приходило в голову, что собственно означает название картины. Никто не смел себе признаться, что это они, весь народ до последнего человека, сидят в своей стране взаперти. Вряд ли кто мог помыслить о том, что ключ когда-нибудь повернётся и врата приоткроются, пусть на самую малость, но так, чтобы в эту щёлочку сумела проскользнуть горстка людей. Пылающая река, ограждавшая наш потусторонний мир, была частью государственной мифологии, слово «граница» приобрело для людей нашего поколения мистический смысл.

И вот настал день, когда мне предстояло переправиться через эту реку, пересечь границу так же просто, как перешагивают через ручей. Или как шествуют через Красное море, с ужасом и восторгом взирая на расступившиеся воды. Внезапная катастрофа отъезда, несколько дней, оставшихся на сборы, выполнение почти невыполнимых формальностей, садизм чиновников фараона, делавших всё возможное, чтобы убить у изменника родины последние сожаления о том, что расстётся с ней, — всё вдруг отсеклось и отплыло, всё потеряло значение. Нас впустили за перегородку, на другой стороне провожающие, кучка друзей, плача, махали нам руками; началась проверка нашего скарба, перетряхивание рубашек, перелистывание книг, затем в каморке, где были только стол и два стула, произведён

был обыск с раздеванием догола. Мой семнадцатилетний сын поднял руки, как я почти в этом же возрасте на Лубянке тридцать три года назад. «Ты что думаешь, — усмехнулся таможенник, — здесь гестапо?» В соседней комнате ту же процедуру проходила моя жена. Это было, конечно, не гестапо. Это был Советский Союз. Лишённые гражданства, имущества, документов и прав, мы всё ещё находились во власти рогатого Минотавра, всемогущего государства, и оно могло поступать с нами как ему вздумается. И самолёт был всё ещё «наш», радио говорило по-русски, и на лацканах у служащих красовалась эмблема Аэрофлота; граница летела вместе с нами; и лишь приземлившись, пройдя по узкому проходу мимо бортпроводниц, последних свидетелей нашего бегства, лишь когда сошли по лесенке и вступили на разогретый солнцем асфальт венского аэродрома, — заметили вдруг, что пылающая река, Флегетон греков, оказалась позади.

*

Наше пребывание в австрийской столице было головокружительно-коротким, и речь не о ней. Речь идёт о Германии, которая уже втягивала в своё магнитное поле. Мы были беженцы. Мы были свободны. Выездная виза, клочок бумаги размером с почтовую карточку, сложенную вдвое, — единственное, что мы могли предъявить, — оставляла нам необозримо широкий выбор, или, что в данном случае то же самое, одинаково закрывала путь на все четыре стороны, как надпись на перекрёстке: направо пойдёшь, потеряешь коня, налево — голову сложишь; все страны были для нас чужбиной, все дали звали к себе. Мы были свободны, как никогда в жизни, родина ограбила нас дочиста, политическая свобода оказалась помноженной на свободу от всех привязанностей, от всех грехов и заслуг. Но на самом деле жребий был уже брошен. Говорили, что в Федеративной республике легче найти работу, что там есть закон, опекающий иностранцев. Всё это были доводы, придуманные, чтобы придать видимость разумного решения тому, что предшествовало всем доводам, и на самом деле я чувствовал себя так, как должна себя чувствовать металлическая пылинка вблизи магнитного полюса.

Parbleu, почему же Германия?

Ах, лучше всего было бы двинуть в Древнюю Грецию, в Афины пятого века. Но туда невозможно купить билет. Франция? Приют всех русских эмиграций, страна, о которой не зря было сказано:

chacun de nous a deux patries, la nôtre et la France (у каждого из нас две родины: наша — и Франция). Времена, когда это государство без разговоров оказывало гостеприимство всем политическим изгнанникам, прошли. Значит, в Израиль? В этой стране меня ждали. Несомненно, это была единственная на всём свете страна, где нас не встретили бы как эмигрантов. Мы ещё не успели покинуть аэропорт, как в воздух поднялась и ушла на юго-восток белая птица с голубым щитом Давида. Улетела без нас. Почему? Я могу этому, как ни странно, дать лишь одно объяснение: потому что рядом находилась Германия. Потому что конь, на котором сидел чуть ли не в нижнем белье витязь, уже тянул голову в ту сторону, где, теоретически говоря, ему надлежало пропасть.

Никто не знал, как нас там встретят. После всего, к чему причает жизнь в России, баварская пограничная полиция может показаться благотворительным обществом, и всё же никто не мог предсказать, как мы там будем жить. Язык должен был облегчить первые шаги — Гёте и Шиллер, старые добрые руки, поддерживали меня, я озирался вокруг, мне чудилось, что на каждом шагу я узнаю вечную Германию духа, в которой я вырос. Кто бы полумал, что это узнавание обернётся другой стороной, что этот язык, покуда он будет восприниматься лишь как код великой культуры, здесь, именно здесь станет помехой, что понадобятся особые усилия, чтобы отучиться глядеть на страну и людей сквозь магический кристалл литературы. Впрочем, мне нетрудно представить себе какого-нибудь восторженного идиота, прикатившего издалека, который ходит по Москве, восклицая: «О, наконец-то! Святая Русь! Страна Толстого и Достоевского! Наконец-то я увидел тебя».

Страны подобны художественным или мифологическим образам: в них всегда остаётся нечто недоговорённое, к ним никогда нельзя относиться как к отражениям действительности; каждая страна присутствует в сознании в виде некоторого фантома, который возникает Бог знает из чего, из преданий и предрассудков, из школьного мусора, из каких-то ключевых туманов, плывущих из незапамятного детства, даже из звуков самого имени: ведь русское слово «Германия» воспринимается совсем по-другому, чем немецкое Deutschland. Иначе и волшебнее звучат названия земель и городов, в них слышится нечто неведомое немецкому уху, за ними скрывается то, чего, возможно, не видят и никогда не видели немецкие глаза. Тайна переживания чужой страны не менее интим-

на, чем тайна национализма. «Нам внятно всё — и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений». «Он из Германии туманной...». За этими эпитетами, не правда ли, стоит целый комплекс представлений. Но было бы неправдой, если бы я сказал, что лунно-серебристая, призрачная, лесная, вся звенящая птичьими голосами родина европейского и русского романтизма, лунный лик и локоны Новалиса — были единственным мифом, который однажды и навсегда впечатался в сознание. Рядом с ним и почти из него вырос и заслонил его другой миф, другой образ Германии, наделённый такой же гипнотической силой. Бесполезно было бы свырять в него чернильницей. Прогнать его не так просто.

*

«Wirklich, ich lebe in finsternen Zeiten...»

«Право, я живу в мрачные времена! Беззаботное слово глупо. Гладкий лоб говорит о бесчувственности. Тот, кто смеётся, ещё не услышал страшную весть.

«Что это за времена, когда разговор о деревьях становится почти преступлением, ибо он заключает в себе молчание о погибших...»

«Правда, я всё ещё зарабатываю на хлеб. Но верьте мне: это случайность. Ничто из того, что делаю, не даёт мне права есть досыта. Я уцелел случайно. Если мою удачу заметят, я пропал».

Когда-то в России казалось, что стихи Брехта написаны обо мне, о таких, как я, — их было много, — для которых недоверие к более или менее благополучной действительности было нормальным чувством, кто знал: если он жив и всё ещё ходит на воле, то лишь по чьему-то недосмотру. Теперь и эти стихи стали частью воспоминаний.

Здесь вообще многое напоминало Россию, например, музыка. «Книга Ле Гран» Гейне, которую я читал в метро, поздно вечером зимой сорок четвёртого года, катаясь из конца в конец по линии Сокольники — Парк Культуры, потому что дома не горел свет. Возле Тюбингена на зелёном холме стоит Вюрмлингская часовня, которая украшала толстый том сочинений Людвиг Уланда, подаренный мне ко дню рождения, сто лет назад. «Наверху стоит часовня...» Внизу — долина. Я был уверен, что всё это поэтический вымысел. Этот вымысел оказался действительностью, чтобы в конце концов тоже напоминать о России.

Однако стихотворение Брехта приобрело другой смысл.

Всё, что мы можем сказать о волшебстве немецкой музыки и поэзии, о мощи немецкой мысли, о красоте ландшафтов, всё это будет ложью, если оно заключает в себе молчание о погибших.

Как же можно прикатить сюда, получить политическое убежище, кров и хлеб из рук этой гостеприимной страны после того, что происходило с ней и в ней ещё на нашей памяти... Мы видели на экране ликующие толпы, руки, простёртые навстречу Вождю, мы видели фотографии, сделанные в концлагерях. Германию называют Протеем. Редко какой народ так круто поворачивал, до неузнаваемости менял свой облик, как немцы на протяжении последних полутора столетий. Германия в год смерти Гегеля и Германия в 1871 году, через каких-нибудь сорок лет. Усы Вильгельма Второго и усики Шикльгубера. За всеми переменами, однако, осталось нечто неколебимое: чинная жизнь небольших опрятных городков, пёстрые черепичные крыши церквей, музыка из окон, часовня на холме. Трудлюбие, добросовестность, серьёзность. Ах, об этом говорено уже тысячу раз... Вечный вопрос: оттого ли этот народ стал добычей тоталитаризма, что он был таким, или он стал *таким*, оттого, что стал жертвой тоталитаризма?

Похожий вопрос мы задавали себе в России. Но в России значительное большинство народа лишено исторического сознания; людям не приходит в голову, что целое государство может стать преступным; а просвещённые немцы должны были это понять. Они поняли; но было уже поздно. Они поняли это, иначе демократия, хоть и насильственно внедрённая победителем на Западе, не пустила бы глубокие корни, какие она всё-таки здесь сумела пустить.

А всё же удивительно, как две страны, которых история века дважды столкнула лбами, повторяют одна другую, связаны тайной близостью, при том что трудно найти два других столь разных народа. Существует параллелизм политического, в обеих странах западного, и параллелизм духовного развития. Эволюцию немецкого романтического национализма, сначала голубого, затем багрового, повторяет эволюция «русской идеи», сходство наркотически-чарующего почвенничества в обеих странах бросается в глаза — общая тяга назад, в лес и деревню, к средним векам, эротическое влечение к народу, в женственно-тёмную глубину. Существует общее для обеих традиций отречение от эгалитарного прогресса, от соблазнов технической цивилизации, от торгашеской демократии, отталкивание от французского рационализма и англо-саксонского

прагматизма, — тоска по утопии — и там, и здесь. И, как некий убийственный итог, обрыв истории с её естественным завершением: общий опыт каннибализма. Да, конечно, Германия разделалась со своим прошлым, более или менее разделалась, — чего нельзя сказать о её тоталитарном двойнике. Сонм историков и публицистов, радио, телевидение и печать не устают беречь старые раны; всё упрёки, какие нация могла бросить самой себе, брошены в Германии. Повторил бы теперь Томас Манн то, о чём он писал Вальтеру фон Моло, — что ему страшно возвращаться на родину? Как на безумца посмотрели бы на того, кто сказал бы тогда, на развалинах войны, что во второй половине века эта страна станет самой мощной демократией Европы.

*

Демократия и культура состоят в сложных отношениях. В культуре есть нечто сопротивляющееся демократии, почти презирующее её. Культура — если подразумевать под ней то, что традиционно обозначалось в Германии словом «дух», *der Geist*, — и демократия говорят на разных языках. Но, расставаясь с демократией, культура изменяет гуманизму. Этот немецкий комплекс, комплекс высокомерия, есть одновременно и великий урок немецкой культуры, преподанный в нашем веке с убийственной наглядностью.

Где-то между шестнадцатую и семнадцатую годами я поднёс к губам запретную чашу с наркотическим отваром и отхлебнул от неё со смешанным чувством дурноты, отваги и наслаждения. Я говорю о философии Артура Шопенгауэра. Может быть, следовало назвать какое-нибудь другое имя, этот возраст — возраст чтения философов, — но, в конце концов, почему бы не это? Мне приятно вспомнить о нём. Во втором томе его трактата, в знаменитой главе о любви, есть место, где говорится, что взаимное влечение влюблённых есть не что иное, как воля к жизни ещё не зачатого существа. Какая странная, хоть и воспринятая от греков, но вместе с тем и чисто немецкая идея. Есть нечто стремящееся стать действительностью, ещё не существующее, но уже сущее. Существует текст, который ждёт, чтобы его написали на бумаге. И я помню, как очаровал и озадачил меня этот спиритуалистический романтизм философа, некогда популярного в России, но в наше время уже исчезнувшего с горизонта; осуждённый самим «Лукичом», он возглавил индекс особо зловредных авторов, куда входили, само собой, и Ницше, и Шпенглер,

и множество других: самый интерес к этим авторам приравнивался к политическому преступлению. Запрет всегда повышает акции писателя. Напротив, очарование крамольной книги исчезает, лишь только она перестаёт быть крамольной.

Однако криминальный философ заключал в себе самом некоторое противоречие. Насколько гипнотизирующей, дурманящей была его проза, насколько порабощал и затягивал волшебным ритмом старинный слог и манил мистической красотой благородный готический шрифт, — загадочное родство шрифта и текста есть факт, не подлежащий сомнению, — настолько непривлекательней выглядел сам автор. Прочсть его характер на дагерротипе не составляло труда. Два-три эпизода аттестовали его достаточно ярко. Могу представить себе, что было бы, если бы я постучался к нему в дверь, во Франкфурте, в доме на улочке под названием «Чудный вид» (Schöne Aussicht). Я так и слышу шаги на лестнице, лай пудели и скрипучий голос: «Гоните его вон!..» Поганный самовлюблённый старик, капризный и мстительный. Семидесятилетний Нарцисс, заглядевшийся в своё отражение в чернильнице. (Эта острога, по другому адресу, принадлежит Тютчеву.) Разительное противоречие между человеком и его творчеством, контраст гениальности и мещанства постепенно перерастал в какой-то зловещий символ. Быть может, он был предчувствием великого антигуманистического искусства, который таила в себе немецкая мысль.

В Вене — я снова возвращаюсь к первым дням — мы брели по Рингу под пышными каштанами, это было на другой день после приземления, и здесь, как потом в Германии, казалось, что улица выметена домашней щёткой, а не метлой. Сорок лет назад на этой улице кучка седобородых евреев, кто на корточках, кто на коленях, чистила мостовую зубными щётками. Между ними прохаживались полицейские, а на тротуаре стояла гогочущая толпа.

Нашему поколению не нужно было объяснять, что значит слово «немецкий». Все формы ненависти сошлись в одной: биологической, эндокринной. «Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз ты увидишь его, столько раз его и убей!» — «В Германии, в Германии, в проклятой стороне...»

День начала войны 22 июня 1941 года, самый длинный день в году, был счастливым днём моей жизни. С утра радио передавало бодрые марши, музыка гремела на улицах, солнце играло в стёклах домов, вся старая и скучная жизнь была разом отменена. Мне было

тринадцать лет. В полдень передавалась речь Молотова. Меньше двух лет назад он подписал пакт о дружбе с Германской империей, он говорил тогда о справедливой борьбе германского народа против англо-американского империализма. Башмаков не успели стоптать. Теперь он сказал, что ответственность за развязанную войну несут германские фашистские правители, и я помню, как резануло слух это слово «фашистский», вот уже два года вычеркнутое из лексикона. Ожидали, что выступит Сам, но он куда-то делся, целых две недели о нём ничего не было слышно. В те дни трубный глас близкой победы с утра до вечера раздавался из репродукторов, разнёсся слух о том, что наши войска взяли Варшаву, Будапешт и Бухарест; потом вдруг поняли из невнятных и противоречивых военных сводок, из глухих и зловещих намёков, что немцы окружили Ленинград, подошли к Смоленску и, может быть, через неделю-другую будут в Москве.

Нужно было жить в те времена, много лет изо дня в день слышать песни и оды о непобедимости Красной Армии, видеть фильмы о парадах на Красной площади, панно и плакаты с шеренгами марширующих сапог, с частоколом штыков, с эскадрильями и парашютистами, нужно было каждый день читать и слышать о том, что мы живём в самой справедливой стране и потому при малейшей угрозе, при первой попытке врага посягнуть на наши священные рубежи, народы мира, трудящиеся всех стран и прежде всего пролетариат Германии поднимутся на защиту первого в мире государства рабочих и крестьян, — нужно было это слышать, ведь и сейчас, через столько лет, стоит только закрыть глаза, музыка, и гром, и гомон начинают звучать в ушах: если завтра война... малой кровью, могучим ударом... ни одной пяди своей земли... артиллеристы, точней прицел... но если враг нашу радость живую... на его же территории... ведь от тайги до британских морей... не видать им красавицы Волги... ворошиловские пули, ворошиловские сабли... эй, вратарь, готовься к бою! Нужно было этим жить и всему этому верить, чтобы разделить изумление, смятение, ужас, охватившие миллионы людей, когда они догадались, что происходит на самом деле. Невиданная по мощи и организованности армия не шла, а маршировала, не ехала, а катилась, не наступала, а неслась на нас, давя и сметая всё на своём пути, немецкий пролетариат и пальцем не подумал пошевелить ради нашего спасения, народы мира по-малкивали, и единственным, да и то далёким и полуреальным на-

шим союзником, словно в насмешку над великим учением марксизма-ленинизма, оказались империалисты, тучный Черчилль и загадочный дядя Сэм.

Через неделю после начала войны мой отец вступил добровольцем в народное ополчение, некое подобие войска, в спешке и панике сформированное из мелких служащих, немолодых рабочих второстепенных предприятий, музыкантов, учителей, парикмахеров и других бесполезных людей. В начале июля ополчение выступило в поход в составе 32-й армии, вместе с ней попало в гигантский котёл между Смоленском и Вязьмой и в короткий срок было истреблено почти до последнего человека. Время несло наперегонки с наступавшим вермахтом. Грянули необычайно ранние и жестокие морозы — русский Бог спохватился и, как мог, принялся вызволять свою несчастную страну. Кучки уцелевших полузамёрзших людей разбрелись по лесам; и, проблуждав в тылу противника два месяца, отец мой каким-то чудом вышел из окружения.

Перед этим он как-то заночевал в одной деревне. Поздно вечером в избу постучались немцы. Молоденький офицер спросил: «А это кто? Откуда? Партизан? Еврей?» Хозяйка ответила: «Он из нашей деревни».

Интересно было бы узнать, что стало потом с этим человеком. В какой-нибудь немецкой семье стоит, наверное, в углу на столике его фотография в чёрной рамке. Но если считать, что вероятность быть убитым на Восточном фронте равнялась одной пятой, вероятность умереть в русском плену — трём четвертям, вероятность вернуться калекой и окончить дни в разрушенной и голодной Германии — половине, то остаётся всё же некоторая возможность, что он жив до сих пор. В таком случае почему бы ему не оказаться в Федеративной Республике? В Мюнхене? Может быть, мы живём на соседних улицах, встречаемся каждый день в переулке. А если бы крестьянка сказала правду? Если бы я сам с мачехой и маленьким братом в сорок первом году оказался на оккупированной территории? В конце концов это было вполне возможно. Я не воевал, но и у меня было не меньше шансов сыграть в ящик, чем у этого офицера, хотя бы потому, что я принадлежу к племени, сгоревшему в печах.

*

Оставив Вену, мы провели несколько дней на границе, вблизи Берхтесгадена, где некогда находилась горная резиденция Гитлера, в местах изумительной красоты. С необычайной вежливостью поли-

ция препроводила нас в деревенскую гостиницу. Посёлок казался безлюдным. В две шеренги вдоль главной дороги стояли плодовые деревья, в траве валялись яблоки, никто их не подбирал. Я увидел церковь, перед калиткой стоял велосипед, две женщины бродили по маленькому кладбищу. За рядами памятников из хорошего камня, с золотыми надписями, виднелся аляповатый гипсовый ангел, распростёрший крылья над столбцами имён. Это были местные жители, погибшие на войне. Проклятое прошлое преследовало меня. Но теперь я смотрел на него как бы через перевернутый бинокль. Со странным любопытством принялся я читать фамилии, даты, места смерти, то были по большей части совсем молодые люди, чуть ли не подростки, так, по крайней мере, мне казалось теперь. Один убит в Норвегии, другой над Францией — сбит в воздушном бою, ещё кто-то в Греции, на Крите, два или три человека не вернулись из-под Эль-Аламейна. Но и Греция, и Франция были исключениями. Я пробежал глазами надписи, как водят пальцем по строчкам сверху вниз, имя за именем, дату за датой, и почти везде стояло одно и то же слово: Rußland, Россия. И так, одной этой альпийской деревни было достаточно, что заполнить лесную поляну где-нибудь невдалеке от тех мест, где бродил мой отец. Сколько таких деревень в Баварии, сколько таких полей в России? Наша страна так велика, что в ней хватило бы места для пятидесяти Германий. Отсюда СССР представлялся сплошным кладбищем — без ангелов и крестов. И только здесь, в такой благополучной, как казалось, Германии, сначала смутно, потом ясней начали вырисовываться масштабы апокалиптического возмездия, которое полвека назад разнесло вдребезги эту страну. Мечь, принимавшая самые отвратительные формы, настигла этот народ, всех без исключения, устранив разницу между виноватыми и невиноватыми; виновны были все уже потому, что они были немцы. Мечь затмила военные, государственные, идейные и моральные соображения. Военные действия шли своим чередом — мечь стояла над ними. Она поднялась со дна океана, как цунами. Миллионы беженцев устремились на запад. Мечь перекатилась через головы наступавших и обрушилась на бегущих.

Тех, кто спасся, ждало второе возмездие — уже состоявшееся. К концу войны бывший рейх представлял собой страшное зрелище. Не уцелело ни одного крупного города. Одна из последних сводок гласила: «Войска оставили поле развалин, прежде именовавшееся городом Кёльном». Среди этих развалин высился, словно гигант-

ская двойная сосулька, выщербленный и повреждённый, семисотлетний Кёльнский собор. Берлин, Гамбург, Франкфурт, Майнц, Вюрцбург, Дортмунд, Эссен, Дюссельдорф, Кассель, Нюрнберг, Мюнхен, Аахен, Бремен, где возле собора стоит памятник славным бременским музыкантам, кстати сказать, так и не добравшимся до города, были разнесены в щепы. Вестфальский город Мюнстер, который вырос вокруг епископства, основанного Карлом Великим в восьмом веке, погиб на 98 процентов, каким образом был произведен такой точный подсчёт, не постигаю. Я побывал в городке Цербст; свадебный поезд с гайдуками, с форейторами повёз отсюда в 1745 году в Санкт-Петербург 16-летнюю принцессу Софи-Фридерике-Августу, будущую русскую императрицу Екатерину II. Через много лет после войны Цербст, разбитый вдребезги русской артиллерией, напоминал человека, уцелевшего, но оставшегося без лица. Дрезден был уничтожен в одну ночь. Кольцо огня окружило город, и шестьдесят тысяч жителей и беженцев, запертых в центральных районах, задохнулись в дыму или погибли под обломками. Тысяча двести гектаров руин остались от изумительной столицы Августа Сильного. Престарелый Гауптман видел зарево на небе с крыльца своего дома в Силезии. Масштабы кары, поразившей Германию, можно было сравнить разве только с катастрофой Тридцатилетней войны, но в XVII веке не было бомбардировочной авиации. И в эту съезжившуюся, словно шагренева кожа, проклинаяемую всем миром и околевающую Германию хлынуло двенадцать миллионов беженцев из восточных областей. Одни бежали сами, другие были изгнаны после войны. Так окончилось «опьянение судьбой», Schicksalsrausch, двусмысленное словечко, брошенное Мартином Хайдеггером. Наступил Час Нуль, когда многим казалось, что история начинается заново на пустом месте.

*

Ничто так не врезалось в память, как первые впечатления реальной жизни: ни памятники старины, ни ландшафты, ни даже то, что повергало в остолбенение нашего брата: неслыханное изобилие продовольственных витрин. Западный уровень жизни задаёт свой собственный язык богатства и бедности, непереводаемый на язык российской неустроенности и нищеты, чем и объясняются крайности, между которыми мечется эмигрант: то он чувствует себя приобщённым к неправдоподобно благоустроенной жизни, точно бед-

ный родственник, которому разрешили переночевать в богатом доме, то испытывает, как ему кажется, ещё больше лишений, живёт ещё скудней, чем на родине; ибо он попросту не умеет жить этой жизнью. Сытая жизнь для него, как и для всякого русского, — синоним лёгкой жизни, он поглядывает свысока на заевшихся немцев и не хочет понять, что ограниченность естественных ресурсов и умение максимально использовать то, что имеется в распоряжении, пресловутая немецкая бережливость, любовь к порядку, короче, всё то что русскому человеку кажется непроходимым мещанством, — и есть один из секретов богатства. Обалделый чужеземец бредёт мимо ярко освещённых выставок благополучия, словно среди садов Семирамиды, забыв, что ещё совсем недавно на месте этих садов высились холмы обгорелых кирпичей и щебня.

И точно так же раздваивается, колеблется между двумя крайностями ощущение самого себя в головокружительно новом мире. Кажется, смешно и думать о том, чтобы начать, с лысой головой, жизнь заново, смешно задавать вопрос, что изменилось в тебе с переселением на чужбину. На него давно ответил латинский поэт.

Coelum, non animum mutant qui trans mare currunt.

Небо меняет тот, кто бежит за море. Небо — а не душу. А с другой стороны, переменить страну, по крайней мере для людей, как мы, никогда не бывавших за бугром и уехавших насовсем, навсегда, без надежды когда-либо вернуться, — не то же ли, что родиться заново? Никогда восприятие не бывает таким свежим, как в детстве; эти первые времена и были нашим немецким детством. Но видеть действительность такую, какова она есть, — вообще *видеть* — научаешься много позже. Ничто так не раздражает эмигрантов из России, как то, что немцы (американцы, французы) «неспособны нас понять». Стоило бы задуматься о том, что эта неспособность — не что иное, как зеркальное отражения собственной неспособности а часто и нежелания) понять живущих здесь.

Довольно скоро после переселения вашему слуге посчастливилось увидеть в мюнхенском театре Kammerspiele (где позднее я стал завсегдатаем) «Вишнёвый сад» в постановке Эрнста Вендта. Три затянутых марлей, ярко освещённых окна должны были означать комнату, за которой находился сад. На тесной авансцене метались действующие лица в несуразных костюмах. Потом сели пить кофе, едва уместившись за крошечным столиком. Немного погодя Гаев

обратился с приветственной речью к комоду или какому-то ларю: «Дорогой, многоуважаемый шкаф!». Старик Фирс, который по совместительству изображал смерть и был по этому случаю облачён в мундир служащего похоронного бюро, называл Гаева «господин Леонид». Во втором акте деликатный Лопухин ни с того ни с сего съездил прохожего по физиономии. В третьем акте Раневская оплакивала проданный сад, сидя на полу, и танцующие гости перешагивали через неё... Публика смотрела на всё это с чрезвычайным вниманием. Чувствовалось, что спектакль захватил зрителей. Итак, вся эта диковинная обстановка, старательно выговариваемые русские имена, ненатуральные жесты, вся эта гротескная, липовая Россия — воспринималась всерьёз! Но понемногу настроение зала передалось и мне. К концу пьесы я, можно сказать, примирился с ней. (Впоследствии я видел много чеховских пьес на этой сцене. Мне казалось, что они были сыграны лучше, чем в России.)

Я шёл домой и думал, что сказал бы немецкий зритель, посмотрев, к примеру, «Перед заходом солнца» в московском Малом театре, увидев, как я в Мюнхене, битком набитый зал и замороженных зрителей. Если существует русский Гауптман и то, что можно назвать русской Германией, почему не может быть немецкого Чехова? Я не знаю писателя, который ближе, интимней выражал бы моё чувство России; но в конце концов Чехов принадлежит всему миру. Почему не может быть немецкой России? Велика ли важность, если эта Россия не вполне совпадает с той, которую мы считаем единственно подлинной? Тем, кто видит её иначе, нет до нас никакого дела. Мы маркируем действительность при помощи символов, понятных только нам; сочетаясь друг с другом, они образуют модели; создав модель, мы полагаем, что усвоили действительность, постигли страну. В этой инсценированной нами действительности мы чувствуем себя уютно — до тех пор, пока внезапно не зашатаются фанерные декорации, не повалятся кулисы и актёры умолкнут в растерянности, не зная, продолжать ли пьесу или бежать с подмостков.

*

Должно быть, теперь мы и заняты тем, что кропаем новую пьесу, после того как действительность разнесла конструкции, с которыми прожили мы целую жизнь. Об этом можно сказать лишь кратко, чересчур велика опасность впасть в новый схематизм, в умозрительность или сентиментальность. В конце концов выясняется, в пику

Овидию, что не только душу, но и небо мы привезли с собой. Унести на подошвах землю, правда, не удалось. Но если можно, вопреки всему, говорить о «вживании», то оно состоит не в том, чтобы усвоить внешние формы чужеземной жизни, обрядиться в другую одежду, привыкнуть к местной кухне. Приобщение к новому заключается в том, чтобы почувствовать за благополучием Германии, за свежестью и чистотой её городов, за свистящими лентами идеально гладких дорог, за всем благообразием её цивилизации, — почувствовать, да — чёрный провал, след травмы. Эта травма, о масштабах которой можно догадываться лишь проживая здесь, возможно, и является концентрированным выражением некоторого тайного смысла немецкой истории.

Каково бы ни было будущее Европы, оно зависит в первую очередь не от Америки и не от России, но от этой срединной страны. Загадка Германии — по крайней мере для нас — состоит уже в том, что этот Феникс восстал из пепла, хоть и без крыльев, что эта нация в поразительно короткий срок оправилась после такого разгрома, который навсегда низвёл бы любую другую страну на уровень третьестепенного провинциального существования. Загадка Германии — это соединение книжного идиотизма, мечтательности, музыкальности, порывов к сверхреальному — с практическим разумом, волей и дисциплиной. Парадоксальным образом нация, чья склонность к иррационализму по сей день служит лейтмотивом всех рассуждений о Германии и немецкой судьбе, — предстаёт глазам соседей как народ, ведущий чрезвычайно размеренный, почти геометрический образ жизни, а его страна — как образец разумного, подчас слишком разумного благоустройства.

Цивилизованный Запад, каким его представляют себе в России, «пригожая Европа», как назвал её Блок, в первом приближении оказывается Германией; и слово «немец» ещё три века назад означало западноевропейца вообще. Германия, поставлявшая невест для семи поколений русских монархов, обучившая властителей России государственному управлению, бюрократии и военному делу, оставившая так много слов в русском языке, страна-педагог, страна-фельдфебель, трудолюбивая и мечтательная, холодная и чувствительная, втайне страдающая от своей холодности и неисцелимо одинокая, по сей день остаётся для нас заколдованным садом, где смеются феи, а в тёмном гроте спит грозное войско, где на каждом шагу видны следы работы неумолимых рук. Но садовника нет.

ПРИБЫТИЕ

Ты станешь мною и моим сном.

Хорхе Луис Борхес

Я надеюсь, что мне простят манию бесконечно пережёвывать прошлое, болезнь закатных лет, чьё неоспоримое, хоть и незавидное, преимущество — способность жить одновременно в разных временах.

Я привык поздно ложиться, это объясняется страхом бессонницы, стараюсь дотянуть до такой степени усталости, когда, улёгшись, тотчас засыпаешь. К несчастью, это удаётся не всегда, начинаешь ворочаться с боку на бок, зажигаешь свет, снова гасишь, угнетают бесплодные мысли, унылые песни продолговатого мозга, давно истоптанные дорожки моей литературы. Глаза мои закрываются, и в последующие полтора часа я вижу сны. Но это лишь предисловие, а сейчас я хочу сказать о другом.

Недавно я прочёл такое признание в одном интервью Лукино Висконти: «Я обращаюсь к прошлому, оттого что настоящее скучно и предсказуемо, а будущее пугает своей неизвестностью. Зато прошлое предрекает настоящее и, глядя в прошлое, мы, как в зеркале, можем увидеть черты сегодняшнего дня».

И наши собственные черты, добавил бы я. Конечно, «ретро» в фильмах славного режиссера мало похоже на прошлое, к которому льнёт моя память. И всё же я подумал, что слова эти могли бы предварить мой рассказ. А на следующий день, не успев я приступить к работе, произошло знаменательное совпадение. Девушка-почтальон принесла конверт с маркой недавно учреждённой республики. Под грифом архивного управления и датой трёхмесячной давности сообщалось, в ответ на мой запрос, что сведений о гражданке Приваловой Анне Ивановне, 1924 года рождения, в актах гражданского состояния не обнаружено. Никакой гражданки Приваловой, стало быть уже не существовало.

Спрашивается, что же заставило меня разыскивать Ньюру, во-рошить былое, которого не было? Известие, как уже сказано, доби-ралось до меня три месяца; я успел забыть о своём запросе. Но по-чему-то ответ меня не убедил, я читал и перечитывал его; прошлое вцепилось в меня. Я почувствовал, что оно меня не отпустит. Только этим могу объяснить моё решение.

На всякий случай я предупредил соседей и немногих друзей, что уезжаю далеко и надолго. Впрочем, не так уж далеко. Старинное здание Казанского вокзала, которому архитектор придал профиль столицы некогда существовавшего ханства, возродило в моём воображении мне те первые, жаркие недели июля сорок первого года, когда пропаганда уже не могла скрывать тот очевидный факт, что вражеская армия приблизилась к Москве. Толпа женщин с детскими колясками, узлами, чемоданами запрудила перрон, перед которым стояли открытые пульмановские вагоны с наскоро сколоченными по-латями из необструганных досок. Матери звали охрипшими голосами потерявшихся детей, репродуктор что-то вещал, невозможно было разобрать ни слова. Раздался пронзительный свисток, впереди невидимый паровоз тяжело вздыхал, разводя пары. Гром столкнувшихся буферов прокатился вдоль состава и всколыхнул толпу; началась по-садка. Мой отец, несколько дней назад записавшийся в народное ополчение, каким-то образом добрался до вокзала, чтобы успеть по-прощаться с нами. Он стоял перед раздвижной дверью вагона и махал рукой мне, моей названной матери и маленькому брату. Вагон дёр-нулся, колёса взвизгнули под ногами, отец отъехал с толпой прово-жающих, с тех пор я его никогда больше не видел.

Путешествие длилось несколько недель. То и дело эшелон с эвакуированными останавливался, пережидая встречные поезда с цистернами, армейскими грузовиками, зачехлёнными орудиями и сидящими на платформах наголо остриженными новобранцами, ко-торым не суждено было вернуться. Наконец, стиснутые, как в клет-ке, измученные тряской, духотой, неизвестностью, толкнувшись взад-вперёд несколько раз, мы остановились посреди большой, за-битой товарными и пассажирскими вагонами станции; оказалось, что прибыли в Казань.

Итак, мне пришлось проделать заново весь путь — ведь пригре-зиться может только то, что дремлет в подвалах памяти. Всё проис-ходящее казалось теперь естественным; повелевал неведомый рок;

лица и эпизоды сменялись в несжимаемом, как вода, времени. Предстоял решающий шаг. Всё ещё колеблясь, не обращая внимания на окружающих,— объяснять что-либо мачехе и братику было бесполезно, — попросту забыв о них,— я выпрыгнул из вагона. За спиной у меня был рюкзак с каким-то скарбом, я очутился на песке между путями и уже не помнил последний день, толчею и суматоху на московском вокзале, паническую посадку. Лишь при мысли об отце глаза мои наполнялись слезами — стоило только вспомнить, как он стоял в толпе и махал рукой. Я знал (знание будущего — привилегия всё того же закатного возраста), что он не вернулся и никогда не вернётся из заснеженных лесов между Вязьмой и Смоленском, где окружённое врагом, брошенное командованием на произвол судьбы, заблудилось и сгнуло всё их состоявшееся из штатских, злополучное войско.

Мне повезло: я отыскал в незнакомом городе, блуждая наугад, я отыскал речной порт. Последний раз я ел в вагоне, но голода не чувствовал, рассчитывал где-нибудь подкрепиться в пути. Теперь я уже знал, что ехать осталось недолго.

Солнце склонялось к далёкому холмистому берегу, оставляя на воде сверкающий след. Двухпалубный колёсный теплоход «Алексей Стаханов», наименованный так в честь забытого героя труда, шёл вверх по широкой Каме. Сидя в соломенном кресле на палубе, я задремал под шум гребного вала и очнулся оттого, что шум и плеск прекратились. Мне вспомнилось, что следующая остановка называлась Набережные Челны, это была ошибка. Судно покачивалось у дебаркадера пристани Красный Бор. Я обрадовался, я был уверен, что вижу сон во сне, и оказался, в сущности, недалёк от действительности: вопреки всякой логике то была цель моего путешествия. Надо было торопиться. Вместе с другими пассажирами, подтянув лямки рюкзака, я сошёл по трапу и двинулся по главной улице, миновал нашу школу, преодолев искушение заглянуть в районную библиотеку, где был когда-то единственным и регулярным посетителем, — и оставил село.

Между тем быстро темнело; я пожалел об оставшемся в Москве пальто; это была та самая дорога, по которой в тёмные осенние вечера, рискуя потерять галоши в грязи, зимой проваливаясь в сугробы, я плёлся из школы к больничному посёлку. И снова обрадовался, завидев знакомый забор и ворота, — они были открыты. Тотчас, едва только я вспомнил школу и зимние возвращения, пошёл снег.

В сумерках я подошёл к к одному из двух барачков для персонала; сходство с нашим бывшим жильём было так очевидно, что мне почудилось — кто-то поджидает меня на соседнем крыльце, в пальто и платке на голове. Разумеется, никто меня не ждал. Мачеха моя работала медсестрой, ей было пора на дежурство, а она всё ещё оставалась в эшелоне эвакуированных. Подождав немного, я снова увидел женскую фигуру на крыльце. Память потешалась нало мной. «Вам кого?» — спросили оттуда, когда, пройдя через дощатые сени, стряхнув с себя и оттоптав с городских ботинок снег, я толкнул входную дверь.

Я еле удержался, чтобы не рассмеяться. Уж очень всё произошло как по писанному. Правда, там не оказалось той, которую я искал. Невысокая женщина в юбке и вязаных носках на босу ногу, со спущенными с голых плеч бретельками ночной рубашки, поспешно выпрямилась перед табуретом, на котором стоял таз с водой, схватила лежащее рядом мохнатое полотенце, и стала вытирать энергичными движениями, обнажив тёмные подмышки, мокрую черно-волосую голову «А-а! — воскликнула она, поворачиваясь с полотенцем навстречу гостю, — это ты?.. Закрывай дверь, дуэт».

Я не нашёлся что сказать, даже не поздоровался, да и что мог ей ответить? Что-то восточное показалось мне в тюрбане из полотенца, которым увенчала себя Маруся Гизатуллина... Ей было холодно, она искала что-нибудь накинуть на оголённые плечи. Не скрою, я был разочарован: как уже сказано, я ожидал встретить другую. Я оглядел помещение. Печь с плитой и похожей на пещеру топкой, по обе стороны две двери вели в комнаты, в одной из них проживала с дочерью аккуратная старушка татарка, мать Маруси. Зато другая дверь, в углу за печкой, — тут сомнений не оставалось, была наша. Я говорю, не было сомнений, потому что знал, вполне отдавал себе отчёт: случись, что воспоминание меня подвело, вся поездка моя окажется напрасной. Итак, эта дверь, была нашей, вела в комнату, куда нас поселили, когда, это было вскоре после приезда, моя мачеха устроилась сестрой и лаборантом в больнице. Впрочем, и Маруся Гизатуллина, и Нюра — обе были медсёстры. Дверь была приотворена, из узкой щели сквозил слабый свет.

Тем временем таз был унесён, мыльная вода выплеснута в ведро, табурет вернулся в комнатку Маруси. Наследница легендарной царицы Сююмбеки появилась, сменив рубашку и юбку на белый медицинский халат, не завязанный, так что на мгновение в распах

мелькнули маленькие смуглые груди и чёрная дельта внизу живота. «Небось подглядывал!» — сказала она, взглянув на полуоткрытую дверь бывшего нашего обиталища, и на этом её роль была закончена, больше она меня не интересовала. Любопытно, что как раз в эту минуту мне вспомнилось: тогда, в тот вечер, когда пришла Ньюра, Маруси не было дома, она спала, а может быть, уже успела к этому времени переселиться с матерью в другой барак. (Кстати, я упоминал и о ней в одной своей повести.)

Спохватившись, я подбежал, к нашей двери, рванул — и чуть не нос к носу столкнулся с жильцом.

Жилец этот был подросток лет пятнадцати на вид, худой и измождённый, какими все мы были в годы войны. Мамаша приносила с дежурства в виде лакомства селёдочную голову, в деревнях ели хлеб из коры и крапивы.

«Вы ко мне?» — спросил мальчик, и мы вошли в комнату.

«Вы, — сказал я с упрёком. — Ты говоришь мне: вы?..» В комнате помещались две кровати, стол; на одном ложе спал малыш, другое предназначалось для старшего сына. Я подошёл к столу. Тут стояла коптилка, лежали книги и чернильные принадлежности. Коптилкой называлась тогда лампа со снятым стеклом для экономии керосина. Стол стоял у окна, в окне отражался чахлый огонёк, отразились наши лица, похожие на лица заговорщиков. Снаружи было уже совсем темно.

«Вот и отлично, — продолжал я, заглянув в дневник, — сейчас узнаем, какой сегодня день... Я оторвал тебя от занятий, ты один?».

Мальчик смотрел на меня с угрюмым недоумением. «Откуда вы знаете?» — спросил он. Опять это «вы». Нужно было объясниться, чего я опасался. Мне показалось, что он боится меня. Я пробормотал, что приехал повидаться. «С кем?» У меня забилося сердце. Я ответил: «Повидаться с тобой. Будем лучше на ты. Мы с тобой не чужие. Ты не узнал меня...»

«Мой папа на фронте », — сказал он.

Я присел на кровать. Видение отца явилось мне вновь: он стоял перед вагоном и махал нам рукой. Мальчик сидел на своём обычном месте на табуретке у стола, мы оба молчали, — не мог же я объявить ему, что его папа никогда не вернётся

«Мне не хочется тебя огорчать, — заговорил я. — Только не пугайся Дело в том, что я — как тебе сказать? Я не твой отец. Я — это ты сам».

«Этого не может быть, — возразил он. — А кто вы, собственно, такой?»

«Когда-нибудь, — сказал я, — если ты прочтёшь мой рассказ, тебе всё станет понятно. Только это будет очень нескоро. Я писатель».

Мальчик сказал:

«Я тоже решил быть писателем».

«Ты им будешь». — Я продолжал:

«Тебя интересовала цель моего прибытия. Признаюсь, я ехал не только к тебе. Надеялся встретить ещё кое-кого».

«Ньюру?»

«Вот видишь, ты сразу догадался Между прочим, позавчера я получил ответ из архивного управления».

«Какой ответ?»

«Не имеет значения. Значит, она к тебе больше не приходит?»

Он сокрушённо покачал головой.

«Не грусти, — сказал я. — Всё уладится. Я ещё не всё дописал до конца».

«Выходит, всё зависит от тебя».

«Конечно, — сказал я смеясь, — ведь я писатель».

Я был доволен — мы наконец нашли общий язык.

«Подытожим события, — сказал я. — Ты написал ей письмо. Ведь это правда? Ты объяснился ей в любви».

Он кивнул.

«И вот однажды поздним вечером, когда все кругом спали, она постучалась к тебе. Верно?»

Он снова кивнул.

«Отсюда я делаю вывод, что из тебя получится настоящий писатель... Письмо было написано так, что оно взволновало двадцатилетнюю девушку, которая ещё никогда ни от кого таких посланий не получала, не слышала таких слов. Ты, мой милый, — я усмехнулся, — соблазнитель!».

Я говорил, но видел, что он меня не слушает.

«Она была в ночной рубашке с грубыми кружевами — видимо, только что встала с постели, — лежала без сна и, наконец, решилась выйти. Пальто на ватной подкладке, накинула на плечи, ноги сунула в валенки, на голове шерстяной платок. Постучалась и вошла, и на прядях выбившихся светлых волос блестел иней. Верно?»

Подросток кивнул.

«Увидела на столе копилку, книжки и спросила: нет ли чего-нибудь почитать? Нужен был повод!

Ты знал, что она, как все, ничего или почти ничего не читала. Ужасно стеснялась. Подсела к столу...».

«Дальше ты сам знаешь, — сказал я. — Неожиданная гостя взглянула на раскрытую тетрадку, узнала твой почерк, — ведь она всё время думала о письме! — спросила: что вы пишете? Ты ответил: дневник; там есть и о вас».

«Потому что, — добавил я, — и твоё письмо, и разговор — всё у вас было на вы. Но о твоём письме — ни слова».

«А мне посмотреть можно? — спросила она, и тут это случилось».

«Случилось?» — пробормотал он.

«Да. Самое важное в твоей жизни — вернее, в моей. Когда-нибудь ты вспомнишь зимний вечер, и этот тусклый огонёк, символ твоего одиночества, и стук в дверь, и... и поймёшь: чудесное явление девушки-богини с искрами инея на ресницах, на выбившихся из-под платка волосах, её маленькие валенки, и эта почти нарочитая скованность, и молчание, и присутствие её тела здесь, рядом с тобой, — вспомнишь и поймёшь, а может быть, уже постиг, что всё это в самом деле было нечто самое важное в жизни, что это сама жизнь и залог неугасимой вечности...»

«А дальше?» — спросил подросток.

«Ты подвинул к ней свою тетрадку, она, не вставая, склонившись над столом и, сама того не замечая, оперлась локтями. Пальто сползло с покатых плеч, и в открывшемся вырезе рубашки поднялись её большие груди».

«Получилось ли так ненароком? — спросил я сам себя. — Но и тебе ведь казалось, что случилось как бы само собой. Заметив твой взгляд, она мгновенно поправила пальто на плечах, — но знала, чуть-ём понимала, что мнимая произвольность содеянного освободит вас обоих, облегчит всё, что произойдёт».

«Произойдёт что? По-твоему, она показала грудь нарочно?»

«Это был сигнал. Пол — это судьба, ты поймёшь это, когда станешь мною. К счастью, это будет нескоро».

«Когда? Ты говорил не об этом».

«Время бежит. Мы говорили о тебе теперешнем...»

Теперь, тогда – кто в этом мог разобраться? Юный собеседник вернулся к столу подкрутить фитилёк светильника. Лепесток огня стал ярче, наши тени пошатывались на стене. Мой братик на второй кровати спал, детское личико было слегка освещено.

Нюра встала – я должен был досказать свой рассказ. Огонёк на столе заволновался, когда пальто съехало на пол и я вскочил поднять и подать ей пальто; она отстранила меня. Как была, в рубашке, она села на мою кровать, её полные колени обнажились, – красоту и белизну их я не в силах описать. Онемев, я стоял рядом; слабым кивком она велела мне сбросить то, что было на мне.

«Что-то материнское, – продолжал я, – почти сострадание мелькнуло или почудилось тебе в её улыбке и взгляде, устремлённом на твои тощие ноги, – ей-Богу, было чему сострадать! Она опустилась на ложе и слегка потянула к себе подростка; открыла грудь, словно хотела дать ребёнку, – был ли этот ещё не рождённый, но стучащийся в жизнь ребёнок ты – дитя, о котором Шопенгауэр говорит, что оно зачинается в ту минуту, когда будущие родители впервые видят друг друга? Бледные губы поцеловали тебя, что-то шептали. Это были безумные слова. Почти насильно она заставила тебя повернуться к себе. Её ладонь погладила тебя по голове.

«Почувствовалось, – продолжал я, – что-то крадущееся, щекотное, холодные пальцы нашли то, что искали. Мучительное счастье исторглось из меня, и всё было кончено. Я заплакал.»

«Оба сидели рядом, спустив голые ноги. Светлячок догорал – вот-вот потухнет. Она приговаривала: «Не плачь, мужичок».

«Это я виновата, – сказала она, – у меня ведь тоже никого не было, ты мой первый... Мужиков-то вокруг нетути, никого не осталось... Скоро стану совсем старая, оглянуться не успеешь. Не горюй. Не зря говорится – первый блин комом! Женщин много, у тебя ещё будут...»

Она снова обняла тебя – то есть меня.

«Хочешь, – прорывковала она, – попробуем ещё разок?»

Как бывает часто в дальних поездках, обратный путь показался мне много короче. Зима прошла, давно возобновилось судоходство на Каме. Теплоход «Степан Разин», бывший «Алексей Стаханов», покачивался, готовясь пришвартоваться к дебаркадеру. Я подбежал к пристани. И та, ставшая уже давнишней дорога в больницу в

снежных сумерках, и чья-то женская фигура на крыльце, и Маруся Гизатуллина с оголёнными плечами перед тазом с горячей водой, и ты, Ньюра, и наши пляшущие тени в комнатке, где спал мой братик, и керосин должен был вот-вот иссякнуть в коптилке, — всё встало перед глазами. Всё казалось мне теперь миражом, загадочной песней мозга, наподобие тех причудливо-абсурдных сновидений, которые посещают меня, когда, улёгшись на ночь, я закрываю усталые глаза, — о них, мне кажется, я уже говорил.

В Казани пришлось потратить довольно много времени на поиски учреждения с нужной мне вывеской; когда же, наконец, я до него добрался, оказалось, что вход в Центральное архивное управление — только по пропускам.

В проходной я показал бумагу, присланную мне давеча, человек за стеклом долго её изучал, поглядывал на мой паспорт — и назвал этаж и номер кабинета. Ещё сколько-то времени протекло, прежде чем чиновница, молодая черноглазая татарка, похожая на Марусю (я вспомнил, что настоящее Марусино имя было Марьям), соединилась с начальством, разговор по телефону шёл на языке, которого я не знаю. Наконец, открылась дверь, принесли папку, на которую я взглянул с радостью и надеждой.

Женщина развернула папку, отогнула картонные клапаны.

«Привалова Анна Ивановна, русская, год рождения 1924-й. Всё правильно, — сказала она. — Вам ведь сообщили».

«Да, но, видите ли...»

«Вижу. Гражданка Привалова умерла. Причина смерти — полсеродовой сепсис».

2012

ПРОЩАНИЕ

Motto: Шопен, вальс № 9 Op. 69-1

Перечитывая очерк Марка Харитонов о Вадиме Сидуре, я остановился на высказывании покойного мастера: «Для меня творчество — акт сугубо индивидуальный. Художник должен быть одинок...»

Мне близка эта мысль. Сошлюсь на следующую запись в моих давнишних заметках «Литературный музей»:

«Чувствуешь себя вроде барышни, которая долго готовилась к танцевальному вечеру, раздумывала над каждой подробностью своего наряда, и вот она стоит у стены среди музыки и света, и никто к ней не подходит. Моя проза — это *poste restante*, письма до востребования, за которыми никто не пришёл».

Помню один случай. Шесть лет, с 55-го по 61-й, прошло после освобождения из лагеря. Я окончил медицинский институт и заведовал бывшей земской участковой больницей чеховских времён, в Вышневолоцком районе Калининской области. Больничка моя выписывала «Литературную Газету», однажды мне попалось интервью с маститым романистом, одним из вошедших тогда в моду земляных писателей. Он рассказывал: «Этим летом я побывал на моей родной Вологодчине, где мне всегда хорошо работается».

У человека с психологией бывшего заключённого эти слова могли вызвать только смех. Хорошо работается. Ничего себе работа — чиркать перышком по бумаге; небось не мешки таскать.

Фраза (как и вся беседа) была многозначительной. Во-первых, она должна была свидетельствовать о близости к народу. Во-вторых, выражала уверенность в значении литературного труда, в том, что народ ждёт от своего писателя новых произведений, новых доказательств родства.

Между тем я оскормился: вечерами, возвращаясь от больных, сам чиркал перышком. Пописывал кое-что. Мне было стыдно при-

знать, что я занимаюсь таким немужским делом, как сочинительство. Свои опыты я никому не показывал. Не говоря уже о том, чтобы пытаться куда-нибудь их послать. Невозможно было вообразить себя в сонме настоящих писателей. С отроческих лет я привык держаться в стороне от официальной литературы, советских писателей почти не читал. Соваться туда со своими изделиями было не только бесполезно, но и небезопасно. В 1981 году, уже в Москве, при обыске у меня был отнят мой первый роман, после чего я получил из прокуратуры — филиала КГБ — уведомление о том, что роман признан антисоветским и арестован. Двойная ирония судьбы: в юности я и сам был арестован.

Впоследствии я восстановил по памяти своё погибшее детище. В эмиграции, в начале 80-х, я опубликовал этот роман и послал экземпляр с дарственной надписью начальнику отдела Московской прокуратуры некоему Ю. Смирнову, руководившему операцией по изъятию романа. Надеюсь, он был растроган.

*

Заразившись в ранней юности литературной болезнью, я не мог исцелиться и в «старости». Я писал в глухой изоляции, «в стол», и не страдал от одиночества, полагая его своим естественным состоянием. Так я стал секретным писателем.

Иначе и быть не могло. Мы все были гражданами засекреченного государства. На эту секретность можно было ответить только личной секретностью. Среди первых сочинений, написанных в Москве, позднее циркулировавших в Самиздате и в конце концов опубликованных в Израиле, находилась повесть или маленький роман «Час короля». Не назвавший себя «сотрудник» без мундира и погон на допросе в доме на Кузнецком мосту, 19, в комнатке с зарешечённым окном добивался признания, что я — автор этого антисоветского сочинения. Почему антисоветского? Мы понимаем, возразил он, о какой стране здесь идёт речь. Справедливое суждение. Повесть описывала тоталитарное государство с его всеобъемлющей маниакальной засекреченностью, похожее на наше отечество. Предметом дознания — разумеется, секретного, с подпиской о неразглашении, — была найденная у меня книжка небольшого формата, под титулом «Запах звёзд», изданная без моего ведома в Тель-Авиве сборник прозы, куда вошёл, вместе с одноимённым рассказом, и

«Час короля». Таким образом, я обрёл, в лице воинов славного ведомства, первых читателей. Мне не приходило в голову, что я вступаю на путь, который приведёт меня к изгнанию.

*

Публичность развратила меня; писательская девственность была утрачена. Об этом стоит поговорить отдельно.

Недавно, в одну из ночей я увидел мою умершую жену. Показываю ей свою книгу, только что вышедшее собрание сочинений. Она спросила меня: «Зачем это?» Отвечаю: «Чтобы они знали, что я жив».

Она не поинтересовалась, кто эти *они*. В сущности, это был вечный вопрос о читателях. Кому нужны твои произведения? Кто их станет читать? Я и теперь не в состоянии ответить на эти вопросы

Кому из пишущих не терпится увидеть себя напечатанным... При том что «напечатанное» отнюдь не значит «прочитанное». И, однако, желание публиковаться может быть столь же велико, как и нежелание публиковаться. Может быть, время первых шагов, неуклюжих проб было счастливым. Клянусь, я был далёк от тщеславия. Я писал то, что хотел написать, не думая ни о какой публике, — идеальная ситуация для писательства. Я был свободен. Как и прежде, для меня не существовало официальной литературы. Моим писаниям, независимо от их качества, был а priori закрыт доступ в эту литературу. Это было предопределено и тематикой, и стилем, и общим духом моей прозы. И тут явился на свет Самиздат.

Плунуть на всё! Почему бы и нет? Самиздат был великим соблазном, он был опасной игрой. Жест отчаяния и протеста, праздник свободомыслия и веселья. Взамен он обещал новое вдохновение. С высоты лет хорошо видны его слабости и неудачи. Тот, кто его пережил, кто присоединился к его зачинателям и участникам, его не забудет, как не забывается литературная молодость.

И, однако, Самиздат был изменой. Вечная альтернатива художника «свобода или одиночество» вновь была решена: теперь, как и прежде, в пользу свободы. Свобода означала независимость. Независимость всегда и везде обрекает на одиночество.

*

Сегодня, когда я пишу это, исполняется тридцать лет, как мы, моя жена и наш сын, уехали из России. До последних мелочей пом-

ню последние, ужасные дни сборов, хождение по инстанциям и волчьих повадки должностных лиц — как бы побольше тебя укусить. И вот оказалось, что эмиграция, только эмиграция и чужая страна, подарили мне возможность заниматься литературой. Условием *sine qua non* для этого были бегство и изоляция от «своей» страны.

Тридцать лет научили многому. Помогли отряхнуться от многих иллюзий. Среди них была вера в литературу. Чтобы писать, надо отрешиться заодно с этой верой от благодушия и надежд. В «Стенограммах» Марка Харитонова, давно ставших моей настольной книгой, писатель нет-нет да и задаёт себе вопрос, как будут читать нас воображаемые потомки. Будет ли их вообще интересовать наша работа? На девятом десятке жизни я, мне кажется, знаю ответ: *нет*. Меня, во всяком случае, — говорю только о себе — читать никто не будет. Залогом этого неприятия является хотя бы убийственная стремительность, с которой менялась на наших глазах и будет изменяться жизнь. О нашем отечестве тем более не говорю: оно умерщвляло меня как писателя и добьёт окончательно.

Литература, моя литература, — прощай.

Мюнхен, 18 августа 2012

ПУТЬ-ДОРОЖЕНЬКА

*И невозможное возможно,
Дорога долгая легка...*

А. Блок

1

Помню, когда я читал книгу Элиаса Канетти «Masse und Macht» («Масса и власть»), меня удивило и даже обидело, почему, говоря о «массовых символах нации» (у немцев — строевой лес, у французов революция, у англичан палуба корабля, у евреев пустыня и шествие по пустыне, и так далее), почему, перебрав одну за другой древние культуры Европы, писатель забыл нашу страну. Но такой символ, национальный символ русских, существует, и какой же может быть иной? — дорога, бесконечная русская дорога до края небес, до синеватой кромки леса на горизонте, всегда одна и та же, дорога, которая служит мерой обширности страны и вместе с тем бережёт от распада, как бы прошивая необозримые дали; дорога, по которой можно ехать часами и сутками, по которой, как сказано классиком, хоть три года скачи, ни до какой страны не доскачешь, которая засасывает, как сама Россия, — вот оно, вот нужное слово: засасывает! — и вносит успокоение, и дарует забвенье. Еду, еду в чистом поле... страшно, страшно поневоле среди неведомых равнин — да, есть в русской дороге что-то демонское и чарующее, в её способности завлечь и переварить, — дорога, поглотившая историю, гибельная и спасительная, истощившая завоевательный натиск монгольской конницы, заморозившая в снегах Великую армию Наполеона, засосавшая в трясины тевтонское полчище, — путь-дорога, по которой бредут калики перехожие и так и не добрались никуда за тысячу лет, по которой неслась во весь опор гоголевская птица-тройка — мимо остолбеневшего пешехода, мимо всего света, летела до тех пор, пока не сломались колёса и свалился в грязь бородастый ямщик, сидевший чёрт знает на чём...

2

Дорога — это всегда расставание со старой жизнью и предвосхищение новой. Первая серьёзная вещь юноши Чехова, «Степь», восхитившая старика Григоровича, сделавшая автора известным, была рассказом о путешествии. В финале «Невесты», последней прозы умирающего писателя, отправляется в путь девушка Надя. «Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город — как полагала, навсегда».

3

Чувство, а лучше сказать, переживание дороги родилось в детстве, в Подмоскowie на даче, когда ты вдыхал волнующий запах нагретых солнцем просмолённых шпал, когда вперялся в блестящий рельсовый путь, и ждал — вот-вот покажется в далёкой дали голубоватый призрак и станет медленно расти, и начнут подрагивать рельсы, свет лобовой фары побежит по стальному пути, — это идёт электричка, и уже зовёт двойной, косо крепящийся на головном вагоне рожок перед ветровым стеклом машиниста.

Дорога — это сиденье в одиночном боксе до отказа наполненного тюремного фургона, в темноте, и неизвестность, куда везут; ясно одно — это последняя в твоей жизни езда по московским улицам. Стоп! — по-видимому, ты на вокзале. А там ожидает длинный, как срок, который тебе вlepили, эшелон, тебя ведёт солдат, прикованный к тебе наручниками, словно он сам — заключённый, а там закрытый, без окон вагонзак, легендарный столыпин, уже битком набитый, народу-то ведь в России пропасть, — и дальше не мешкая по тесному проходу мимо решёток, за которыми — головы, головы — лежат, сидят, съёжились и скорчились в полутьме, восемнадцать рыл в купе друг на друге, и состав дёргается с места, — и поехали — куда, неизвестно, и вот она снова, русская дорога, — многосуточный, тряский, стучащий и гроыхающий путь через всю страну в лагерь.

«Ничего... — повторил он. — Твое горе с полгоря. Жизнь долгая — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия! — сказал он и поглядел в обе стороны. — Я во всей России был и всё в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное...»

Это снова Чехов, — и, право, лучше не скажешь.

4

Я был сельским врачом в Калининской, ныне Тверской области, заведовал бывшей земской, чеховских времён, участковой больницей поблизости от села Есеновичи, некогда называвшегося Спас-Есеновичи, в трёх часах езды от Кувшинова, в двух от Вышнего Волочка, по тракту, которым в годы коллективизации везли трупы «зелёных братьев» — отчаявшихся мужиков, бежавших с топорами и вилами в леса; говорят, тут проезжал из Волочка и как раз мимо нашей больнички Лев Толстой в бричке, в гости к какому-то деревенскому философу.

Как-то раз в ноябре, — зима давно началась — я вёз в своей медицинской машине четырёхлетнего малыша, с бронхиальной астмой, к которому поехал в дальнюю деревню по случаю затянувшегося приступа; ребёнок сидел у меня на коленях, рядом водитель, немолодой мужик по имени Аркадий, бывший фронтовой шофёр, ворочал рулём, всматривался в мотающийся дворник, снег сыпал не переставая с обеих сторон тянулся лес — косматые ели, опушённые снегом, узкий тракт успело завалить, не дай Бог встретиться с кем — не разъедешься!

5

Доехали до горки, спустились — и началось. Заревел мотор и взревел снова. Вновь и вновь сотрясающаяся машина пытается взять подъём. И опять Аркадий, флегматичный, как все люди его профессии, вылезает из кабины с лопатой и уныло-терпеливо разгребает снег — вотще. Едва вскарабкавшись, экипаж съезжает вниз юзом.

Медикаменты — а более всего дорога — исцелили моего пациента. Мы едем дальше; малыш, укрытый, спит у меня на коленях

Ноябрь 2012

ДРОВОКОЛ И САТУРН

(из повести «Жертвоприношение»)

В декабрьскую ночь я получил производственную травму, случай не такой уж редкий в наших местах. Я работал на электростанции, это имело свои преимущества и свои недостатки. Мне не нужно было вставать до рассвета, наоборот, в это время я заканчивал смену и брёл домой, предвкушая сладкий сон в дневной тишине. Вечером, когда возвращались бригады и секция наполнялась уставшими и возбуждёнными людьми, я приступал к сборам, влезал в стёганные ватные штаны и всаживал ноги в валенки, голову повязывал платком, чтобы не дуло в уши и затылок, нахлобучивал шапку, надевал ватный бушлат и запасался латаными мешковинными рукавицами. В синих густеющих сумерках перед вахтой собиралось человек восемь таких же, как я. Рабочий день в это время года у бригадников выходил короче, так как съём с работы по режимным соображениям производился засветло, — у бесконвойных же, напротив, длиннее.

Высокие, украшенные патриотическим лозунгом и выцветшими флажками ворота ради нас не отворялись. Гремел засов на вахте, мы выходили один за другим, предъявляя пропуск, через проходную. Кто шёл на дежурство в пожарку, кто сторожем на дальний склад. По тропке в снегу я шагал до угла, оттуда сворачивал на дорогу, ведущую к станции. Слева от дороги, напротив посёлка вольнонаёмных, среди снежных холмов находилась утоптанная площадка, усыпанная щепками и корьём, стояли козлы и вагонетка, высились штабеля дров, темнел большой дощатый сарай, похожий на пароход, с железной мачтой-трубой на проволочных растяжках. Ночью эта труба плыла среди звёзд, дымя плотным белым дымом, а из сарая доносился глухой рокот.

Всю ночь над нами стоял Сатурн, несла вахту окольцованная планета лагерей, планета-покровительница России. Всю ночь в зоне горел свет на столбах и в бараках, ток подавался в посёлок, в ка-

зарму, в пожарное депо, но всё это составляло ничтожный расход по сравнению с энергией, подаваемой на заграждения из колючей проволоки и наружное кольцо. Всё могло выйти из строя, но сияющий, словно иллюминация, венец огней вокруг зоны и белые струи прожекторов, бьющие с вышек, не должны были померкнуть ни при какой погоде.

И если бы заблудившийся лётчик очутился в этих пространствах, он увидел бы под собой зеленовато-бурый ковёр лесов, тёмный пунктир узких таёжных рек, различил бы прочерк железнодорожной насыпи. Если бы ангел, медленно взмахивая белоснежными крыльями, огибая созвездия, пролетел над нашим краем, то заметил бы огоньки костров и чёрные проплешины вырубок. Тёмной ночью он пронёсся бы над спящим посёлком вольнонаёмных, над кольцом огней вокруг зоны и скорей угадал, чем увидел, тонкие струи прожекторов с игрушечных вышек.

...Первым делом расчистить рельсы, сгрести снег со штабелей. Обухом наотмашь — по смёрзшимся торцам, чтобы развалить штабель. Сквозь ртутное мерцание звёзд, в белёсом дыме, безустали грохоча, шёл вперёд без флагов и огней опушённый снегом двухскатный корабль. Еженощно его утроба пожирала восемь кубометров берёзовых дров. На столбе под чёрной тарелкой качалась на ветру хилая лампочка, колыхалась на площадке, махая колуном, тень в ватном бушлате. Мне становилось жарко, я сбрасывал бушлат, разматывал бабий платок.

Толкая по рельсам нагруженную тележку, я довёз её до входа в сарай, отворил дверь, и оттуда вырвался оглушительный лязг. В топке выло пламя. Облитый оранжевым светом, глянцевоый, голый до пояса кочегар, вися грудью на длинной, как у сталевара, кочерге, ворочал дрова в печи. Кочегар что-то кричал. На часах, висевших между стропилами над огромной, потной и сотрясающейся машиной, было два часа ночи. Механик спал в углу на топчане, накрыв голову телогрейкой.

Кочегар крикнул, что звонят с вахты, дежурный ругается. Блистающее кольцо вокруг зоны тускнело, когда топку загружали сырыми дровами.

Дровокол...

...или тот, другой, кто был мною в те нескончаемые годы. В тот единственный год, как год на Сатурне, где Солнце — лиловой звездой. В те дни и в те ночи, когда в смутных известиях, переносившихся, словно радиоволны, из одного таёжного княжества в другое, в толковищах вполголоса на скрипучих нарах, в лапидарном мате — крепла уверенность людей, которых считали несуществующими, в том, что только они и существуют и других не осталось, что повсеместно во всей обширной стране паспорта заменены формулярами, одежда — бушлатом и вислыми ватными штанами, человеческая речь — доисторическим рыком, время — сроком, которому нет конца, и что даже на Спасской башне стрелки заменены чугунным обрубком, который показывает один-единственный, бесконечный год;

когда рассказывали, повествовали о том, как старичок председатель Верховного Совета, в очках и в бородке клинышком, едва только доложат, что пришёл состав, канает на Курский вокзал, идёт, стучит палочкой по перрону вдоль товарных вагонов, гружёных просьбами о помиловании, а сзади ему подают мел. И старичок-козлик, мелом, наискосок, на каждом вагоне — резолюцию: отказать, — после чего состав катит обратно;

когда рассказывали, как маршал со звёздами на широких погонах, с животом горой, в пенсне на мясистом рубильнике, входит ежевечерне доложить, сколько кубометров напилили, сколько тонн угля нарубили за день по всем лагерям, и Великий Ус, погуляв туда-сюда по просторному кабинету, подымив трубочкой, подходит к стоячим счётам вроде тех, что стоят в первом классе, перебрасывает костяшки и говорит, щурясь от дыма: «Мало! Пуцай сидят»;

когда рассказывали, клялись, что знают доподлинно, епё один мужик, забравшись ночью в кабинет оперуполномоченного, спросил: правда ли, что вся Россия сидит? И что будто бы портрет над столом, ухмыльнувшись половинкой усов, ответил ему загадочной фразой: «Благо всех вместе выше, чем благо каждого по отдельности». Не поняв, любопытствующий, повторил вопрос: правду ли болтают, что никого на воле уже не осталось? И портрет ему будто бы ответил: «Ща как в рыло въеду, не выеду».

Дровокол вывез пустую вагонетку из сарая, в конце концов за работу электростанции отвечал механик. Волоча кабель, поплёлся к штабелю с ёлкой, она будет посуше, выкатил несколько баланов, разрезал, электрическая пила стрекотала, как пулемёт, рукоятка билась под рукавицей. Дул пронзительный ветер, колыхался жёлтый круг света, лампочка раскачивалась на столбе под чёрной тарелкой. Как вдруг свет погас. Пила замолкла. Открылся сумеречный, сиреневый простор под усыпанным алмазными звёздами небом. Но машина-зверь по-прежнему урчала и рокотала в сарае, из железной трубы валил дым и летели искры.

В темноте дровокол расхаживал вдоль расставленных шеренгой полутораметровых поленьев. Ель — не берёза, литые берёзовые плахи на морозе звенят и разлетаются, как орех, а ёлка пружинит. Это стоило бы запомнить каждому. Колун завяз в полене, дровокол плохо видел и наклонился над обухом. Колун словно ждал этого мгновения — и вырвался, саданув с размаху дровокола обухом в лицо. От удара дровокол повалился навзничь.

То была милость судьбы: наклонись я чуть ниже, то был бы убит. Вообще стоило бы поразмыслить над тем, что, собственно, мы называем случаем, несчастным или счастливым, всё равно.

Мы в России привыкли жить сегодняшним днём. Мудрое правило. А потому прошу не считать меня отставшим от жизни, не думать, что мои рассуждения — прошлогодний снег. Пускай он нынче растаял, завтра — выпадет снова. Из снега всё вышло, в снег и уйдёт. И вода, что мы пьём, тот же снег; и не зря сказано: кто однажды отведал тюремной баланды, будет жрать её снова. Сказано: всё возвращается на круги своя...

Говорят, Ус не умер, а скрывается где-нибудь. Да хотя бы и умер. Говорят, все лагеря разогнали. Чушь. Не верю. Лагерное существование есть законный и нормальный образ жизни русского человека, лагерь — это судьба, а слово «судьба» ничего другого, как обыкновенную жизнь, не обозначает. Иные, так просто страшились конца срока, с тяжёлым сердцем ожидали освобождения. Человек тоскует по лагерю, потому что лагерь у него в душе. В лагере пайка хлеба, и место на нарах, и очко в сортире — всё твоё, и тебя ожидает. Как кромка леса на горизонте, лагерь маячит и никуда не денется. Не заметишь, как придвинется и сомкнётся вокруг тебя этот лес, и друг обернётся предателем, и вода станет снегом, и дом — бараком.

В сумерках я сидел на снегу, выплёвывал зубы, красные горячие сопли свисали у меня изо рта и носа. Кочегар заметил, что перегорела лампочка на площадке и выглянул в темноту. Я доплёлся до зоны, утром получил в санчасти освобождение. Четырёх дней, однако, не хватило, пришлось с замотанной физиономией, увязая в снегу, топать на полустанок под конвоем, следом за подводой, в которой везли трёх совсем уже немощных. На станции дожидалась теплушка, состав, пересекающий по лагерной ветке всё княжество, чтобы за десять часов добраться до больнички. Тут и сказочке конец.

ЭПИЛОГ

*Марку Харитонову, Галине Эдельман
с любовью и благодарностью,
через годы и расстояния*

1

Видно, такова человеческая натура, если сон, сновидческая активность мозга, нечто призрачное и обманчивое, узурпирует права рассудка, посягает на суверенность нашего «я», принимает решения. Лёжа в больничной палате после несчастного случая, в одну из тех тягостных ночей, когда теряешь способность отличать действительность от хаотических грёз, я набрёл на мысль подвести чёрту под своим писательством. Было ли это попыткой ободрить себя, убедиться в том, что кое-что сделано, внушить себе уверенность, что и дальше сможешь писать? Теперь эта ревизия, благодаря дружбе и самоотверженности веб-мастера Владимира Шубина, создавшего мой электронный сайт, близится к завершению, — не время ли, в самом деле, подвести итог. Мною написано одиннадцать романов, несколько десятков рассказов и повестей; к ним можно присоединить две изданных в России книжки для школьников — «Необыкновенный консилиум» и «Мальчик на берегу океана, жизнеописание сэра Исаака Ньютона», — многочисленные переводы, некоторое количество эссеистических текстов, радиопередачи, рецензии, наконец, 9-томное Собрание сочинений. Собственно, это и есть итог. Мне 84 года. Я еврей. Моя жизнь, начиная с несчастья родиться в России, лежит передо мной, как некая партитура, — кто же был дирижёр, исполнивший сочинение анонимного композитора перед пустым залом?

Несчастьем, говорю я, было родиться здесь и тогда. Звучит вызывающе, как будто автор хочет сказать, что он слишком хорош для этой страны. Всё же мне кое в чём повезло. Два обстоятельства воз-

наградили меня: первое было то, что я вырос в русском языке, почему и обрёл себя почётной и незавидной участи русского писателя, второе — встретился с девушкой, которая стала женщиной моей жизни (и без которой влачу теперь свои дни). Тридцать лет тому назад мы оставили родину, ставшую чужбиной. Эмиграция, на которую, видит Бог, я решился, борясь с самим собой, преодолевая внутреннее сопротивление, — была подарком судьбы. Эмиграция спасла мне жизнь, избавила нашего сына от дискриминации, несвободы и нищеты, наконец, дала мне возможность отдаться литературе.

2

Итак, достаточно нескольких секунд, двух-трёх ударов по клавишам компьютера, чтобы воскресить из электронного небытия то, что потребовало десятилетий. Опасное испытание!

Обозревая до неприличия многое написанное и опубликованное за полвека, чувствуешь себя как в чулане с рухлядью. Я прекрасно понимаю, что как литератор я безнадёжно устарел. Для читателя в России это значит: попросту опоздал. Ведь со времени моего бегства утекло так много воды. С другой стороны, я никогда не был ни народным, ни актуальным, ни национальным писателем — разве только европейским. Годы уединённого труда убедили меня, что если хочешь остаться верным своему призванию (как ты сам его понимаешь), надо держаться подальше от своего народа и, насколько это в твоей власти, не маршировать в ногу с временем. Отсюда следует, что ты никогда не будешь «востребован»: такая самонадеянность не останется безнаказанной. Не говоря о том, что я никому там не нужен. Умри я завтра, обо мне никто не вспомнит.

«Время» — слово, которым так часто злоупотребляют, что его придётся заключить в кавычки. Время — это общество. Это та безликая и враждебная искусству стихия, которая лишает художника его законного достоинства — свободы, хочет запрячь его в свои сани.

«Старая рухлядь». Согласен, — тут, по-видимому, тоже не обошлось без некоторого кокетства. Но надо признать и то, что автор этих произведений то и дело повторяется. Одни и те же темы, мотивы, ключевые слова, одни и те же ламентации. Получается, что я весь свой век пародировал самого себя, всегда писал одну книгу. Это равно касается и беллетристики, и эссеистики, и корреспонденции.

3

В самом деле, это было опасной затеей. И я должен прямо сказать: обзрев эту выставку собственных достижений, мне было трудно отделаться от чувства тяжёлой неудачи. Цель и смысл литературной критики, не правда ли, состоит в том, чтобы уяснить, какую задачу ставил перед собой писатель, насколько он с ней совладал. Хороший писатель тот, кто хорошо пишет; тавтология исчерпывает мои представления о «задаче». Но сегодня я вижу, что требования, которые в данном случае предъявлялись — и которые я могу сформулировать кратко: ясность, лаконизм, музыка, — оказались для писателя по большей части непосильны. Написаны же все эти вещи, за немногими исключениями, плохо: болтливо, невнятно, банально, безмузыкально. Вот так; настроение, в котором я сейчас это пишу, самое гнусное. Всё не то.

Особенно тягостным, я бы сказал — безжалостным, это чувство провала бывает по вечерам, когда ищешь спасения от тоски, этого вечного спутника литературных занятий: тогда-то и уверяешься в том, что прожил свою жизнь напрасно. И невидимый дирижёр махал своей палочкой над пультом с партитурой зря. И, что самое ужасное, ничего уже не поделаешь. Написанное живёт своей убогой жизнью, переписывать нет смысла, время навёрстывать упущенное истекло. Такова расплата за самообольщение, — а если ещё разбежался с публикацией...

«Молчите, проклятые книги! Я вас никогда не писал». Угодить «публике» легче, нежели самому себе. Обмануть себя невозможно.

4

Да, я всю жизнь выжимал сок своего мозга, изо всех сил, пока жива была надежда, писал одну книгу, другими словами, повествовал об одном и том же. А результат? Рискнуть ли мне, воспользовавшись термином Ж.-Ф. Льютара, крестного отца постмодерна, назвать мою сверхповесть метаррацией?

Быть может, в далёком будущем — отважное предположение! — гипотетический читатель ощутит в моей прозе привкус этого времени, вдохнёт зловоние общества, мытарствовать в котором история обрела нас всех. Поймёт ли он то, что очевидно едва ли не для всех современников и соотечественников писателя, — что никакого гражданского общества не было в нашей стране, был беспомощный на-

род, в котором вытравлен инстинкт социальной солидарности, народ, присягнувший на верность тюремно-лагерному государству, и что все мы были пасынками этого бездоленного народа, иждивенцами этого государства? Тот, кого с младых ногтей томила тяга к сочинительству, не мог не почувствовать на своём плече тяжесть железной лапы режима, и если — опять-таки дерзкая надежда, — писания мои возбудят интерес и сочувствие у потомков, моё позднее тщеславие будет удовлетворено.

5

Была известная логика в том, что литература, род несанкционированной и, стало быть, противозаконной самодеятельности в обществе, синонимичном полицейскому государству, стала для меня «регионом великой ереси» (по выражению Ежи Фицовского, автора биографии Бруно Шульца) и в конце концов вынудила бежать из страны родного языка.

Персонажем моих произведений стал «незаконный человек», беспаспортный маргинал — тот, кого ещё не успела втянуть и перемолоть регламентированная среда: ребёнок, подросток, студент, арестант, заключённый, апатрид... То были, в сущности, этапы моей собственной жизни, маски моей прозы. Что же касается «тематики», сошлюсь на предисловие к давнишнему роману «Антивремя», арестованному московской прокуратурой — филиалом тайной полиции. Каковое обстоятельство, пожалуй, пошло роману моему на пользу: впоследствии я написал его заново. «Есть несколько тем, — писал я в предисловии, — обладающих ни с чем не сравнимой привлекательностью. Это Любовь, Память и Время». С тех пор они остались королевским доменом моей литературы. Я и сейчас убеждён: только о них стоило писать.

Меня не оставляла — не оставляет и ныне — идея судьбы. Странная навязчивость! Ещё в те времена, когда я корпел над «Антивременем», мне буравила голову антиномия, побудившая монаха брата Юнипера из романа Торнтон Уайлдера «Мост короля Людовика Святого» размышлять о бессмысленной, как могло показаться, гибели путников на рухнувшем мосту: «Либо наша жизнь случайна и наша смерть случайна, либо и в жизни, и в смерти нашей заложен План». Вопрос, следовательно, сводился к тому, как примирить случайность и предопределение, связать абсурд земного существования и его предположительный и ожидающий расшифров-

ки резон. С одной стороны, все главные события нашей жизни, её решающие повороты — результат случайного стечения обстоятельств. С другой, трудно избавиться от подозрения, будто вся наша жизнь протекает в предуказанном направлении, некоторым образом следует предназначенному пути. Судьба двулика. Время дву-природно.

...«Можно представить себе (я продолжаю цитату из упомянутого предисловия) теологическую систему, где роль акта творения будет играть воспоминание. Классическая теология утверждает, что бытие Бога — вне времени. Но тогда мир оказался бы вне Бога. Скорее нужно предположить, что область существования Бога — это будущее. Оттуда он творит мир, вспоминая о мире, который есть его прошлое. Другими словами, Творец всегда неактуален, всегда впереди: для нас он только будет. Можно сказать, что мы живем в его памяти, что он непрерывно извлекает нас из своего подсознания. Что-то похожее происходит с литературным творчеством.

Два вектора времени пересекают пространство памяти, словно два поезда, идущих навстречу друг другу. Осознав это, начинаешь понимать, что Случай и План — одно и то же, но видимое с двух разных концов. То, что в физическом времени событий представляется игрой случайностей, в божественном антивремени воспоминаний предстаёт как порядок и цель. Сны памяти — суверенная область литературы, потому что в литературе, как в сновидении, ничто не случайно, жизнь полна тайного смысла и несётся навстречу своему завершению, как Галактика навстречу туманности М 31».

Наперекор спешащему из прошлого в будущее календарному времени несётся антивремя из будущего в прошлое. Таким манером я изобрёл для собственного употребления, так сказать, *ad usum Delphini*, утешительную метафизику двух противонаправленных потоков. Она пригодилась мне и в философствованиях о литературе (к коим я всегда питал слабость). Не буду сейчас об этом, я обсасывал тему притягательности фатализма не раз.

Вернусь к третьей части моей триады: писать стоит только о любви. Толстой сказал: альков останется вечной темой литературы. Этому постулату я следовал в своей работе не однажды. Например, мне приходилось то и дело обращаться к теме ранней любви, всегда безысходной, а порой и катастрофической, будь то юношеская влюблённость или любовь подростка к зрелой женщине, — то есть к тому, что мнёт податливую, как пластилин, личность человека на пороге жизни и оставляет рубец на всю жизнь, — к теме любви, ко-

торая была табуирована в ханжеской советской литературе как некая вторая крамола, ибо представляла собой слепой порыв к свободе, неосознанный протест против полицейской морали и в конечном счёте против репрессивного общества. Этому, в частности, был посвящён роман «К северу от будущего», об этом и повесть «Прама-терь». Те же мотивы и мелодические ходы повторяются в других моих вещах.

6

О, как всё тут сцепилось... Моё писательство всегда кормилось памятью. Я помню, подчас до мельчайших подробностей, и своё детство, и юность, и университет, и лагерь, и медицинский институт, труды и дни врача в деревенской глуши и в столице, — притом что никогда не писал автобиографических романов; память звала за собой воображение, фантазия будила спящую память; мои сочинения, — смесь того и другого, мезальянс воспоминаний и грёз.

Память, говорил я себе, это горб, который не даёт разогнуться и смотреть вперёд, в будущее. Но какое там будущее — моё будущее, если повторить известную фразу Евг. Замятина, — это прошлое. С другой стороны, прерогативой молодости является умение забывать. Мы молоды, говорится в моём романе «Вчерашняя вечность», покуда способны забывать, и умираем, раздавленные бременем памяти.

Но существовало, на наших глазах происходило то, о чём невозможно сказать: не помню. Я живу в стране, где интернет и пресса, радио и домашний экран изо дня в день напоминают о преступлениях и преступниках прошлого; бремя возраста и моя профессия запрещают мне забыть о не менее страшном прошлом другой страны, той, откуда я родом. Когда же я пытаюсь о нём напомнить, то слышу одно и то же: всё это не новость, обо всём этом мы слышали, время разоблачений прошло. И я думаю о том, что заверения в этом духе, чем бы ни были они вызваны, нежеланием говорить в доме повешенного о верёвке или, может быть, неизжитым страхом перед всевидящей и всеслышащей, и всё берущей на заметку тайной полицией, — заверения эти — неправда. Потому что честного, последовательного и нелицеприятного расчёта с советским прошлым в России так и не произошло. Преступники не названы по именам и не наказаны; мы не слышали ни об одном процессе над палачами и прихлебателями режима; кровавая гадина не

разгромлена; её деятельность по-прежнему окутана тайной, пределы её власти неизвестны, «кадры» целы и процветают; наконец, ко всеобщему стыду и позору её питомец восседает в кресле единоличного правителя всё той же монструозной, полумонгольской полувизантийской державы...

Laissons cela, довольно об этом. «Который раз даёшь себе зарок плюнуть на всю эту политику, Не твоя это, в конце концов, профессия...» (М. Харитонов, «Мечта о чистой совести»).

7

Я хотел сказать о принудительной памяти, той памяти, которая прикована к страшному прошлому страны и не позволяет забыть о нём. Я хотел бы противопоставить её другой спонтанной памяти, произвольной памяти мальчика Марселя, которому мама, когда он пришёл ненастным вечером, озябший и удручённый, домой, дала выпить горячего чаю с бисквитными пирожными *petites madeleines*. Стоило ему, однако, поднести ко рту ложечку с чаем, почувствовать вкус размоченного в чаю бисквита, как его охватило внезапное чувство беспричинной радости и заслонило все его мнимые или действительные невзгоды. Но однажды, годы спустя, тётя Леони угостила теперь уже выросшего Марселя пирожными «мадлен», и память забытого дня в Комбре воскресла, городок с его церковью, улочками, носящими имена местных святых, домами из почернелого камня, садами и окрестностями ожил. Так некогда пережитое счастье и всё огромное здание воспоминаний, *l'édifice immense du souvenir*, всплыли из чашки чаю, и из них мало помалу, страница за страницей, один том за другим, возрос огромный, неохватный, ветвистый, как древо жизни Иггдрасил, роман Марселя Пруста.

Это чудо воскресения утраченного времени совершила произвольная память. Не таков, однако, деспотизм принудительной памяти. Памяти, воскрешающей страшные времена, не сравнимые с обрётённым временем Пруста, но которая породила и собственные мои творения, то, что собрала и швырнула к ногам обескураженного сочинителя дигитальная техника.

Rosenmontag
20.02.2010

СОДЕРЖАНИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК РОЗ

Об автобиографической прозе.....	9
Понедельник роз	12
Памяти одной книги	57
Любимый ученик.....	61
Подвиг Искарриота	73
Забвение песка	78
Вчерашняя вечность.....	82

ЭЛИЗИУМ ТЕНЕЙ

Элизиум теней	89
Alma mater	91
1. Манеж.....	91
2. Балюстрада.....	93
3. Факультет и Классическое отделение	94
4. Коммунистическая аудитория.....	99
Старики.....	102
Ночь Рима	115

ЖАБРЫ И ЛЕГКИЕ ЯЗЫКА

Exsilium.....	119
Писатель в языке и традиции	134
Ветер изгнания	136
Паломничество за огненную реку	146
Одиссея познания мира: мальчики.....	153
Париж и всё на свете	158
Буквы	167
Дух и воздух истории.....	171
Жабры и лёгкие языка	172

Pro domo sua.....	178
Окна. Книга ни для кого	192
Кухня чародея	202
Немецкий эпилог: неотправленное письмо	206
Прибытие	226
Прощание.....	235
Путь-дороженька	239
Дровокол и Сатурн.....	242
Эпилог	247

Борис Хазанов
ЭЛИЗИУМ ТЕНЕЙ
Автобиографическая проза

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*

Оригинал-макет *Б. Н. Марковский*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47

Редакция издательства «Алетейя»:
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,
тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru

Отдел продаж:
tempro@yandex.ru, тел. (812) 951-98-99

www.aletheia.spb.ru

*Книги издательства «Алетейя» в Москве
можно приобрести в следующих магазинах:*

«Историческая книга», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83

Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.

Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Фаланстер», Малый Гнездииковский пер., 12/27.

Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Магазин «Циолковский», Новая площадь, 3/4, подъезд 7д.

Тел. (495) 628-64-42

«Галерея книги „Нина“», ул. Бахрушина, д. 28. Тел. (495) 959-20-94

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60x88¹/₆. Усл. печ. л. 15.64. Печать офсетная.

Заказ № 1113.

Отпечатано в типографии «Буки Веди»

ООО «Ваш полиграфический партнер»,

Ильменский пр-д, д. 1, корп. 6

Тел.: (495) 926-63-96, www.bukivedi.com, info@bukivedi.com



Борис Хазанов (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей. Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

«Душа моя - Элизиум теней...». В новой книге Бориса Хазанова (род. 1928), название которой отсылает к стихотворению Тютчева, писатель - известный прозаик и эссеист, политический изгнанник, проживший 30 лет в эмиграции в Германии, - подводит итог своей жизни и деятельности в бывшем Советском Союзе и за кордоном. Книга представляет собой собрание автобиографических очерков и этюдов, написанных в разные годы, в обычной для автора лирико-эссеистической и художественно-философской манере. Отечество и чужбина, судьба и творчество русского писателя в иноязычной среде, впечатления жизни в Западной Европе, мысли о современной литературе - таковы темы и лейтмотивы этой книги.

В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги:

- Истинная история минувших времен.
- К северу от будущего. Романы и повести
- Третье время. Романы и повести
- После нас потоп. Романы и повести
- Вчерашняя вечность. Повести и рассказы
- Опровержение Чёрного павлина. Романы, повести, эссе
- Миф Россия. Статьи и эссе
- Подвиг Искарриота. Рассказы, статьи, письма
- В лучах чужих планет. Рассказы, статьи, переводы
- ...Пиши, мой друг. Переписка с Марком Харитоновым